



Станислав
Рассадин

.....
Дневник
.....
Стародума
.....

НОВАЯ
ПРЕССА

*Дневник
Стародума*





Станислав
Рассадин

.....

*Дневник
Стародума*

НОВАЯ ГАЗЕТА

МОСКВА, 2008

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2 Рос=Рус)6
Р 24

Художественное оформление — Андрей Бондаренко

Автор и редакция “Новой газеты” выражают особую благодарность ПЕТРУ АВЕНУ за поддержку в издании книги.

РАССАДИН С.
Р 24 Дневник Стародума / С. Рассадин. — М.: “Новая газета”, 2008. — 496 с.

ISBN 978-5-903080-09-0

“Дневник Стародума” — это не только дневник писателя Станислава Рассадина. Это скорее дневник читателя Рассадина — причем читателя хорошего, помнящего всю российскую классику и с высоты ее нравственных ценностей оценивающего современность. Двенадцать лет — с 1996-го по 2008-й — проходят в этой книге испытание забытой большинством нормой. И не выдерживают испытания. Почему — читайте “Дневник Стародума”. Все тексты на протяжении двенадцати лет печатались в “Новой газете” как авторская колонка Станислава Рассадина. Но собранные вместе, они обнаружили новое качество: книги прозы.

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2 Рос=Рус)6

Охраняется Законом РФ об авторском праве

ISBN 978-5-903080-09-0

© С. Рассадин, 2008
© Издание на русском языке,
оформление. “Новая газета”, 2008

СОДЕРЖАНИЕ

<i>От автора</i>	9
Слепнет тот, кто открывает глаза власти	11
Фрукт? Яблоко! Поэт? Пушкин! Рим? В Греции! ..	16
От князя Мышкина – к комиссару Кошкину	21
Униженный талант эмигрирует в пошлость	26
Телеповетрие и его ветрогоны	31
Приятно гения поймать на мушку	36
Если интеллигенция и ходит во власть, то по-маленькому	41
Пух и прах	46
Хозяин и работники	51
Третье пришествие Воланда	56
ГамбургЕРский счет	61
Кина не будет. И не было	66
Да здравствует культ личности!	71
Пикейные бронежилеты	76
Наша литература профукала свою эпоху	81
Мне – по морде, а орден – Степашину	85
Голодные сытые	91
Счастливое событие в Марселе	95
Властители дум-дум	100

Герой дня без пропуска	105
Разложенцы	109
Путешествие в Египет	114
Мы все вышли из ливреи Фирса	119
Провинциалы	124
Два гимна	129
Железо и вата	147
Ничейное время	152
От Анны до Аллы	157
Человек преодолевающий	162
Стихи Семена Липкина	168
Надо ли иметь воспоминания?	178
Побежденный смех	183
Время Окуджавы?	188
Состояние духа	199
Россия – родина слонopotамов	207
Самоубийство Шолохова, или Крушение гуманизма	212
Безопасно голые короли постсоцреализма	225
Культ, которому не нужна личность	238
Право на шепот	247
Обломывы наоборот	264
Репортаж изнутри трагедии	270
Мы – хорошие! Пока... ..	276
По Абхазии – с Искандером	281
А Ленин – опять впереди	297
Козаков – реваншист	301
От моей жены убежал милиционер	306
Ксени фобия	310
Возвращение Эйдельмана	317
Цензура моды, или Путин и вопросы языкознания	321

В отдельно взятой России	329
Свобода быть несвободными	333
Урок элитературы	337
Приказано выжить. Из памяти	342
Звезда Давида	346
Как опасен этот миф	356
Пожалейте стукачей	365
Подсматривающие	369
Синдром Бобчинского	373
Образ жизни как образ врага	380
При поддержке хора	390
Время предательства	397
Берегите недовольных	410
Блаженны изгнанные... А мы?	424
Против засилья черных мыслей	428
Интеллигент – имя прилагательное	436
Страна Чекистия	444
Мифология	451
Пушкинисты, вперед!	455
Страшная сила контекста	459
Как Пушкин читал Достоевского	465
Невидимый боец, или Культ вычитания	472
Сатана по имени запад	480
Подарок от Онассиса	486

От автора

Когда в 1996 году светлый человек Щекочихин неожиданно пригласил меня сотрудничать в “Новой газете” (а было это в доме нашего общего друга Юрия Давыдова, в минуту не сказать чтобы трезвую, так что я воспринял предложение не совсем всерьез: мол, давай, Юрочка, поговорим после) и когда затем я явился-таки знакомиться с руководством газеты, сомнение не оставало меня. Зачем я нужен этим молодым людям?

Чтобы сомнений не оставалось, сказал, что, дескать, польщен, спасибо, но хотел бы назвать колонку, какую мне предлагают вести, несколько вызывающе: “Стародум”. Сейчас, думаю, вежливо скривятся: стоит ли, Станислав Борисович? Ведь над нами смеяться будут. Стародум... Почти что старпер.

Не скривились. Наоборот: “Прекрасно!”.

Не знаю, прекрасно ли, и, уж конечно, то не было неким тестом на совместимость, но мгновенно возникшее взаимопонимание обрадовало.

Потом мне не раз и по-разному толковали название рубрики, рождая догадки прелюбопытные, хотя для меня самого все было просто. Не говоря о личном глубоком пристрастии к автору гениального “Недоросля”, сам Стародум, резонер этой пьесы, ныне лишь таковым и воспринимаемый, а на премьере комедии казавшийся тогдашней публике персонажем самым живым и самым востребован-

ным, он самой своей исторической судьбою призывает, во-первых, к самоциронии, во-вторых, к тому, чтобы не стыдиться раз навсегда усвоенных тобою убеждений, симпатий и антипатий.

Стародум ограничен? Конечно. Но я, признаюсь, никогда не стеснялся этого слова и этой, если угодно, собственной черты. У слова хороший корень: “граница”. То, что противостоит новообразованию “беспредел”.

Мне давно хотелось издать эту книгу (и именно так, не придумывая композиции, следуя порядку, вернее, беспорядку текучки, именуемой нашей жизнью, — как оно писалось, как, что и когда думалось). А мой друг Владимир Рецептер даже негодовал, почему я с таким изданием медлю — как будто это было в моей воле. “Это же будет “Дневник писателя”!” — кричал он, в чем я не слышу особенной лестности для себя. Каков писатель, таков и его дневник — не лучше, не выше.

Хотя то, что вы держите в руках, скорее дневник читателя. Существа, ну, допускаю, не вовсе пассивно наблюдающего. Человека, живущего общей жизнью, и если не смею повторить за поэтом: “Этим и интересен”, то на иной интерес не рассчитываю. Не хочу рассчитывать.

На этот — да, надеюсь.

...Отобрал ли я лучшее из того, что публиковалось? Не уверен. Тем более — автор в этом смысле никудышный эксперт. Но разное — да. Все же — дневник, пестрый, как сама жизнь.

*Слепнет тот,
кто открывает глаза власти*

К остроумному сожалению, мало кто знает, что у автора “Недоросля” есть повесть, которую я-то считаю шедевром русской прозы. Называется — “Каллисфен”, а фабула такова. Аристотель посылает своего ученика, философа Каллисфена, к другому ученику, Александру Македонскому. Тот, еще не забывший уроков наставника и сознающий, как власть развращает его, молит о духовной поддержке: “Страшусь, чтоб наконец яд лести не проник в душу мою и не отравил добрых моих склонностей”.

И — дело вроде идет на лад. Каллисфену сперва удастся нейтрализовать “ближайшее окружение”, но затем, как обычно, оно берет верх, философ попадает в опалу, в тюрьму, где испускает дух.

Значит, бессмысленной оказалась миссия просветителя? Но, говорит рассказчик, по

смерти Аристотеля в бумагах его сыскали письмо Каллисфена: “Умираю в темнице: благодарю богов, что сподобили меня пострадать за истину. Александр слушал моих советов два дни, в которые спас я жизнь Дариева рода и избавил жителей целой области от конечного истребления. Прости!”. И — рукой Аристотеля: “При государе, которого склонности не во все развращены, вот что честный человек в два дни сделать может!”.

Ирония? Или даже — самоирония? Ведь повесть писана в годы, когда Фонвизин отвергнут властью, которую надеялся направить в сторону блага. А уж как это звучит для нас с нашим уродским максимализмом: все или ничего, сначала до посинения: “Ельцин! Ельцин!”, потом — так же: “Долой! Долой!”... Штука, однако, в том, что Аристотель мудр, Фонвизин — серьезен, и в его “Каллисфене” даже не только просветительская утопия, согласно которой можно вразумить любого государя. Вернее, совсем не утопия — Каллисфен, не забудем, гибнет, а Александр... Честное слово, неловко цитировать — будто нарочно гонюсь за сегодняшними аллюзиями: Александр, перестав слушать голос разума, “спился с кругу” и “превратил в пепел великолепный город”. Но младший философ и за “два дни” благодарен богам, а старший удостоверяет законность его благодарности.

Да, странно — и не может сегодня казаться иным. Далекий путь от пушкинского (внушенно-

го, кстати, памятью именно XVIII столетия): “Беда стране, где раб и льстец / Одни приближены к престолу, / А небом избранный певец / Молчит, потупя очи долу”, — невообразимо далек путь от этих строк, изъясляющих готовность стать советником государя, до мандельштамовского: “Власть отвратительна, как руки брадобрея”. (Бр-р-р!) И он, этот путь от надежды к безыллюзорности, к разрыву и разобщению человека и государства, трагичен — даром что мы, как всегда, обернули трагедию фарсом. Не только проиграли вчистую понятие “демократ”, но бездарно отдали на опошление слова “патриот”, “государственник”. Это ж надо: говорить о “Советской России” или о “Завтра” — патриотическая печать, обходясь без саркастических кавычек!..

Как-то в журнале, гордящемся либерализмом, я прочел статью молодого журналиста; тот хвастался, как некогда, еще в пору, казалось бы, безнадежной опалы Ельцина, разгадал его сущность с беглого и удаленного взгляда — дело было на демократическом митинге. Правда, брезгливой прозорливости помогла некая сумасшедшая женщина, кинувшаяся к кумиру с голой грудью: “Я люблю тебя! Возьми меня! Возьми!”.

По мне-то здесь не одна истеричка, а два истерика. Несчастная, как оказалось, помешавшаяся после мужниной смерти, и до безумия самонадеянный мальчик, по причине непонравившейся внешности Ельцина — только

ее! — перечеркнувший его будущее. Ликует ли он сегодня, когда его предсказание как бы сбылось — например, ценою превращенного в пепел города Грозный? Ликует — и в своем ликовании мне отвратителен. В отличие от сошедшей с ума вдовы.

Впрочем, в очень похожем припадке интеллигентского самоутверждения бьется и та наша свободолюбивая пресса, что никак не может себе простить прежнее: “Возьми меня!”. Вернее, не так. Себе она все простила, занявшись похвальбой в духе нашего злого мальчика: кто раньше освободился от слепого восторга, кто первым больнее куснул президента (на ее языке: “дистанцировался”).

Смелость ли это? Скорее — глупость, потому что и задолго до Чечни много было приложено самоутверждающихся (то есть корыстных) сил, дабы пихнуть того же Ельцина в объятия тех, в ком сами же видели палачей демократии. Глупость — и еще несвобода; да, именно так. Как митинговое ликование являло духовную несамостоятельность, точно так же являет его поношение — огульное, стадное, ликующее.

Конечно, как не понять обиду: мол, когда мы были нужны, нас ласкали и звали, а теперь... Но и она — суетна, несерьезна. Слава Богу, мои дорогие, что и на вашу долю выдались “два дни”, не совсем напрасно истраченные на дело очеловечивания власти. Выдались, были и минули; значит, зоветесь ли вы Президентским

советом или как-то иначе, а пора заняться делом обычным, интеллигентским, режиссерским, писательским, журналистским. Не забывая того, что констатировал мудрец Мандельштам.

А Фонвизин? А его Каллисфен? На них, выходит, наплевать и забыть? Наоборот. Оставим Фонвизину и его веку их иллюзии, но поучимся у них отсутствию истеричности. Поучимся мудрости — даже в разочарованиях.

[1996, 25 ноября]

*Фрукт? Яблоко! Поэт?
Пушкин! Рим? В Греции!*

Недавно поэту Льву Рубинштейну наконец удалось произвести на меня сильное впечатление.

Он рассказал в журнале “Итоги”, как, находясь в Германии, обнаружил: никто-никто из его немецких знакомых не знает мелодии бетховенского “Сурка”; безбожно лстя российскому гостю, заподозрили даже, что ее сочинил он сам. Композиторская фамилия, что ль, навела? “И так много раз. ... (Цитата. — Ст. Р.) Проверял это на человеках пятнадцати, не меньше. Включая и музыкантов”.

Хвала поэту, что никого из знакомцев за это не презирал, — да и с чего бы, если у самого осталось много вопросов, до сих пор безответных. “Кто автор стихов?.. Кто русский переводчик? Какого времени музыка?” Ничего не известно, зато запахло открытием, что речь вовсе не о сурке: “обычный неправильный пе-

ревод”. Не “сурок” надо петь, выяснил Рубинштейн с помощью переводчицы русской прозы, а мешок. Или — рюкзак. На худой конец, чемодан. Потому что французское слово *marotte*, которое почему-то вставлял в песенный текст, исполняя его, Козловский, означает, помимо сурка, и что-то вроде этого.

Вообще, как известно, скажи, кто твой друг, и... Словом, свита твоих знакомых играет тебя самого. Бетховен Бетховеном, но изумляюсь, как удалось Рубинштейну просеять все население ФРГ, чтобы сквозь частое сито его отбора не проник ни один, читавший текстовика-анонима, а ведь, чай, и в темной Германии есть кто-то, слышавший имечко Иоганна Вольфганга Гете. Во всяком случае, неохота думать скверно обо всех тамошних интеллектуалах.

Хотя Бог с ними. Меня занимает наш. Так как если бы Рубинштейн брал когда-нибудь в руки, не говорю, многотомного Гете, но, скажем, малый детгизовский однотомничек, издание популярно-тиражное, то знал бы с молодых ногтей: текст (“кто автор стихов?”) из ранней гетевской пьесы 1774 года “Ярмарка в Плундерсвейлерне”. Мелодию (“какого времени музыка?”) сочинил двадцатитрехлетний Бетховен. “Кто русский переводчик?” — и это известно: Сергей Заяицкий, много еще чего переведший. А сурок он и есть сурок, а не чемодан: речь об одном из мальчиков-савояров, бродивших по разным странам с ручными зверьками, как у нас бродили с медведями, обезьянками, попу-

гаями. “Девиц веселых я встречал, / И мой сурок со мною. / Смешил я их, ведь я так мал, / И мой сурок со мною”... А проблема тут посерьезнее, чем частный конфуз отдельно взятого стихотворца.

Я вдруг яснее осознал, во-первых, почему не могу смотреть на ТВ “Поле чудес”: это почти так же мучительно, как наблюдать больных церебральным параличом, трудно ворочающих языками. “Где Древний Рим?” — выпытывает Якубович у финалистки. “В Греции”... Та-ак. “Куда в этом древнегреческом Риме можно было входить только в обуви? Ну? Пять букв, первая “с”!..” — “В сарай”.

Смеяться ли? Но — см. мою мучительную аналогию. Это — высвеченное экраном зрелище человеческого несчастья.

Осознал я и то (уже во-вторых), за что так всегда ненавидел кроссворды. Ненавидел самозащитно, самокритически, самоуничижительно, так что тут нет обиды для тех, кто их обожает. Речь о другом. Ведь собеседники Якубовича не отловлены случайно на улице; они, как и наш Рубинштейн, как бы из круга элиты, они прошли многотрудный отбор на ниве составления и угадывания кроссвордов. Да, они — элита К.К. , КаКа, Культуры Кроссвордов, Кроссвордной Культуры, — нашей с вами, ибо и мы проходили отбор и отсев. Селекцию, оказавшуюся отрицательной.

Поразмислим, что же такое — да не сам кроссворд, Бог с ним совсем, с этим безобид-

нейшим способом заполнения вакуума; нет — его культура. Его принцип. Это — то, что не только позволяет, но принуждает все знать, выражаясь на нашем жаргоне, однозначно. Птица? Ворона! Фрукт? Яблоко! Поэт? Пушкин!.. Скажи: Тютчев — и ты уже вне КаКа. Кроссворд просто обязан не выносить нас за пределы наших же знаний, иначе он никуда не годится.

Если сам кроссворд — невинная имитация просветительства, то КаКа — имитация бурной духовной жизни. Даже духовного обновления. “В каждом журнале ругают Жарова. Раньше десять лет хвалили, теперь десять лет будут ругать. Ругать будут за то, за что раньше хвалили. Тяжело и нудно среди непуганых идиотов” (Ильф — впрочем, поправка: среди пуганых тяжелее). Это вчера, а сегодня... Раньше “царь” означало: тиран и мерзавец. Теперь означает: Россия, которую мы потеряли. И вот Зураб Церетели, говорят, замышляет, будто детсадовцев, парами выстроить перед Манежем (уже изгадив Манежную) Романовых, а начал с Петра.

Кстати... Умолчу как о сверхочевидном о безобразии паукообразной фигуры, но почему именно Петр? Почему — ну, допустим, не Иван Калита? Ответ тот же самый: КаКа.

Кто-то ругался: столица России превратилась в выставку грузинской чеканки! Кто-то одернул ругателя: нехорошо, шовинизм. Я-то думаю, дело в другом. В простодушии неопита. Птица? Двуглавый орел! Поэт? Пушкин! Царь? Петр Первый, кто же еще... А что тот был вра-

гом Москвы, ее ненавистником, это уже не заботы КаКа.

При том, что она вовсе не лежбище для ленивых. Феноменально плодovit Церетели; финалистки “Поля чудес” трудом и с трудом пробились на телеэкран; а Рубинштейн? И он разве меньше затратил усилий на пути превращения сурка в чемодан, даром, что сам-то скорее не с этого “Поля”, а из казино “Что? Где? Когда?”. Потому что именно там, бывает, поражаешься дважды: сперва — отчаянному невежеству, особенно в области гуманитарной, когда идет коллективный поиск ответа и возникают версии дикие, говорящие о тотальной девственности. А потом — бац! Угадали методом тыка! Объятия, аплодисменты, шампанское, миллионные выигрыши!..

Главное, что КаКа, где одни умом пошутее, другие потуже, где один, не знакомый с Гете, хотя бы Бетховена знает, а другая из школы вынесла очаровательную модель античности: вокруг, значит, Древняя Греция, посередке Греции — Рим, а уж в центре Рима — сарай... А что? В общем, главное — что разнородная, разноуровневая КаКа едина тем, что существует помимо просто культуры. Вне. Отнюдь по ней не тоскуя.

[1996, 2 декабря]

От князя Мышкина – к комиссару Кошкину

Один из лучших каламбуров, слышанных мною в жизни, — заглавие сочинения, задуманного школьником Андрюшей Зориным: “Эволюция русского гуманизма от князя Мышкина к комиссару Кошкину”. (Помните, в пьесе “Любовь Яровая”: “На колидор!” — и самосуд с помощью маузера.)

Осуществил ли свою идею, войдя в возраст, литературовед Андрей Леонидович Зорин? А стоило бы. Она богаче и даже каламбурнее, чем могло показаться: в точности по алфавиту между комиссаром К. и князем М. есть еще и доктор Л., к тому же, как и они, обладающий “животной” фамилией. Львов из чеховского “Иванова”.

Так шутит история. Жутковато шутит, ибо Львов есть тот промежуток и перелом, когда воплощение совестливости, этого родового

свойства русской интеллигенции, начинает мечтать о маузере — да пусть и о более бескровном атрибуте власти. И сам гамлетирующий интеллигент оборачивается стоеросовым радикалом. “Это, — аттестовал доктора Львова доктор Чехов, — тип честного, прямого, горячего, но узкого и прямолинейного человека. Про таких умные люди говорят: “Он глуп, но в нем есть честное чувство”... Львов честен, прям и рубит сплеча, не щадя живота”.

Любопытно, что почтеннейшее из свойств — честность, она же правдивость, в свою очередь честно отмеченная в нелюбимом герое Чеховым-диагностом, не только бессильна отвести последствия узости, но словно усугубляет их. И та же судьба у склонности к героизму, к готовности впрямь не щадить своего живота: “Если нужно, он бросит под карету бомбу, даст по рылу инспектору... Он ни перед чем не остановится. Угрызений совести никогда не чувствует — на то он...” Вот, опять! “...На то он “честный труженик”, чтоб казнить “темную силу”!”

“Героизм самообожания” — небескорыстную эту черту заметит в русском интеллигенте Сергей Булгаков, один из авторов “Вех”, и в реальной истории у честного Львова окажутся разные ипостаси. В первые годы советской власти то мог быть и савинковец-бомбист (“бросит под карету бомбу”), и, напротив, следователь-дзержинец с пламенем веры в очах, ведущий бомбиста к расстрелу. Потом... Ну,

потом, впрочем, фанатики веры начнут отбраковываться из лагеря победителей, восторжествует закон отрицательной селекции и в согласии с ним тип “узкий и прямолинейный”, но уже превосходнейше обходящийся без признаков честности.

Но о таких чемпионах цинизма, конечно, и ныне правящих бал, что говорить? Неинтересно да и бессмысленно: они одноклеточны и неисправимы. Другое дело — герои, казнящие “темную силу”, то бишь дремучую власть; те, кто одержим (еще один каламбур и снова, увы, не мой) бешенством правды-матки.

Вчера они были в пестрых рядах диссидентов, где великое бескорыстие Сахарова оттенялось безумным “самообожанием” Зиновьева, ненасытного в жажде воздаяния. Сегодня это, конечно, наша свободная пресса, чьи амбиции получили свободу одновременно с нею самой.

Признаюсь, мало что режет мое ухо настолько, как самоопределение “четвертая власть”, вернее, буквальное понимание этого титула. Например, постоянные сетования журналистов, что в отличие от времен большевистской “Правды” их обличения не имеют немедленных административных последствий.

Что говорить: разумеется, власть вступила в стадию безнаказанности и бесстыдства. И, конечно, всегда сыщется повод себя уважать-обожать, коли Госдума мечтает зажать тебе рот, лестно гиперболизируя твое властное влияние. Образумиться в такой атмосфере трудно, но

надо. Надо не уподобляться “писательской расе” (слово Мандельштама), готовой радоваться своей независимости от государства, однако лишь с тем скромным условием, чтоб осталась зависимость экономическая. Надо, дорожа наконец обретенной свободой от власти, не желать для самих себя обрести ту же власть, пусть под четвертым номером; то влияние, что ностальгически вспоминается, было влиянием не самой по себе прессы, а партии и государства. Холоп, карающий от имени господина, — неужто такая соблазнительная роль?

...Когда помянутый Мандельштам неотвратимо впадал в помешательство, ему мерещились, рассказывает вдова поэта, грубо-казенные голоса, “говорящие на языке наших газет”. Страшно. Еще страшнее, что, вступив в такой диалог, гений поэзии начал бредить насчет своей причастности к власти, своей влиятельности, — он, в здравом уме написавший: “Власть отвратительна, как руки брадобрея”.

Боюсь, наша пресса впадает в тот же душевный мрак. В атмосфере безвластия, которую принимаем за атмосферу абсолютной свободы, ужас как хочется занять вакантное место, не понимая, что это и значит расстаться со свободой. Оттого, бредя призраком власти, уже пользуемся ухватками ее визирей и стольников, постельничих и доезжачих: холопскими компроматами, наушничеством, интригами.

Свобода прессы — в ее бессилии... Вернее, не так: в отсутствии претензий на силу, кото-

рая придет сама собой, когда у нас образуются общество и общественное мнение, то, чего на Руси не было отродясь. В том, что пресса “не создает жизни и даже не направляет ее. Она не может ни толкнуть общество на известный путь, ни своротить его с пути, по которому оно пошло...”

Положим, Ключевский, которого я цитирую, говорит не о собственно прессе, а — об интеллигенции. Но дай-то и нам Бог право и разум отнести к себе слова великого историка: “Интеллигент — диагност и даже не лекарь народа. Народ сам зализет и вылечит свою рану, если ее почует, только он не умеет вовремя замечать ее. Вовремя заметить и указать ее — дело интеллигенции...”

Дело прессы — конечно, если она согласится, что делает все-таки интеллигентское дело, а не такое, где вчерашний холоп захотел быть нынешним барином.

[1997, 7 апреля]

Униженный талант эмигрирует в пошлость

В 1829 году князь Петр Андреевич Вяземский, уже побывавший в перестроечной команде императора Александра I, а затем попавший в опалу (потому что слишком всерьез поверил в намерения перестройщиков), написал “Мою исповедь”. “Он, — говорилось там о покойном царе, — отрекся от прежних своих мыслей; разумеется, пример его обратил многих. Я... остался таким образом приверженцем мнения уже не торжествующего, а опального... Из рядов правительства очутился я, и не тронувшись с места, в ряду противников его; дело в том, что правительство перешло на другую сторону”.

Это голос политика, но очевидно, что его неуступчивое достоинство подпитывалось самосознанием русского поэта Вяземского.

Все грешны — одни меньше, другие больше. Но у писателя есть возможность... Ну не иску-

пить, но возместить проступок, совершенный по несовершенству характера. Пример? Да хоть Катаев, кого прогрессивная критика долбала даже за лучшие произведения вроде повести “Уже написан Вертер” (ибо сам автор “не тот”), а сейчас вроде бы и она спохватилась, что сочинитель “Растратчиков” и “Святого колодца” — прозаик блистательный.

Да, талант, коли он есть, старается “не трогаться с места”, сопротивляясь даже усилиям своего обладателя испохабить его.

Это не значит, увы, что усилия тщетны, но вспоминаю, как Маршак в разговоре позволил себе пахучий образ по весьма конкретному поводу: дескать, у имярека в душе нагажено, как в унитазе. Но вот что значит талант: дернул за ручку, и все смыло...

Образ, правда, опасный. Особенно если преувеличиваешь содержащееся в бачке количество очищающей влаги.

Недавно на меня обиделся журналист Дмитрий Быков, и как мне доказать, что сейчас пишу не полемики ради?

Впрочем, мое алиби — уже то, что не кинулся враз отвечать, предпочтя боевому настрою печальное размышление. Да, полагаю, и Быков, помедлив, не стал бы браниться: “Немолодые колумнисты типа Станислава Рассадина... жизни за пределами Садового кольца не знают... брюзжат по новым газетам” (“Вечерний клуб”, № 12). Аргументы, кстати сказать, показательно старосоветские — и про незнание

жизни у тех, кто пишет не то, что велит ему партия, и, само собой, про очернительство.

О чем же брюзжал я “по новым газетам”? О том, как небезопасно для собственного дарования подвергать его унижению (чем мне казалась торговля майкой Газманова и чем-то еще с плеча звездной попсы, свершаемая Быковым на ТВ). Теперь, получив отпор, я тем более обрел основания поразмыслить над этим — без шуток — содержательным текстом.

Что отстаивает Быков? К примеру, свою никак не понятую ироническую элитарность. “Всех больше всего оскорбляет именно тот факт, что поэт!!! торгует!!! ношеным бельем!!! То, что поэт делает это в своих эстетически-провокативных целях, никого не волнует”. И еще: “Умная часть аудитории получала возможность вместе со мной поулыбаться над крайностями фанатства, остальная же ее часть наблюдала за действием как таковым”.

Так. Значит, “поэт” презирует и тех, кто дает ему “ношеное белье”, и тех, кто скупает его за бешеные баксы, и особенно тех “остальных”, кого начисто исключает из “умной части”; сам же внутренне (так глубоко внутри, что не заметишь) подмигивает таким же, как он, избранным иронистам. А, мол, каковы — все, кроме нас, — идиоты!..

Что это? Да цинизм — притом опять же совковый, неисправимый.

Бывало, некто, выступивши с погромной или трусливой речью, говаривал фамильярно:

старик, ну ты ж понимаешь, я это говорил для них, а ты-то ведь понял, что я ничего такого не думаю?.. И сам этот — якобы — постмодернистский хеппенинг есть форма того же цинизма, который всего лишь “перешел на другую сторону”. Реанимация, казалось бы, опочившего двойного сознания.

Печальнее, однако, что Быков не себя одного защищает от брезгливости, явленной также не мною одним, — так что и небрезгливое наше ТВ, застыдившись, барахолку прикрыло. “Люди примерно одного поколения” — вот торжествующая улика, избличающая тех, кто не способен понять его, молодого. Их, молодых. Для всего поколения, значит, отвоевывается право не стыдиться. Времена, господа, на дворе иные, не ваши! Вы мне про всяких там Вяземских, а тут не до княжеской независимости — рынок, базар, толчок! “...Поэту в наше время, когда никто стихов не издает... ничего не остается, как искать другой заработок”.

Что возразишь? Разве лишь вот что. Быков все время настаивает: “Поэт... поэт...” (и даже: “Если бы я помер с голоду... был бы повод получить за меня еще один гонорар — написать, что вот был хороший поэт, а мы его проглядели...”). Ладно, пусть будет “поэт”, пусть (наступлю на горло собственному вкусу) “хороший”, — но как же этот хороший не видит, к какой нас толкает опасной ассоциации?

Представим ли нищего Мандельштама торгующим утесовскими подштанниками? И что

скажем об обществе, где именующийся поэтом сам себя унижает так, как никто более не способен его унижить?

Вот чем быковский текст поистине интересен. Вероятно, и впрямь уже вкоренилась уверенность, что наши способности, наши амбиции (плюс на нас навалившийся дикий наш рынок) при случае спишут или, по-маршаковски, смоют все, что бы мы ни нагадили. В головы не приходит, что сливной наш бачок может быть слабосилен, а уж того, что надобно смыть, окажется столько...

Это я, разумеется, не про обиженного поэта. Что он? Как многие способные (порою — на все) люди, лишь наиболее откровенное выражение общественных мнений, в частности, нравственной неразборчивости, — будь иначе, и речь бы не стоило заводить. Что ж, зато будем особо признательны литераторам (вообще — людям), остающимся на своем месте, даже когда не то что правительство, а сама жизнь норовит “перейти на другую сторону”.

[1997, 28 марта]

Телеповетрие и его ветрогоны

“**П**ушкин всегда чувствовал конъюнктуру, любил славу и, живи он сейчас, стал бы поэтом-песенником”... И, покончив таким манером с пушкинской годовщиной, переходят к обстоятельно-пышным поздравлениям именинника Бари Алибасова.

Где можно встретить такую скуловоротную пошлятину? Правильно. Исключительно на ТВ (Максим Василенко, дневное “Времечко”).

...В начале 90-х, в течение двух-трех лет, была у меня регулярная переписка с незнакомым, но, несомненно, прелестным, начитанным, умненьким мальчиком; писал он сперва из армии, потом из родного Кутаиси и звался Отаром Кушанашвили. Письма его, слегка витиеватые, пылкие по-кавказски в изъяснении чувств (“При всякой погоде люблю Вас, на Вас равняюсь”), вдобавок немножко смущали меня ин-

тимностью подписи (“Ваш Оська” или “Ваш Отарчик”), но, повторюсь, были прелестны и, пуще того, внушали надежду на литературное будущее юного кутаисца. Смешно сказать, я было даже начал испытывать в них необходимость: например, Оська-Отарчик, прочитав в московском журнале мою рецензию на книгу, вышедшую крохотным тиражом на периферии, ухитрился книгу добыть, после чего ласково укорил меня в завышенности оценки. Он был, пожалуй, не прав, но кто из пишущих не нуждается в таком неусыпном контролере?

На этом элегическая струна обрывается.

Конечно, не могу доказать, что мой корреспондент и его полный тезка, “культовая фигура поп-журналистики”, — одна и та же персона. Главное, и доказывать незачем: поистине два разных человека. О первом вспоминаю с печалью, о втором сказано столько, что добавить попросту нечего. Зато есть смысл призадуматься: подобная эволюция-деградация — она что же, сугубо индивидуальна? Или есть тут общий закон телекарьеры? Именно теле-?

Вот только что получил премию “ТЭФИ” Валдис Пельш, а телевизионный критик Слава Тарощина прокомментировала награду в “Литгазете”: “...Он многих раздражает, но Пельш показал себя крепким профессионалом в сколачивании собственной империи песенной страсти”.

Зная автора, умницу-остроумницу, предполагаю толику лукавства: дескать, профессио-

нал, но на собственной территории, учредивший, стало быть, собственные законы, — а коли так, что ж это за особенный профессионализм? Отчасти на это прямо ответил сам Пельш. Он, выпускник философского факультета, заявил как-то, что телеведущему образование вообще не нужно, и не единожды утвердил свой принцип на практике. Может, к примеру, воскликнуть, цитируя из “Ревизора”: “Жизнь течет в эмпи́реях”... Да, так, с ударением на “и”, хотя, чай, учась в МГУ, не совершил бы этакой вольности — ведь во взлелеявшей его философии есть “эмпири́зм”, но нету “эмпи́ризма”.

Говоря без иронии: что это? Изживание образованности? Интеллигентности? Может, и самого профессионализма в общепринятом смысле? Похоже, именно так, что становится общим телеповетрием: скажем, главспец по музыкальным программам Иван Демидов, не смущаясь, дважды катастрофически проваливается в программе того же Пельша, оказавшись не в силах “угадать мелодию”. И чего, в самом деле, смущаться, ежели... Впрочем, вот не любительски-зрительское мое, но авторитетное мнение Фрэнка Заппы, вычитанное мною в газете “Московский бит”: “Люди, которые не умеют писать, берут интервью у людей, которые не могут говорить, для людей, которые не умеют читать”.

Это он — о рок-журналистах, но не таков ли своеобразный критерий ТВ в целом?

Напоминаю: говорю без иронии. Непрофессионал, освобождающийся, в согласии с принципом Пельша, от того, что прежде знал и умел, гибче, универсальнее, счастливее профессионала, который, бедняга, всегда обременен и стеснен знанием и умением. “Счастливее” — не оговорка: абсолютная раскрепощенность от эрудиции, правил грамматики, речевой связности, хороших манер, наконец, от законов приличия (примеры — нужны?), все это дает не менее абсолютную самоуверенность. Абсолютное своеволие — вульгарнейший вариант свободы.

Социологи, политологи, коллеги Валдиса Пельша — философы размышляют над феноменом “синдрома заложничества”, так называемого “стокгольмского”; над тем, что обнаружилось, скажем, во время рейда Басаева на Буденновск. Жертвы начинают себя чувствовать словно бы заодно с похитителями, проникаются пониманием, от которого шаг до сочувствия, — хотя новость ли это в нашей истории? Разве не то же испытывали советские люди к тоталитарной власти, к силе, чьи злодейские ресурсы были так велики, что если она не реализовала их во всю страшную мощь, попросту не убивала лично тебя, щадя до поры, то как ее, силу, было не полюбить?

Так вот. Прекрасное и страшное изобретение, телевидение, внесло в мир новую форму помянутого синдрома. Проклиная наше ТВ, на наш взгляд, все отчетливее маразмизирующее, мы гипнотически не отрываемся от экрана; да

и те, что вещают с него, тоже его заложники. Тоже рабы его странных критериев, и вот на наших — буквально — глазах идет пересортица, измельчание, пародирование. Улыбчивый /Дмитрий Крылов, скитающийся по мировым курортам, — это Сенкевич для новых русских. Тот же Демидов — Бэлза для пэтэушников, предпочитающих именоваться тинэйджерами. Николай Фоменко — Якубович (который и вправду вот-вот станет казаться недопустимо интеллигентным¹), ориентированный на полных дебилов; ориентированный тем рассудительнее, что частичка означенного дебилизма дремлет в любом из нас — ее только разбуди...

Все это куда как безобидно рядом с “настоящим” синдромом заложничества, где смерть и кровь. Но лестница деградации и распада, имея весьма разновысокие ступени, не имеет конца. Идти по ней, утешая себя, что далеко не зайдешь, — иллюзия, а выход один — не ступать на нее.

[1997, 30 июня]

¹ Считаю долгом отметить: Якубович, увы, не стал, а Николай Фоменко, весьма отметившись в указанном ряду, от дебилизации устранился, по крайней мере — пока.

Приятно гения поймать на мушку

При нашей любви к круглым датам одну мы недавно прохлопали-таки: сто лет со дня смерти сенатора Франции Жоржа-Шарля Дантеса. А зря. Память о нем полезна в годы нравственных повреждений.

Вот, к примеру, незакрытый вопрос: убив российского гения, сожалел ли он о содеянном? Марине Цветаевой хотелось верить, что — да. “Дантес жил — Пушкин рос”, и, дескать, с этим ростом могло прийти осознание преступной вины. Хотя известны иные факты: Жоржу-Шарлю случалось даже не без самодовольства вспоминать, сколь заметную мишень он некогда поразил...

Да Бог — вернее, черт — с ним, с Дантесом, и его самосознанием. Задолго до всех этих споров гениальный юноша Лермонтов понял, в чем суть: “Не мог щадить он нашей славы; / Не

мог понять в сей миг кровавый, / На что он руку поднимал!”. Не мог. Что никак не является оправданием (“Пустое сердце бьется ровно”), но объясняет неотвратимость или возможность беды в обществе, где есть люди, страдающие вот такой пустосердечной немочью. Правда, “страдающие” — не то слово.

До сих пор не привыкнув к смерти Булата Окуджавы, не могу отделаться и от размышлений: кто, как и насколько сократил его век? Сыграл ли тут свою, пусть малую, роль поступок актера Гостюхина, публично растоптавшего его пластинку? Или то, как критик Лямпорт, глумясь над возрастом и болезнью, писал: из Окуджавы песочек сыплется? Или как эссеист Галковский требовал, чтобы он и иные шестидесятники немедленно убирались из поля зрения? Надо понимать, поскорее вымирали?.. Не знаю, не знаю. Помню лишь, как в каждом из этих случаев Булат бывал оскорблен, потрясен, унижен, бессильно пробуя возражать, как бессилён бывал и я, пробуя урезонить обиженного товарища. Объясняя мелкопакостную — и в пакостности неизбежную — природу нападок: затем, мол, и бьют побольнее, чтоб получить иллюзию собственной значимости. Стоит ли это страдания?..

Ох, сознаю: аналогия с человеком, который сразил (и кого!) не поганым словом, а пулей, должна показаться чрезмерно пафосной. Тем паче и это бывало поводом для смешного самоутверждения; вспоминаю старые строки,

ставшие нечаянным автошаржем их благополучного сочинителя: “Да, жив Дантес! Он жив опасно. / Жив до сегодняшнего дня. / Ежеминутно, ежечасно / Он может выстрелить...”. Угадали: “...в меня!”. Но сейчас речь не о масштабах тех, в кого целят, тем более не о результате выстрела. Речь о той самой немочи.

Потому нарочно беру сущий пустяк, не угрожающий ни малейшей пагубой — по крайней мере тем, в кого он нацелен. А именно: в “Независимой газете” явился разгневанный отзыв молодого и вполне симпатичного критика Заславского о спектакле Театра Сатиры “Счастливых — Несчастливых” (пьеса Григория Горина, режиссер Сергей Арцибашев). “Не плохо, а очень плохо... Все — пошлость”. И т. п.

Спектакль я видел, и мне он очень понравился. Начиная с игры актеров: Державина, подтвердившего свой незаурядный комический дар; Ширвиндта, который, напротив, внес коррективы в свою шутейную репутацию, не однажды явив в фарсовом действе драматическую серьезность; виртуозного Джабраилова; красавицы Алены Яковлевой (о ней моя соседка заметила: при такой красоте могла бы даже позволить себе быть не такой талантливой)... И, признаюсь, испытал чувство эгоистической гордости за своих сверстников Державина, Ширвиндта, Горина. За беспощадность самоиронии (она же — внутренняя свобода), с какой два артиста отчаянно вышутили себя, свои биографии, свою профессию. За то, как тре-

тий, драматург, не просто сделал блестящий, я полагаю, коллаж из классического репертуара, из несыгранных то есть ролей, что болью должно отзываться в актерском сердце, но совершил поступок. Сочинил, как теперь говорят, эксклюзивную пьесу — для друзей, не имея расчета, что она пойдет по прочим театрам...

Однако спектакля не рецензирую. Всего лишь пытаюсь понять тех, что “не могут”; не хотят, не умеют “мочь”.

Почему, думал я, когда звучал голос Андрея Миронова, когда находящиеся на сцене, слава Богу, живые его друзья подпевали покойному другу, а в зале роняли слезу, — почему даже это должно было вызвать желчную реплику? То есть — “стыдно использовать... песенку, которую пел их когда-то товарищ по этой сцене...” Заметим: не “пел когда-то”, а “когда-то товарищ” — откуда эта жестокая страсть отлучения? И пуще того, о Горине: “Он жив! Весь спектакль он просидел в зале... Считаю важным упомянуть об этом, поскольку подозреваю, что, как и я, зритель вполне мог подумать, что ему предлагают сочинение незаконченное, к которому автор едва успел приступить, сделал первые наброски, однако в эту самую минуту неумолимая Причина или — как будет угодно — сама Судьба вырвала из его рук перо...”.

И — отчетливое сожаление, что Судьба и Причина, попросту Смерть, не вмешались, перо не выпало. Было бы лучше для Горина: он

“бы так и остался в нашей благодарной памяти автором “Того самого Мюнхгаузена”...”¹

Конечно, не в естественных зрительских разногласиях суть. Как тот, кто имеет дело со словом, стало быть, знает его странную силу, может желать смерти неугодившему автору? Пусть ради словесного выверта, но, чай, и Галковский не нанимал киллера для Окуджавы.

Повторяю: пустяк, притом рядовой (в чем и штука). Подобный тому, что талантливая журналистка в хорошей газете, описывая, как продавщица-мошенница обливает для весу водой ледяные куриные окорочка, добавляет: будто генерала Карбышева. И все подобное, образуя единый ряд, означает: ушла — или вытесняется тотальной иронией — болевая память.

“Иль сердце у него косматое?” (Пушкин, “Русалка”). Да нет, разумеется, не косматое, как и не пустое, а просто ошетинившееся по нынешнему обычаю, дабы не пускать в себя чужую боль. Объяснять ли, однако, симптомом чего являются подобные пустяки?

[1997, 6 октября]

1 Врать не стану: конечно, не в день нелепо преждевременной смерти Гриши Горина, но погода все же жестко припомнилось это вещее карканье. (Все примечания 2007 года.)

*Если интеллигенция
и ходит во власть,
то по-маленькому*

Кажется, в первый раз — за сорок-то лет дружбы — мне вдруг захотелось всерьез оспорить Фазиля Искандера. Шел вечер памяти Окуджавы в “России”. Замечательный Юлий Ким спел песню Булата, всем, полагаю, памятную — ту, где: “Скоро все мои друзья выбьются в начальство... Зайду к Юре в кабинет, загляну к Фазилю...”. Спел, заключив полуэкспромтом (цитирую, как запомнил, — Юлик, прости): “Вот как славно в те поры пел Булат об этом, / Как хотел он, чтоб мечты превратились в быль. / Ну а как же обстоит дело с кабинетом? / Расскажи нам, Искандер, дорогой Фазиль!”. Тут Искандер и поднялся с места.

Булат мечтал, чтобы интеллигенция пришла к власти, так примерно он начал. Она вроде бы и пришла, только чуть-чуть. И, дескать, наше правительство, чтобы создать то, что всю

жизнь создавал Окуджава, сюжет существования (формула чисто искандеровская), должно максимально привлечь высшую гуманитарную интеллигенцию...

Утопист! И великий. Он, Искандер, едва ли не единственный писатель (в России, а может, и в мире), кто в XX веке, веке Оруэлла и Замятина, веке антиутопий, катастрофических предсказаний, карманных апокалипсисов, создал аж две прекрасные утопии. Книгу о Чике — абхазском Питере Пэне, Мальчике Который Не Хотел Взрослеть, и, конечно, роман о Сандро с его патриархальной “второй реальностью” (настолько реальной, что, когда в Закавказье пролилась кровь, кто-то обиделся на Искандера: мы-то думали, будто Абхазия и взаправду рай. А на Свифта не пробовали обижаться за то, что не существует взаправду страна мудрых лошадок?).

Теперь, значит, мой друг и любимый прозаик симпровизировал свою третью утопию.

Опять извиняюсь, на сей раз за самозваную редактуру, но: “...Твердо зная, что мечта превратится в пыль”, — вот как бы спел я, кабы умел, в продолжение песни Окуджавы. Да и сам он тут был свехироничен. Не говоря уж о том, когда планировался начальственный кабинет для того же Фазиля — в брежневщину, конца коей отнюдь не предвиделось, — но, главное, для кого! Для того, кто потом, согласившись стать перестроечным депутатом, испытает свою несовместимость с политикой.

“Это было ужасно, — делился со мной Искандер воспоминанием о том периоде. — Я не пропускал заседаний, но мне говорили: как только меня покажут по ТВ, я сплю. И я действительно находился в каком-то сумеречном состоянии”. “Сон разума”, — прокомментировал я тогда, и разум художника, интеллигента в самом деле не может участвовать наравне в делах власти. Не получается!

Вспоминаю — в качестве стародума — соответственно стародавнее. Речь Достоевского о Пушкине, где Федор Михайлович говорил о Татьяне, ради мысли, ему дорогой, весьма вольно трактуя ее верность. Превращая помещичью дочку не то в Соню Мармеладову, не то в Дуню Раскольникову. А заодно преобразив в глубокого старца и мужа Татьяны, кого Пушкин представил всего лишь как “толстого генерала” и кто в дружбе с двадцатилетним Онегиным; то есть ему вряд ли более сорока, как и многим боевым генералам 12-го года.

Тем не менее: “Разве может человек основать свое счастье на несчастье другого?.. Позвольте, представьте, что вы сами возводите здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой. (Замечу: мало кто из политиков, включая “гуманитария” Гитлера, не обещал нечто подобное — хотя бы собственному “электорату”. — *Ст. Р.*) И вот представьте себе тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего только лишь одно человеческое су-

щество, мало того... не Шекспира какого-нибудь, а просто честного старика, мужа молодой жены, в любовь которой он верит слепо... Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии? Вот вопрос”.

Кто из политиков не усмехнется, прочитав это? Циник — глумливо, кто попристойнее — пожалуй, стеснительно. Но ухмыльнется — и как иначе? Ему приходится, будь он Кеннеди или Сталин, без метафор решать вопросы, от самой постановки которых отшатнется не Достоевский даже, “не Шекспир какой-нибудь”, а нормальный интеллигент. Допустим, что выбрать — гибель миллиона неведомых чужеземцев либо сотни тысяч своих сограждан; да хоть бы и баш на баш, как уйти политику от подобного выбора? От деления жизней на те, которые надо спасти и которыми предпочтительнее пожертвовать? Политика действительно грязная вещь — не в заболтанном смысле, а в том, что имеет дело с грязью, хуже того, с кровью; грязно-кровавая, даже если говорим не о преступлениях вроде чеченской войны, а о “реформах”, мирном способе жертвоприношения.

“Вот вопрос”. Но его — для Достоевского — нету. Тут формула самосознания русского художника и шире — русского интеллигента, среди черт которого Николай Бердяев видел отщепенство, способность жить скорее в идеальном будущем, чем в реальнейшем настоящем. Что для политика — профнепригодность.

Интеллигент лишь до той поры верен своей

Если интеллигенция и ходит во власть, то по-маленькому

природе, пока не подался во власть, не внял ее резонам, не заговорил на ее языке. Снобизм? Ничего подобного — ибо тем самым он по-своему даже помогает власти (по крайней мере разумной). Помогает своим сюжетом существования, напоминая, сколь относительно ее цели и ценности. Тогда, значит, постоянное, неуклонное оппозиционерство? Но и само это назойливое постоянство — род несвободы. Главное — быть не против (всегда назло), а — вне; заниматься своим ежедневным интеллигентским, просветительским делом. Если — чего не бывает на свете! — и власти захочется просветиться, милости просим; не хочет — не надо. Все равно: “Человеческое достоинство! Кроме этого, ничего / Не придумало человечество для спасения своего” (Булат Окуджава).

Тоже, кстати сказать, утопизм, но без веры в это на сей раз уже художник, интеллигент профнепригоден. Так что, Фазиль, спор вроде бы не задался?

[1997, 10 ноября]

Пух и прах

“Я прожил жизнь свою в чужой стране”. Положим, это озаглавлено: “Жалоба палестинца”, но кого обманет такая уклончивость? Это ж прямой и лукавый, чем лукавее, тем прямее, отклик “Жалобам турка”, сочинению мальчика Лермонтова — этой азбуке аллюзионности: “Там стонет человек от рабства и цепей!.. Друг! этот край... моя отчизна!”.

Но тут как понять “чужую страну”? В масштабе империи СССР? Ее идеологического пространства? Вероятно, и это — могло ль быть иначе при таком угадливом скепсисе: “Жил да был на свете Некто, / Не лишенный интеллекта. / Все, что скажут на собрании, / Этот Некто знал заранее”? И вправду — заранее, задолго, если, подумать только, аж в 1934 году, в нежном шестнадцатилетнем возрасте, Некто, то бишь Борис Заходер, мог сформули-

ровать с омерзением, которое лишь подчеркнуто ерничеством: “Пусть ни один сперматозоид / Иллюзий никаких не строит; / Поскольку весь наш коллектив / Попал в один презерватив”.

Многообещающий отрок!

И все ж, полагаю, “чужая страна” — метафора поболезненнее. Идеология — общая беда, общее рабство, а здесь проблема личной судьбы, индивидуальной репутации.

— О тебе говорят, как о детском поэте. / — А я разве спорю, милые дети?” Понимай: только о детском, исключительно о клиенте “Детгиза” — так Заходер выдаст свою тайную (для тех, кто лично его не знает) задетость. И едкость, с которой он отпаривает навязанный ему имидж, наделив имиджмейкеров младенческим разумением, лишь подтвердит ее.

Исправит ли дело книга “Заходерзости” (издательство “Век 2”, 1997), вышедшая на исходе восьмого десятка лет сочинителя?

Знакомцы Пуха, Медвежонка С Опилками В Голове (чьим сотворцом — это по меньшей мере — стал в России Борис Заходер), не воспримут ли они как шокирующую внезапность глубочайший пессимизм поэта, кажется, верящего лишь в неизбежность праха?

В самом деле... Тут у нас шум насчет ленинских похорон в надежде, что они смиряют общественное смятение, а он: “Навряд ли и тогда придет конец безумию, / Когда мы похороним эту мумию”.

Или — экономические дискуссии: “Гному жаловался Гном: / — Мы питаемся говном! / — Может, это и неплохо, / Ведь всегда найдется кроха... / Так обсуждали гномики / Вопросы экономики”. Короче: “Зачинали все это — варяги, / А подводят итоги — ворюги”. Слишком жестко и обреченно, чтобы обрадоваться цепкому каламбуру, — он и сам-то как формула нашей истории, даже фонетически неизбежная.

По прихотливой ассоциации вспоминаю гениального пессимиста Сухово-Кобылина, который радовался, что не оставляет для надвигающегося смрада своих потомков и его род изойдет вместе с ним. Философия истории, мозаично сложившаяся из лаконичнейших миниатюр-заходерзостей, пожалуй, не меньше насмешливо-пессимистична, ежели, правда, пессимизм бывает насмешлив. Ведь насмешка — последний довод того, кто все же надеется на вразумление мира...

Как бы то ни было, выходит, Заходер надул нас своими детскими книгами? У кого, у кого, а у ребенка точно есть будущее — его взрослость, куда и уходит Кристофер Робин. Но вольно нам было всего лишь хихикать, читая, допустим, про обезьян в зоопарке: “Ваши предки, наши предки / На одной качались ветке, / А теперь нас держат в клетке... / Хорошо ли это, детки?..”. Ладно, сегодня-то, в “Заходерзостях”, автор даст нам подсказку заглавием цикла: “В нашем зоопарке”, — но, право, надо было уж очень безмозгло врасти в замкнутый

мир советской поэзии для детей, где вне закона была сама область печали, чтобы не разглядеть в крохотном лирическом шедевре мысль о разделенности мира на свободных и несвободных.

Или — легкомыслие было в своем легкомысленном праве лишь веселиться, читая: “Батюшки! Глобус попал под автобус!”, и не примечать, как школьная микромодель Земшара строчку спустя превращалась в него самого. “Многое наша Земля повидала... Неузнаваема стала планета... От высочайшей горы Эвереста / Ныне осталось мокрое место... К Южному тропику птицы летели, / А прилетели в царство метели...” Может быть, и меня в свое время вразумила не причастность к общей судьбе современника экологических катастроф, а уловленная аналогия с песней Галича, где их, катастроф, провозвестником выступает непросыхающий истопник. Помните? “И рубают финики лопари, / А в Сахаре снега непроворот, — / Это гады-физики на пари / Раскрутили шарик наоборот”.

Нет, Заходер — поэт истинно детский, однако не просто, не только, вот в чем штука. Возможно, и для него, как для многих, поэзия для детей стала страной внутренней эмиграции (когда-то подобное мне сказал про себя даже Маршак), — а вдруг сначала была и “чужой”, кто знает? Но он, счастливец уже из немногих, нашел в эмиграции внутреннюю свободу — или сохранил ее. Собственно, он — единствен-

ный, кто после первооткрытий Чуковского и Маршака совершил столь могучий рывок вперед, за пределы тех областей, которые его коллеги, даже талантливые, продолжали обуустраивать. И при всей самооценности “Заходерзостей” они могут сыграть и роль косвенную: протереть глаза тем, кто, как им казалось, до доньшка понял прежнего Заходера.

Помню, когда только вышел в свет “Винни-Пух”, в нашей компании шли нарасхват героини книги: кто находил в себе сходство с Кроликом, кто с Пятачком, кто с Тигрой. Сам Заходер сказал, что у ослика Иа есть его, заходеровские, черты и одно, уж точно заходеровское, высказывание: “Я приятно удивлен и тронут, хотя, возможно, аплодисментам и не хватает звучности”. Впрочем, скептик Иа с его “Удивляться не приходится” или “Чего от них ждать!” (“...знал заранее”) вообще сказал немало неглупого.

Не перечитать ли в самом-то деле — может, и мы поумнеем?

[1998, 27 апреля]

Хозяин и работники

Н и в жисть бы я не открыл журнал “Коммунист”, самонадеянно перекрестивший себя в “Свободную мысль”. Но дотошный мой друг, служащий копенгагенской Королевской библиотеки и гражданин Дании (до того — диссидент, лагерник, отсидевший без малого девять лет и уехавший от угрозы очередного ареста), прислал со своим юмористическим комментарием ксерокопию трех страниц из журнала-выкреста. Тех, где некто В. Иорданский в статье под дивным названием “Холопы власти” отхлестал меня за заметки в “Новой газете”.

Не меня одного. Не найдя — вероятно, после долгих, мучительных поисков — издания более образцово-холопского, сочинитель записал в непочтенный ряд еще и Андрея Чернова, Артемия Троицкого, но уж простите мне сладострастный мой эгоцентризм. Когда еще

обо мне напишут такое: “С. Рассадин, одно из лучших “перьев” режима...”? Кажется, только “Наш современник” так же польстил моему самолюбию, возведя в “маститые русофобы”, и ради подобного прощаю даже свое посвящение в трансвеститы (“одно”).

Так в чем провинилось означенное перо? В том, что воззвало: “Пора осознать чуждое, страшное, но могучее обаяние — да, обаяние! — фашистской идеи, где и соблазн национальной избранности, и культ непререкаемой силы, ненарушимого порядка”. Конец цитаты. И — работа пылкого воображения: “По всей видимости, где-то в официальных кругах состоялось “совещание” с руководителями и владельцами средств массовой информации... Иначе трудно объяснить, почему в самых различных газетах либерального толка снова заговорили о фашистской угрозе...”.

И вправду — чего всполошились? “Надуманность фашистской угрозы для России очевидна...”

“Как я угадал!” — восклицал булгаковский Мастер, удивляясь, сколь прозорлива его фантазия. Вот и здесь — как угадал жрец архисвободной мысли происхождение моих заказных строк! Точно. Так все и было: “руководитель” холопского СМИ Муратов (не я же, мелкая газетная сошка!) по приказу сверху срочно прибыл на секретное совещание, а я, понятно, ждал у подъезда уже его указаний. Выходит. Подзывает меня начальственным пальчиком:

“Есть мнение...” — “Слушаюсь!”. И — катаю: “Пора осознать...”.

Неплохой, между прочим, повод поострить на тот счет, до какой степени они не могут выбраться из своего стереотипа, впрямь хамски-холопского; как им невозможно представить себе иные, чем у них самих, отношения, иные позывы к перу. Но — не острится.

...Старый лагерник Разгон как-то сказал мне, что в своей “Зоне” Довлатов описал тот же лагерь, где раньше сидел и он, Лев Эммануилович. Однако какая разница! У Довлатова заключенные и охранники — как бы одно. Они взаимозаменяемы, а прежде “мы” были несоединимы, как масло и вода. “У Довлатова одинаковы — все. Для нас одинаковы были — они”.

— Знаете, Стась, был такой случай. Сороковой год. Стоим на срывке леса — спускаем штабеля под откос, в реку: молевой сплав по весне. Кто-то сбежал. Парень-охранник с собакой — за ним, собака скачет по бревнам, спущенным в воду, тянет хозяина, он оскальзывается и тонет у нас на глазах. Наш радостный хохот!.. А у Довлатова стерлась разница между зоной и волей.

“Так хорошо это или плохо?” — спрашиваю этого добрейшего человека. “Скорее, я думаю, плохо”, — отвечает он, пояснив: до того была, как говорил Фолкнер, четкая граница меж черным и белым. А потом началось смешение цветов. Взаимопроникновение зоны и воли.

Плохо... Хорошо... Да, как говорится, оба хуже, что не мешает наблюдению Разгона быть проницательным.

В перестроечную эпоху в самом деле смешались цвета, прежде отчетливые; даже красно-коричневое до времени стушевалось. До времени. Само общество временно стало — вернее, показалось — неклассовым, но так же, как произошел передел собственности, родивший новые классы, происходит передел идеологических сил. Что ж, из смешения, из смуты всегда выплывало нечто новенькое.

Наглядны объекты народной ненависти: новые русские, скурвившиеся демократы, бездарная власть. А противовес? Приспособленцы-зюгановцы? Анпиловцы-крикуны? Старо, надоело — или надоест, как приевшееся даже и в эстетическом смысле. Но — костюмная элегантность Штирлица, забытая дисциплина, имитация солдатского братства, то, что завистливо будоражит не только ностальгию, а и нормальную детскую стадность. Неосознанную тоску тех, кто перестал быть пионерами и не стал бойскаутами. Словом, если уж крыть наши СМИ, так не за то, что они паникуют, а за то, что — рекламируют. Как разрекламировали звонкую пустышку Жириновского.

Любопытнее, однако, другое. Когда автор “Свободной мысли” ругает власть вплоть до обвинения в “геноциде против собственного народа”, язык если и хочет перечить, то лениво, на уровне легкой корректировки формулиро-

вок. Что понятно. Разве не прав был сам Адольф Алоизович, назвавший вначале “Майн кампф”: “Четыре с половиной года борьбы против лжи, глупости и трусости”? Как возразить? Разве предшественники не лгали, не глупили, не трусили?

Вот и наш свободный мыслитель завершает пассаж про “геноцид”: “превзошедший сталинские преступления в этой области”. В быту это обычно звучит простодушнее: “При Хозяине было лучше”, и если иной справедливец добавит: “и то лучше”, предпочтение будет еще выразительнее. А коли предпочтительнее Сталин (неважно, чем кто: Хрущев, Брежнев, Ельцин, важно, что предпочтительнее, лучше), то как логичны, как характерны для нашего дня слова о “надуманности фашистской опасности”, о вредоносности “страшилок про российских фашистов”.

Тем более что, полагаю, сами фашисты относятся к себе не столь легкомысленно и неуважительно. Не считают себя миражом. И правильно делают.

[1998, 25 мая]

Третье пришествие Воланда

Юбилей: 24 июня 1938 года из машинки Ольги Сергеевны Бокшанской (сестры Елены Сергеевны Булгаковой, секретаря Немировича-Данченко, Поликсены Торопецкой в “Театральном романе”) была выдернута последняя страница “Мастера и Маргариты”. После не обошлось без поправок, дописок, но жест был совершен.

А что если б роман явился в свет не тогда, когда явился, не в брежневском 67-м, но в том, сталинском, страшном? Или, напротив, в нынешнем, дождавшись нас?

Что до 38-го, дело, понятно, немыслимое. Хотя все же прикинем: дескать, чем черт, то есть Сталин, не пошутил бы — при его уважительной, странной симпатии к вечно опальному автору и возможном чувстве родства с Воландом, величественным воплощением силы

и власти. Не зря Булгаков панически отрицал мысль о наличии прототипа.

Так вот, оглушительного успеха, сравнимого с тем, что разразился в 60-х, скорее всего, не случилось бы. Ибо — кто рядом? Живые Платонов, Зощенко, Бабель, уже арестованный, но еще отнюдь не забытый, Олеша, Катаев с “Расстратчиками”, Алексей Толстой... А 67-й? Нет, повторяя райкинскую репризу, есть кое-что, но — не то. Не та мощь фантазии, не та бешеная раскрепощенность. Маркес еще не успел потрясти. Борхес пока неведом.

Кошунственно говорить, что роман вышел вовремя. Что задержка пошла на пользу. Но что правда, то правда: неимоверный успех был подготовлен безрыбьем, пусть относительным, аурой долгой запретности и... Чем еще? Думаю, накопившейся жаждой мщения — властителям, номенклатуре, в общем, тогдашним хозяевам жизни, отчего булгаковский Сатана с его развеселой шайкой был воспринят вроде народного мстителя, Робин Гуда.

Возможно, именно эта жажда, эта массовая ненависть или по крайней мере массовое презрение (ныне забытые, так как сменился объект того и другого) да еще вкупе с ошеломлением от столь непривычной прозы определили успех. Но — не помогли пониманию. “Мастер” незаслуженно стал масс-культурой, превратившись в многостраничный фельетон, в блистательный комикс, в котором шуруют остроумные уголовники Бегемот и Коровьев — наподо-

бие Питерса с Таккером из О. Генри. Раскрутились дешевые песенки (“Мастер и Маргарита жили в стране чужой”), повалили “Балы у Воланда” с голыми девками и толстошеими бизнесменами, и каждый из этой своры, сломавши по пьянке ногу либо устроив пожар, получал возможность валить все на шутки Коровьева. Кто-то сказал, что истинное несчастье “Горя от ума” — сбывшееся пророчество Пушкина, то, что комедия разошлась на пословицы, развилась, распалась; вот и здесь произошло то же самое. Вплоть до того, что “Рукописи не горят”, сентенция Дьявола, заявившего о всеисилии своей воли, превратилась в легкомысленно оптимистический лозунг.

Ну а выйди роман — впервые — сегодня?

Начать с того, что его попросту не прочли бы: что ему делать в компании Доценко-Мариновых? Да разве и те эпигоны Булгакова, что обезопасились званием постмодернистов или как-то еще, не круче в своих беспредельных (от “беспредела”) фантазиях, уже не сдержанных ни талантом, ни тактом, ни ответственностью перед “первой реальностью”? Но дело не только в этом.

В том же июне того же 38-го Булгаков пожалеет в письме к жене, что Воланд не может перелететь со страниц романа в Барвиху, где отдыхает ненавистный писателю Немирович-Данченко. Шутка. Но ведь и в “Мастере” Сатана — действительно мститель, притом, в частности, тем, кто особенно досадил призвавшему его автору,

включая злопыхателей-критиков. То есть силы зла обаятельны своей функцией да и обликом, и Воланд не может иметь прототипом Сталина лишь потому, что Сталин в сравнении с ним — жалкая сывка, компрометирующая идею абсолютного зла, абсолютной власти, абсолютной свободы. От всего на свете, а пуще — от жалкого человека с жалкой его человечностью.

Произведение, в котором автор наиболее полно реализует себя, — всегда победа и выход. Но победить можно себя, выйти — к гибели, и “Мастер” — такой выход, такая победа, а веселье его — веселье висельника. Отчаявшись, ни на что уже более не надеясь, Булгаков призывает Воланда, и эта сдача на милость зла в великом, подчеркиваю, романе, увы, логично вела к сдаче понятной, но непочтенной. К пьесе “Батум”.

Склоним голову перед драмой Булгакова, но и оценим ее поучительность.

Совершенно неинтересно воображать, с какой именно нынешней злобой дня мы бы соотнесли бесчинства Воландовой свиты (если б, напомним, роман явился сейчас). Зато не сомневаюсь, что внове воспринятое явление самого Воланда ассоциировалось бы с тем, что опасно назрело: с зудящей потребностью твердой власти, железной руки, всех усмиряющего порядка. “Этого человека вы знаете”?¹ Нет, куда не знаем — и не приведи Бог узнать.

1 Кто забыл — предвыборный слоган генерала Лебеда.

Впрочем, и в “Мастере” переделом власти и собственности в Москве ведает вовсе не Бог.

Рассказывают, как Булгаков и Маяковский, сражаясь в бильярд, привычно язвили друг друга — перспективой разжиться на булгаковской ли “мхатовщине” или на рекламе “клопомора” у Маяковского. Пока Булгаков не пресек спор картиной их общего поражения: “Загородный дом с собственным бильярдом выстроит на наших с вами костях ваш Присыпкин”. И Маяковский согласно мотнул головой.

Что ж, сбылось. Теперь Присыпкин со сладострастием ожидает того, кто долгожданной железной рукой закрепит за ним его торжество и его собственность. Не знает, что рискует тем и другим? Но ждет. И может дождаться.

[1998, 13 июня]

ГамбургЕРский счет

Вот прошло уже много больше сорока дней после смерти Вали Берестова. Без малого сорок лет мы называли один другого друзьями, но только сейчас я задумался над тем, что, казалось бы, столь очевидно.

К. И. Чуковский писал, что даже те, кто понимает, сколь автобиографичны чеховские слова о сыне лавочника — сеченом, лицемерившем, но по капле выдавившем из себя раба, — не всегда сознают, что здесь “говорится о чуде”. Вот и Берестов совершил чудо — не чеховское, другое, но не менее уникальное.

В детстве его постигло несчастье: он был вундеркиндом. “Пудовкин, мой друг, Эйзенштейну звоня: / ”Вот будущий Пушкин!” — сказал. Про меня!” Слава Богу, услышав это, Валя, мальчик, испытал смятение. Он уже понимал неприступный смысл понятия “гений”

и стал тем, кем стал: поэтом, лишенным тщеславных, уродующих комплексов, человеком, прожившим жизнь гармонически. Не всякому удается.

Друг моей юности Василий Аксенов любит печатно вспоминать, как “мы”, “шестидесятники”, обожали твердить друг другу: “Старик, ты гений!”. Вот, мол, каким лучились доброжелательством. Странно. С Аксеновым мы тогда были, сказал бы, не разлей вода, если б в дело не шли совсем другие напитки, но такой расточительной щедрости не припоминаю. Напротив, помню, как раздражали пьяные эти признания, долетавшие от соседних столиков ресторана ЦДЛ. И чего тут не вижу, так доброты; скорее — равнодушие. Если не к собутыльнику, то к ответственной тяжести слов “гениальность”, “гений”, хотя получается, что и к собутыльнику тоже. Льстя ему, не ждешь ли того же и от него?

Сэр Исайя Берлин сказал, что Бродский был гениальным, однако не гением. Не Мандельштамом, не Пастернаком. Спор вокруг Бродского оставим в покое, но драгоценно само серьезно-трепетное отношение к понятию: может быть, так хирург прикасается к обнаженному, пульсирующему сердцу. Тем более с какой легкостью мы произносим, говоря о живущих и здравствующих: “великий спортсмен... великая балерина... великий актер”. Но спотыкаемся перед словосочетанием “великий писатель”. Может быть, потому что в этом случае

подразумевается “великий человек”, и этические претензии выходят совсем не теми, что к Нуриеву или, пуще того, Марадоне?

Признаюсь, меня мало что так раздражает, как выражение “гамбургский счет”. Всякий дурень может, важно надувшись, изречь: “Будем судить по гамбургскому счету” — и его невежественный вкус уже вроде бы осенен высотой неподкупных критериев.

Нет, ловко надул нас Виктор Борисович Шкловский, придумавший термин и саму историю: будто бы в некоем гамбургском трактире раз в году собираются борцы, обычно жульничающие перед публикой. И борются “долго, некрасиво и тяжело”, выясняя свой истинный класс. Кстати, не подсказал ли невзначай этот адрес Гоголь, сказавший устами Поприщина: “Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге”?

Да и сам Шкловский уже раскладом своих пристрастий доказал, сколь зыбка надежда на объективность. “По гамбургскому счету — Се-рафимовича и Вересаева нет”. Допустим. “Горький — сомнителен (часто не в форме)”. Еще бы. Но: “В Гамбурге — Булгаков у ковра”! И — о чем говорить? Прозорливость не большая, чем в “Клопе” Маяковского. Там люди 1978 (!) года, листая словарь умерших слов, находят “Булгакова” рядом с “бузой” и “бюрократизмом”.

Значит, критериев вовсе нету? Успокоимся: есть. Только не стоит присваивать себе право их устанавливать. Следует понимать, что, ска-

жем, премиальные страсти по Букеру или Антибукеру — лишь детская игра в будущий суд истории. И смешно верить в немедленное торжество объективности — хотя, конечно, может и покоробить, когда премия “Триумф” достается Борису Гребенщикову, а Георгий Свиридов уходит из жизни, обойденный вниманием жюри.

Отчего так плоха нынешняя проза (с поэзией чуть получше)? Отчасти и потому, что привычка к иерархии, закостеневшая в советский период, — ибо как без ее табели о рангах мы узнали бы, что Георгий Марков или Егор Исаев суть большие художники слова? — никак не оставит нас. Да и умилительное: “Старик, ты гений!” не так уж умилительно, если амбиции “старика” направлены не на успех у самого себя (формула Станиславского), а на подъем по иерархической лесенке.

В узких пределах постмодернизма по-нашенски или стилизации в духе ретро, где нужен сильный увеличитель, чтоб отличить страницу Пелевина от страницы Буйды, Шишкина — от Уткина, идет борьба за первенство не между индивидуальностями, а между стереотипами. Когда надо попасть в струю, примкнуть к лидирующей группе. “Новая проза”, “интеллектуальная”, даже “актуальная” (раньше она называлась конъюнктурной) — все это заставляет вспомнить слова замечательного поэта Владимира Соколова насчет сочетания “писатель-патриот”. Дескать, с талантом швах, признания

нет, а окрестишь себя “патриотом” — и уже что-то вроде номенклатурной отлички.

Беда, что жажда немедленного, рыночного признания толкает в гурт, в стилевой клан, в рамки стереотипа. И вот, к примеру, Анатолий Королев, счастливо одаренный зрением хваткого реалиста, тоже рвется туда. Словно не должен предостеречь пример того же Аксенова, заболевшего тягой к стилистической — общей — моде и от великолепных сугубо аксеновских рассказов 60-х годов ушедшего в монотонный “сюр”. Где, чтобы выплыть в этой тягучей массе, надо быть Беккетом.

Луна делается не в Гамбурге. И борцы туда не съезжаются в поисках истины. Зато этот славный город дал имя гамбургеру — сытному символу стандартизации, самому примитивному и доступному воплощению материальных благ. Так что не будем себе льстить: живем не по гамбургскому, а по гамбургерскому счету. И пока будем так жить, не приходится ждать никаких ренессансов.

[1998, 31 августа]

*Кина не будет.
И не было*

Говорить о кризисе в нашем кино уже неприлично: отрыдали драматические нотки первых признаний этого факта, даже фарсовые отошли, осталась скучная обыденность приевшейся констатации. Ну разве что слегка взбодрил все это еще незабытый “михалковский” съезд, на который, каюсь, я не пошел из-за его оскорбительной предсказуемости. Свершилось то, что не могло не свершиться, — особенно после того, как Сергей Соловьев, наш Висконти для детского сада, превратил подвластный ему коллектив в нечто безвольно-бесформенное (заодно проделавши то же с собственным дарованием, небольшим, но несомненным).

Ладно. Кризис так кризис. Тем более в общем культурном разоре, да, говорят, и мировое кино (как искусство) в упадке: чем не повод для самооправдания? Но порою сдается,

что к нынешней ситуации, когда любая шпана, сыскавшая деньги, вправе крикнуть: “Мотор!”, а какой-нибудь Хотиненко, профессионал, хорошо кабы на три с плюсом, берет приз за призом — к этой окончательной утрате критериев мы шли упорно и долго.

Неизбежно кого-то шокировав, предположу: за всю историю советского кино было немало великих фильмов. И ни одного — великого режиссера. Как Куросава, Феллини, Бергман, Вайда¹.

“А Тарковский?” — обиженно вскинется некто, но уж эту тему позвольте мне опустить как болезненную и особую. “А Эйзенштейн?” — вот на это ответить легче, для начала высказав очевидное: наше кино — единственное из искусств, тоже наших, не ихних, чью классику, наделяемую эпитетами “великая”, “гениальная”, подчас невозможно смотреть. Стыдно!

Великий Кулешов... Великий Вертов... Великий Пудовкин... Да не о ниспровержении речь — готов повторять это снова и снова, любя многое в нашем кино, патристически этим многим гордясь, — речь всего лишь об уточнении: пусть великие, так оно, в общем, и есть, но по какой шкале? По общекультурной, сопряженной с теми критериями, согласно которым нешуточные звания распределяются (не нами — историей) в словесности? Великая Ах-

¹ Сегодня робко решусь сказать: есть — Алексей Герман. Согласно критериям, сознаю, субъективным, о которых — см. ниже.

матова... Великий Платонов... Великий роман “Тихий Дон”... Или по шкале исключительно цеховой?

Похоже, что так. И вот Виктор Шкловский в 1965 году может спокойно переиздать рецензию 1939 года, повторивши без оговорок: “Великий гражданин” — картина прекрасного качества, удача советского искусства”. А многим ли нравственнее этого кинопанегирика 37-му высокоталантливый “Броненосец “Потемкин”, где озверевшая матросня при сочувствии автора швыряет офицеров за борт?

Размышляю: возможно ли, чтоб в современной литературной критике, какая она ни на есть (о неофашистской речь не идет), могли, говоря о поэзии или прозе, хладнокровнейше отслоить сущую гнусность содержания от изящества, с коей гнусность воплощена?

Положа на сердце (не ниже, не выше) руку: кто из кинематографистов 20–30-х годов соизмерим с миссией, которую избрали или невольно исполнили Булгаков или Платонов? Может быть, тот же Эйзенштейн, гениально (да!) одаренный, чье имя неотрывно от исполнения “социального заказа”, из жестких рамок которого он вышел только однажды, не угодив второй серией “Грозного”? И если бы Сталин, увидав черновой материал “Бежина луга” и, согласно преданию, заподозрив в нескончаемых планах горящих катящихся бочек “формализм”, не приказал: “Смыть!”, то киноведы толковали бы не о драме автора погубленного

шедевра, а о готовности быть обманутым. О положении заложника времени, который не мог (не хотел?) разобраться ни в кошмаре коллективизации, ни в беде несчастного Павлика Морозова.

Ужасно хочется быть патриотом, но... Феллини — родом оттуда, где Данте. Бергман вровень с литературными гигантами Скандинавии. Эйзенштейн если не “Броненосца” (все-таки уж очень талантливо), то “Старого и нового” — идеологически, содержательно где-то рядышком с Анной Караваевой и Мариэттой Шагинян. Много ниже — даже — фадеевского “Разгрома” и “Поднятой целины”.

Согласившись на этом, можно и не жалеть никаких иерархических степеней. Но “величайший” — в какой именно области? “Гений” — чего? Искусства? Или всего только мастерства?

Критерии — не забава бездельников-теоретиков. Ленин и на этот раз был вовсе не глуп, скорее впоследствии оглушен, когда изрек зацитированное: “Из всех искусств...” — и т. д. Изрек, беседуя с Луначарским о “большой доходности этого дела”, то бишь кино, о политической пользе фильмов, притом преимущественно хроникальных, “проникнутых коммунистическими идеями”. Он был прав, вернее, был в своем праве, говоря это в стране, какой по ее неграмотности были не поголовно доступны большевистские брошюры; как был в праве — опять же своем! — сказав художнику Анненкову: дескать, как только искусство

отыграет свою пропагандную роль, мы его — дзык, дзык! — и вырежем. Как аппендикс.

Не примите мои слова за буквально ехидную аналогию, но в своем праве ныне и Никита Сергеевич Михалков, совершенно определенно знающий, каким должно быть кино, какой подавать нам пример, как и какую сформировать национальную идеологию. И так же, как вчерашние кинодеятели самоуважительно повторяли: “Из всех искусств для нас важнейшим...”, — не замечая, что эта гордость — паче унижения, что ленинское “для нас” (для них, для хозяев страны) по-тюремному опускает гордых художников, — так сегодня и завтра сыщется повод сказать то же самое. Что не помешает новым исполнителям нового “социального заказа” ощущать себя гениальными и великими; напротив, всемерно облегчит.

[1998, 7 сентября]

*Да здравствует
культ личности!*

В июне этого года в Театре современной пьесы, где мы недавно еще поздравляли Булата Окуджаву с семидесятилетием, был сбор уже в годовщину смерти. Среди прочих выступали политики — Гайдар, Шохин, Чубайс. Анатолий Борисович рассказывал, как вопреки всем нападкам-наветам покойный его морально поддерживал; в том же духе изъяснялся и Егор Тимурович, сказав, в частности, то, что меня несколько озадачило. Дескать, когда он колеблется, как ему поступить, он прикидывает: а как бы поступил Окуджава?

Гайдар — человек, без сомнения, умный. И когда из подобных уст исходит такая нелепость... Виноват, но как скажешь иначе? Представим. Вот вы сидите и размышляете: соврать — не соврать? Сподличать или явить благородство? А дай-ка вызову дорогую тень и спрошу... Словом,

когда человек разумный произносит нечто несообразное, значит, в целом обществе наблюдается повреждение умов.

Хорошо. А при чем тогда пресловутый культ, разговор о котором обещан заглавием моих заметок?

Ни при чем. В том-то и дело.

Был ли он у нас вообще? Не напутали ли мы — по крайней мере в области словоупотребления?

По-моему, то, что было при Сталине (и что — сразу скажу — в целости сохранилось по сей день), логичнее назвать культом безличности. Без личности. Потому что и сам Хозяин, человек не сказать чтобы мелкий, себя измелчил. Раздробил. Обезличил — так как захотел быть всеми и всем, узурпировал множество свойств, каковые не могут быть принадлежностью одного человека.

Гений Всех Времен и Народов. Корифей Всех Наук. Лучший друг кого попало — чекистов, врачей, физкультурников, пионеров, шахтеров... И т.п. Теперь это выглядит пародией, тогда смахивало на массовую истерику, но было трезвым расчетом: возвеличить себя, размножив и обезличив. Уподобиться Богу, не имеющему плотского облика.

“А в те же дни на расстояньи / За древней каменной стеной / Живет не человек — деянье: / Поступок ростом в шар земной”. Так не кто-то, а Пастернак излил свою любовь к вождю, сказав главное: “не человек”. Не личность — такая-то и всякая, определенная.

“А вокруг него сброд тонкошеих вождей, / Он играет услугами полулюдей”, — это, понятно, уже Мандельштам, и он тоже прав. Да, вокруг — полулюди, полуличности. Полных и полноценных нет и не нужно.

Воспитывается — да, культ! Но чего? Не личности, а поста. Не человека, а места. С назначением на пост присваиваются и соответствующие качества. Тому, кто взобрался на самый верх, вручаются звания Гения, Корифея, Лучшего Друга, а те, что подпирают вождя, награждаются званиями местного и специального значения. Первый Маршал. Железный Нарком. Любимец Партии. Глава Мичуринской Биологии. И если роль Ежова имела-таки касательство к железу, то Лысенко объявлялся великим биологом вопреки всему, начиная со здравого смысла.

Хотя смысл был.

Всеобщая ставка на безличность, замыкаясь на Сталине, давала подобие Бога. А в самом низу, в широченном основании пирамиды — миллионы тех, кто по этой же логике никто и ничто. Все крупное, индивидуальное вымывалось. Шло всенародное раскулачивание. Отрицательная селекция.

Шло? Идет! Иначе с чего бы и поминать старое?

Когда молодой человек Кириенко, говоря о своем назначении, произносит нечто вроде: важен не человек, важна общая линия, — я вздрагиваю. Я понимаю, что он хочет сказать,

и, может быть, придираюсь, но формула “Незаменимых нет” для меня неотрывна от той, согласно которой нету и крепостей, которые не могли бы взять большевики.

Как оно было? Сперва Любимцем Партии считался Бухарин, потом — Киров, затем сам титул оказался не нужен. Как стало? Сменяются “реформаторы” и “демократы”, на место Станкевичей и Собчаков становятся... Да мало ли полувождей, тонкошеих и толстошеих, — только у Сахарова не было титула. Просто — Сахаров. Не Главный Демократ и не Любимец Народа.

Инерция культа безличности жестоко наглядна, увы, и разве Ельцин — не отрицательный селекционер? По отношению к себе — тоже. Разве то, что мы видим, — не развоплощение личности? Личности!

Несправедливы злословящие: чего, мол, было и ждать от секретаря обкома? Есть что вспомнить, и есть о чем пожалеть. Шла беспощадная ломка, традиционно дробился незаурядный характер. И помню, как сердце мое дрогнуло, когда в уже давней телебеседе с Эльдаром Рязановым Борис Николаевич, спрошенный в лоб, как это он, отрицавший номенклатурную роскошь, сам оказался в таком доме, сумрачно согласился: да, власть развращает.

Не надо смеяться, слушая, как он беседует с “массами”. Это драма. И частная, ельцинская, и наша, неизбежно отечественная. Тем более нету права смеяться у тех, кто орал на митин-

Да здравствует культ личности!

гах: “Ельцин! Ельцин!”, срамя Горбачева, которого тоже совсем недавно обожествлял... Чем черт не шутит! А может, то, что умный Егор Тимурович Гайдар произнес вышеуказанную нелепость, — благой симптом? Захотелось действительно культа — и действительно личности? Пуще того, обнаружилось, что искать ее нужно не среди политиков?

[1998, 28 сентября]

Пикейные бронежилеты

Не так давно мне объяснили, что я выступил как бы спичрайтером при генерале Лебеде.

Он высказался в том роде, что для него равно неприемлемы крайности, олицетворенные Анпиловым и Новодворской. А я аккуратно накануне в газетной статье провел именно эту аналогию, добавив, что пламенный трудоросс, по мне, безобиднее демократической Жанны д'Арк.

В самом деле, сосчитаны ль те, кто испытал к демократии омерзение, услышав... Хотя бы это: если, мол, для того чтобы стереть с лица земли коммунистов-империалистов, нужно стереть с лица земли все население, “мы не дрогнем”. Впору вроде бы рассмеяться, вспомнив ильфо-петровских старичков в пикейных жилетах (правда, их-то не соблазняли идеи Пол Пота). Но — не смешно...

Не заботясь о первородстве, сомневаюсь, чтобы Лебедь или хотя бы его интеллектуальный штаб зацепились именно за мою фразу в газете “Век”, — даже крепко надеюсь, что это не так. Что мысль становится обиходной. Что растущая неприязнь к профессиональной революционности равно распространяется на, казалось бы, антиподы.

Не странно, что среди сокрушительных впечатлений сегодняшнего обвала¹ мне особо запомнился такой пустячок, как счастливое лицо экс-премьера Николая Рыжкова. Свершилось! Сбылись наихудшие ожидания! Какая радость!.. Потом-то, конечно, можно надеть усталую маску страдателя за разоренный народ, но как забыть этот выплеск счастья, эту импровизацию мстительного злорадства?

Оппозиция... Не сказать, чтобы это слово само по себе вызывало у нас неразборчивый трепет почтения: делим ее, как положено, на левую и на правую, на конструктивную и неконструктивную. Но есть еще один признак, способный снивелировать даже такие различия: оппозиционность — опять же! — профессиональная. Получающая наслаждение от самого по себе оппозиционерства. Самоутверждающаяся, то есть несострадательная и своекорыстная.

Необходимость пребывать в оппозиции — не тщеславный выбор. Это несчастье, сопровождающее всю нашу жизнь и отравляющее

¹ Пресловутый дефолт.

ее. Долгие годы презирать свою меняющуюся власть, тратя на это презрение те самые силы, которые надобны, чтобы попросту жить, — вот наша участь. Из которой кому-то вольно делать профессию, извлекать сладострастное удовольствие, примерять перед зеркалом воображаемый бронежилет...

Мы — страна традиций. У нас все нынешнее, стоит только копнуть, имеет свой вековой корешок — и, коль угодно, вот два наших достойнейших предка-оппозиционера. Радищев, пишущий, что человек, дескать, может много снести, “не доводи его токмо до крайности”, но, мол, этого-то как раз власти, “по счастью” (!), не разумеют. (Он ведь еще не догадывается, к чему приведет логика “чем хуже, тем лучше” и как он сам будет спародирован радикалами, для кого и беда — “счастье”).)

И — Толстой.

Когда он однажды, как и обычно, ругал российский режим, некий молодой человек сказал ему: “Хорошо, Лев Николаевич. Допустим, мы этот режим уничтожим, а что вы нам дадите взамен?”.

Толстой рассердился, как сердятся люди, которым точный ответ неизвестен:

— “Вообразите, что — не дай Бог — вы заразились луисом. Приходите ко мне и спрашиваете: “...Что я теперь должен делать?”. Я говорю: “...Идти немедленно к доктору и усердно лечиться”. А вы вдруг возражаете мне: “Ну да, я пойду к доктору и вылечусь. Но что вы дадите

мне взамен сифилиса?”. Признаюсь, мне трудно будет вам ответить”.

И вот это “трудно”, эта высокая растерянность творца, созидателя, гения перед лобовым радикальным вопросом, — как раз, выражаясь сугубо по-нашенски, конструктивны. И глагол — конструктивен: не “стереть с лица земли”, но “лечиться”.

Оппозиционер не может быть самодоволен. Ему не может быть хорошо по той простейшей причине, что худо тем, ради кого он оказывается в оппозиции. Потому для меня верный признак ненастоящности оппозиционерства — “счастье” на лице экс-премьера и полнейшее довольство собой, переполняющее Новодворскую. И, если на то пошло, вот оппозиционность на мой личный вкус.

В мемуарах Авдотьи Панаевой рассказывается, как в их доме шел злободневный спор о делах на Крымской войне, и когда на сей счет спросили мнения Александра Николаевича Островского, он хладнокровно шокировал собеседников. Сейчас, сказал он, его больше всего интересует, пропустит ли цензура его новую комедию.

Ах, что за крик поднялся по его уходу: вот он, купеческий Шекспир, вот чертовское самомнение!.. А Островскому, уж конечно, не безразличен был ход и исход Крымской кампании — просто интеллигентская болтовня, имитирующая патриотическую активность, до того обрыдла, что захотелось сказать назло. Но за эпа-

тажем — тот профессионализм, который, быть может, единственно достоин серьезного уважения. Делай, что умеешь и можешь на своем месте, — это и есть настоящая оппозиция. И бездарной власти, и крикунам, которые, не умея ничего создавать, выбирают себе самую фантомную из профессий.

[1998, 26 октября]

Наша литература профукала свою эпоху

В книге артиста Михаила Козакова есть эпизод: его коллега Владлен Давыдов перед гастролью МХАТа в США разыгрывает бессменного исполнителя ленинской роли Бориса Смирнова. Дескать, вдруг там на вас, Борис Александрович, организуют покушение — не миновать вам тогда лечь в Кремлевскую стену. И тот растроганно роняет слезу: “А все-таки, Владик, пожить-то еще хочется”. Так вот. Вспоминая вдобавок, что игравший Сталина Свердлин уже на болгарских гастролях требовал приставить к себе охрану, а Геловани и умер в сталинский день рождения в знаковом 1956-м, задаюсь неожиданным вопросом. Может ли, даже спятив, возмечтать о чем-то подобном нынешний двойник Ильича? Тот, что таскается по большевистским тусовкам и назначил таксу за совместное фото с гуляющей публикой?

Вопрос, сознаю, глупый. Это вам не театр, где случалось, вживаясь в роль, умирали на сцене; это маскарад (одно из значений слова — “притворство”). И вот этот лже-Ленин, как все подобное, коего пруд пруди, — он, а не какое-нибудь литературное сочинение, есть доказательство существования эпохи постмодернизма. Эпоха — не меньше!

Не я один рассмеялся, когда критик с фамилией, выразительной, как псевдоним завязтого постмодерниста, Курицын написал, что отныне вся вообще эстетика может быть только постмодернистской. Вот, однако, лестная аналогия. Так же смеялись, когда Леонид Ильич Брежнев коснеющим языком вытолкнул в массу формулу о советском народе как новой исторической общности, но при распаде империи, при вульгарной дележке и коммунальных счетах обнаружилось, что и вправду — едины. Сварились, как суп из разнороднейшей всячинки.

Да, не менее чем эпоха постмодернизма, слабее всего воплощенная как раз отечественной словесностью. А так... “Нарочитая эклектика... игра с китчем... заведомая пародийность...” — разве это, обозначенное теоретиками как признаки постмодернистского искусства, не разлито в душном воздухе странного времени? Где торжествует — или торжествовал — беспечно ликующий пофигизм, хихиканье как способ мировосприятия. Где самое китчево-выразительное рождалось произвольно, как то, например, что девичья поп-группа с неискорени-

мо пушкинским названием “Лицей” рекламирует презервативы...

В том и беда, что наша литература, именующая себя постмодернистской, профукала свою эпоху. Уж больно она прагматично-трезва на ее маскарадном фоне — в точности как аккуратный двойник Ленина, блюдущий свою коммерческую выгоду.

Литературная школа начинает умирать в тот самый момент, когда огласит свой манифест, обозначит принципы и приемы, поставив этим преграду свободе таланта. Там, “у них”, можно говорить о постмодерне как о явлении мощном, даром что эпизодическом в истории культуры. Свидетельствующем, что искусство в данный момент устало от себя самого, от своей всеумелости. Там не школа формировала, допустим, Фаулза с его “Волхвом” и “Женщиной французского лейтенанта”, — это он, Фаулз (как, полагаю, Борхес и тем более Эко), заставлял теоретиков подлаживать под него свои схемы.

Переживая патриотическое унижение, обращаю свой взор к нашему культурному провинциализму.

Где наш “Волхв”? Где “Имя розы”? Какой таковой супчик сварился? Да никакой, увы, — кипения не хватило, пламени, страсти, которая потребна иронии, может, даже побольше, чем пафосу.

А эпоха по всем приметам заканчивается. По крайней мере в пределах отечества. Даже наш растреклятый кризис ударил по всеохват-

ной иронии, сообщив физиономии общества озабоченность. Вчера мы могли утешаться сентенцией Ежи Леца, что ирония способна восстановить разрушенное пафосом, но и Лец не выдавал это за вековечный закон. Опять, значит, пафос? Не выйдет — да и взять его неоткуда. Нет, не пафос, как и не надежда переиронить иронию — закончился цирк, и если говорить о приметах не менее незначительных, но и не менее характерных, наглядных, чем “лицеистки” с рекламой контрацептивов, то... Ну, хоть бы вот это. По двум телеканалам активно гримасничает Светлана Конеген, клоунесса с репутацией культуролога, — например, обручает, аккурат по законам эклектики, китча и пародийности, Анпилова с Ладой Дэнс. И попробуйте угадать, кто окажется на экране большим анахронизмом: она, почти юная, или усатый по-буденновски Лотман с бородатым академиком Панченко? Благодарю за верный ответ...

Эпоха постмодернизма уходит, разбросав в оставленном после себя мусоре маскарадные лики — стойких ленинцев, реформаторов, олигархов. А постмодернистская словесность? Но не может уйти и отмереть то, чего, к сожалению, у нас не возникло. К сожалению — искреннему, ибо какой нормальный читатель может злорадоваться, что ему недодали?

[1998, 16 ноября]

*Мне – по морде,
а орден – Степашину*

Позвольте рассказать о событиях, приключившихся с вашим корреспондентом вечером 28 декабря, после того как мы весело проводили старый год в редакции “Новой газеты”.

Распрощавшись с коллегами, я спустился в метро и спокойно ехал, читая свежий номер нашей газеты: выискивал возможные опечатки в своей свеженапечатанной статье. (К удовольствию, не обнаружил.)

Выйдя на своей станции “Ленинский проспект”, столь же спокойно дошел почти до перехода через одноименную улицу. Оставалось метров триста до моего дома, и тут двое схватили меня за руки и потащили в машину.

Нападение было настолько неожиданным, что меня как усердного читателя прессы ошарашила заполошная мысль: может, это бандитские разборки и меня с кем-то спутали? Понят-

но, я стал вырываться, взывая к прохожим, но... Раз! Раз! Самый удачный удар по скуле, отчего долго еще прохожу с густой чернотой вокруг левого глаза. Руки заломили назад и заковали в наручники.

Свидетельствую для неиспытанных: впечатление не из слабых. Но в истинное отчаяние привела мысль: меня ждет жена, привыкшая к моей точности, у нее большое сердце, и Бог знает, чем это для нее обернется... Словом, я был в таком шоке, что пытался свершить несвершимое: открыть дверцу и выброситься на улицу со скованными руками: авось кто-то выручит.

Везут. Пересаживают в машину, знакомую по кино: с клеткой. Опять долго везут. Привозят ну, естественно, в вытрезвитель. (Потом оказалось — недалеко от метро “Академическая”).

Для полноты сюжета: именно в этот день мне посчастливилось получить долгожданный гонорар, сумму, весьма для меня значительную. Впору, однако, как вы догадались, глагол “посчастливилось” и тем паче местоимение “мне” заключить в иронические кавычки: посчастливилось, да не мне. Когда в означенном учреждении я по приказу своих новых хозяев выкладывал документы и прочее, то сразу увидел: вместо восьми пятисотрублевых бумажек в кошельке три. “А деньги где?” — растерянно и, разумеется, глупо спросил я и в ответ услышал: “Какие, на ... деньги?”. Грубо, но, полагаю, искренне. Две с половиной

тысячи в удобных купюрах, конечно, исчезли, куда я ехал в наручниках, разлученный со своей тяжелой сумкой.

Надеюсь, мне удастся эпический тон?

Что дальше? “А, журналист! А, “Новая газета”!” — возгласы, в коих мне не удалось обнаружить чрезвычайной любви к нашему с вами изданию. Впрочем, выпущенный на волю в полпервого ночи, так и не знаю, какую роль сыграло мое удостоверение. Не будь его, отпустили бы раньше? Или, наоборот, продержали бы до утра?

Но главной мукой оставалось все то же. Я упрашивал, я умолял их дать мне возможность позвонить домой, дабы жена по крайней мере узнала, что я жив. Я твердил о состоянии ее сердца. “Не положено. Телефон служебный”. Так что, промчавшись до метро с две троллейбусные остановки и прибежав домой, я нашел жену в состоянии еще худшем, чем ожидал. Она не оправилась и теперь.

Каюсь: ради того, чтобы скорее увидеть ее, я не стал препираться и удостоверил своей подписью сразу две неправды — будто был задержан в “оскорбляющем общественную нравственность виде” (что-то в этом роде или еще смешнее) и что “не имею претензий”. Хотя и впрямь какие я могу иметь претензии к ним?

Вот отчего не пишу и не буду писать в прокуратуру или куда-то еще: случай мой до отращения рядовой, заурядный, и даже друзья утешают таким манером: дескать, жив и слава

Богу! Значит, надо благодарить, что в нашей стране если и убивают, то пока не сплошь?

Ужас в том, что я понимаю их логику, так сказать, вхожу в их положение. Конечно, куда проще, вместо того чтобы ловить бандитов и хулиганов, схватить пожилого очкарика, мирно идущего домой. К тому же, как оказалось, в эти дни властью было приказано “усилить бдительность”, а план надо выполнять любой ценой, лучше легкой. Логика вора тем более нельзя не понять. Чего долго и мучительно я не мог объяснить, так это садизма, с которым мне упорно отказывались дать воспользоваться отнюдь не занятым телефоном. Но потом понял и это. Да дозвонись я домой — и уже не был бы до такой степени беззащитен. А чего большего, чем это ощущение беззащитности, хочет добиться от нас от всех поголовно власть? Такая власть? (Пугают “полицейским государством”... Да Господи! Одним бы глазком глянуть, одной бы ногой постоять там, где полиция делает свое полицейское дело, не конкурируя с садистами и ворами!)

Нет, в прокуратуру обращаться не стану. Зачем? Жену это не вылечит. Деньги вновь заработаю (чтобы опять ограбили?). Синяк пройдет. А что останется чувство омерзения, так оно, может, вообще не излишне, чтобы оставаться человеком, отделяя себя от них.

Поверите ли, но я ни разу в жизни не произнес слова “мент” — наверное, потому, что оно мне казалось огульно оскорбительным. Теперь,

вероятно (такова сила личного опыта!), исключу из своего лексикона слово “милиционер”, опять-таки по причине огульного облагораживания всех их вкуче.

Что же остается? Народное “мент поганый”? Нет, интеллигентщина помешает, черт бы ее побрал. Но вот что очевидно: возник, вызрел и воплотился тип мента опоганивающего. Способного с наслаждением и небескорыстно опоганить душу.

Будем жить? Будем. Хотя иногда — и все чаще — противно.

...На следующий день узнал, что министр Степашин награжден орденом. В отличие от Солженицына он не отказался, что и правильно: говорю же, власти нужна именно такая милиция.

Вероятно, неправильно не рассказать, что было потом.

“Они же тебя убьют!” — слово в слово сказали мне несколько человек, добавляя, как правило: “Они же хуже бандитов!”, и хотя это говорило, конечно, больше не о реальности угрозы, а о репутации наших “правоохранителей”, не скрою, писать было отчасти боязно. А не писать — невозможно, смолчать, спустить — тошно.

Итак... Потом — были звонки от них, шантажировавшие мою жену; были, как оказалось, усилия их “службы внутренней безопасности” по поиску компромата на меня: не алкоголик ли, не наркоман?

Далее началось смешное, которое, впрочем, в те дни не совсем казалось таковым.

Главный московский милиционер генерал Куликов пригласил нас с Дмитрием Муратовым “попить чайку с милицейскими бубликами” (“из-

виниться хотят”, резонно предположил Дмитрий Андреевич), как вдруг генерал принялся зачитывать результаты расследования. Оказалось, его усердные подчиненные разыскали кого-то где-то в отдаленной провинции, — заметим, как говорится, действуя “на деньги налогоплательщиков, — и этот “кто-то” подписал показания: дескать, мне, Рассадину, влетело по физиономии от собратьев по узилищу за то... Гм...

Ну, вы догадались, на что хватило милицеской фантазии. Чтоб литератор да не был голубым?

Надо признать, генерал сам быстро смекнул: что-то тут не то, так что я имел право обидеться. Неужто настолько рожей не вышел? Однако извинения отнюдь не последовало, отчего я получил возможность высказать Куликову, что я думаю о его войске, а “Новая газета” открыла кампанию, целый год полоща московскую милицию.

Говорят, когда Куликова снимали, ему припомнили и это. Тем более, в качестве отклика на мою статейку пришли тучи писем, чьи авторы делились собственным горьким опытом; письма забрал Щекочихин и передал в Думу. Вообще, кажется, я никогда не был так популярен, — даже за границей появились статьи о моем “жестоким избиении”.

Что, надо признаться, смущало: это у нас-то подобное можно этак назвать? У нас “жестокое избиение” — это когда ребра ломают, когда кровью начинаешь писать, а тут всего-то морду начистили...

Стоит добавить, что если кто с их стороны повел себя достойно, так это Степашин. Тотчас прислал в редакцию возмущенное письмо, взял это дело “под свой контроль”, но тут его назначили председателем совета министров, и с такой высоты я с моим зауряднейшим приключением превратился в величину неразлично малую.

[1999, 11 января]

Голодные сытые

Вот — узнал из газеты “Центр plus”, что “ряд деятелей культуры совместно с производителями продовольствия” (!) в некоем “развлекательном комплексе” с американским именем “Мерилин” организовал акцию по борьбе с американской же продовольственной помощью. Дав акции патриотическую кличку “Знай наших”. Цитирую:

“Наши” старались вовсю. Виктор Мережко делал из печенья пирожные. Аркадий Инин из лавашей и тушенки создавал гигантские “блинчики с мясом”. Мария Арбатова, вставшая по этому случаю к плите, ловко жарила сардельки”.

Дальше — сложили хлявный продукт, таким образом испоганенный, в коробки, коробки взгромоздили на хлявный грузовик, поехали к посольству США, дабы им оказать гуманитарную помощь. Поскольку американцы к патриотам не вышли, отправили харч по поч-

те, после чего воротились догуливать в “Мерилин”. Пели — ну, разумеется, под гармошку! — русские народные песни, правда, закусывая корейской морковкой и оливками из Испании.

Автор заметки Игорь Ларин, посетовавший, что организаторам этого хеппенинга не достало ума и сердца отдать продукты в детский дом или в богадельню, озаглавил ее: “Московские сытые куражатся”. И действительно: стыдясь примитивной ассоциации, с неизбежностью вспоминаешь трафаретного купчика, который бил зеркала в ресторане, деловито спрашивая: “Сколько?”. Платил, впрочем, к чести его, из собственного кармана, но порыв, возможно, был того же самого свойства: мы, мол, не какие-то там иноземцы, пускай все глядят, как гуляет русская натура. Истинно — знай наших!..

Если все это правда... Вот, однако, беда. Как вспомнишь ту же Арбатову, сыто самоутверждающуюся за счет иной несчастной бабы, пришедшей пожаловаться на судьбу в программу “Я сама”, или того же Мережко, променявшего талант драматурга на тусовочный смокинг (насчет Инина — виноват, не накопил впечатлений), — так, говорю, ощущаешь: нету сил сопротивляться рассказу об их участии в... Да что говорить: в действе наипошлейшем.

И — признаю: поистине в “нашем”. Нашенском.

Весьма и весьма польщу “деятелям культуры”, сказав, что вижу их отдаленных предков в

героях Достоевского. В тех, чьи горестные самоизлияния расшифровываются не только как непосредственный вопль: “Я нищ! Я голоден!”, но и как предъявление счета: “Я голоден в то время, как другие сыты!”. И больше, дальше: “Пусть я сыт, но зачем он сытее меня?”. Буквально: “Сударыня, — не слушал капитан, — я, может быть, желал бы называться Эрнестом, а между тем принужден носить грубое имя Игнат... Я желал бы называться князем де Монбаром, а между тем я только Лебядкин...” (естественно, “Бесы”).

Что? Все же далековато от “деятелей культуры” до капитана Лебядкина? Хорошо, сейчас будет поближе. Теплее. А, может, и совсем горячо.

Видимо, в самом деле Достоевский не социальный фантаст, а реалист из реалистов, если комплекс его “маленьких людей” возродился в новой реальности и в тех, кто самого Федора Михайловича порою не читывал отродясь. Говорю о советской модификации этого комплекса — о номенклатурном сознании (ныне предпочитающем именоваться элитарным), для которого вся сласть в обладании тем-то и тем-то, будь то пайки или менее материальные привилегии, в том, что у прочих этого нет. Не потому лишь, что в стране вечной нехватки на всех было не напасть, но и потому, что впрямь: что за радость быть сытым, когда кто-то... конечно, не сытее тебя, но не менее сыт, чем ты?

Сытость, это совершенно нейтральное понятие (в словаре “сытый” — всего лишь “не испытывающий голода”), в России не зря обрело, во-первых, осуждающий смысл в устах неблагополучных людей. А во-вторых, стало тем, что действительно дурманит мозги, и вот — то хамнувориш крушит ресторанные зеркала и мажет лакеям физиономии горчицей. То партноменклатурщица, войдя этим в фольклор, изъясняет презрение к “городской колбасе” и ее потребителям. То... См. начало моих заметок.

“Два на миру у меня врага... голод голодных — и сытость сытых!” Воскликнув это, молодая Цветаева упустила из виду вариацию третью, стародавнюю и вечно обновляющуюся: голод сытых. Ибо они (говоря широко, много шире единичных “деятелей культуры” с их единичной постмодернистской затеей отправить кормежку американцам, а не старикам, ковыряющимся в помойках) никогда не будут полностью сытыми; их голод — неутолим. Они так и пребудут насыщающимися, но никак не способными насытиться, потому что за их неутолимостью — все тот же комплекс неполноценности. И чем они самоувереннее, тем больше их... Жалко? Вот этого положи руку на сердце не скажу: помешает как раз самодовольство. Да и нас-то вкупе, взрастивших и терпящих такую элиту, не жаль. Разве чуть-чуть.

[1999, 1 марта]

Счастливое событие в Марселе

Картинка из жизни города Марсель (Франция). 26 марта. У российского консульства, где свершается таинство выборов нашего президента, — митинг против войны в Чечне. А в тот же час зал театра “Турски” счетом в шестьсот пятьдесят человек рукоплещет (долго! стоя!) труппе московского театра “Модерн”, в третий раз отыгравшей — в фестивальной программе русского театрального искусства — “Счастливое событие”, спектакль по пьесе Мрожека.

Так что — разбираюсь в нюансах своего ликования, в общем-то несомненно патриотического.

Чей патриот я на этот раз? Моей ли воюющей и выбирающей страны? Побеждающего искусства — в целом и вообще? Данного ли театра? Спектакля, который смотрю в пятый раз? (Мой личный рекорд.)

Вопрос не совсем риторический, особенно если учесть, какую Россию я лицезрел неделю в гостиничном телевизоре: грязный снег да сгорбленные старухи. (Правда, поближе к выборам — еще и Путин в летном шлеме.) Страна, в которой не то что не хочется — нельзя жить...

Да и театр — не в ту ли дует дуду? “Спектакль нас расстроил”, — скажет режиссеру Светлане Враговой критик-марселец (это, замечу, после того, как зал вволю нахохотался), получив галантный ответ: дескать, это не входило в мои планы. Хотя — входило, входило. Не зря красивое по-балетному, виртуозное цирковому зрелище и начинается трубными звуками — как бы — ангелов Апокалипсиса. Воплощающий прошлое генерал (мощная роль Спартака Мишулина), смешной, но и величественно-трагичный, ни дать ни взять Жуков из оды Бродского, побежденный не столько самим по себе будущим, сколько его хамским напором, — этот генерал уходит, показав на прощание фигу, с коей и остаемся. Революционер-анархист (Арсений Ковальский) в обличье нежного клоуна, похожего разом на Пушкина и Чаплина, мечтает, чтобы мир взорвался, — но учиняет-то взрыв уже воплощенное будущее, младенец, беспечно оставленный папой и мамой в доме с непокрытым газом. (Вот уникальная роль, вот театральное чудо — этот натуральный малыш, так сыгранный Сергеем Пинегиним, что я в свое время нашел лишь одну аналогию: Холстомера в ис-

полнении Евгения Лебедева.) Наконец, сами родители, олицетворившие бессильную болтовню либерализма: красавец Олег Царев и прелестная Надя Меньшова, не жертвующие собственным обаянием ради сатиры, но преобразившие его в форму презрительного сочувствия. К своим ли героям, к нам ли, таким же дурням, — ибо это и вправду про нас, про расейскую эволюцию от смиренного рабства к свободе как легкомыслию и попустительству.

Про нас. Но и про всех — тоже. Так что и расстраиваться — то бишь задумываться — надобно всем, включая благополучных французов.

Вообще “Модерн” даже среди наших, считаю, сильных театров кое-чем выделяется. Многие — подчеркиваю, хорошие — театры обслуживают... Нет, не власть, не о том речь, но — первую реальность. Отражают — то перестроенную эйфорию, то повальное разочарование (“чернуха”). Что понятно: публика предпочитает познанию узнавание, и от чего же зависит успех, как не от сиюминутных аплодисментов? Но “Модерн”, что мне до чрезвычайности нравится в нем, словно бы равнодушен к этой сиюминутности, надеясь и веря, что искусство театра идет к эпохе романтизма.

Об этой вере-надежде я услышал в том же Марселе от главного режиссера “Модерна”, но, не знаю, французский ли воздух причиной тому, только чуть раньше и мне взбрела на ум, как показалось, формула эстетики этого теат-

ра. Запись в “Дневнике” Жюль Ренара: “Быть точным. До романтизма”.

Но романтизм — это, глядишь, ужю. А сейчас, выходит, черед искусству модерна? (С постмодернизмом — не путать.)

Для меня загадка: получил бы “Модерн” свое имя, не возьми Светлана Врагова время назад руины Хлебной биржи (1911), от которых испуганно отказались несколько режиссеров? Знаю лишь, что талант плюс упорство ставят себе на службу даже случайность, и вот озаренно предполагаю: да ведь русский модерн, давший Серова и Сомова, Леонида Андреева и Чехова (да, и его!), есть предоктябрьская, последняя попытка искусства остаться самим собой. Неся в себе катастрофу, но еще выражая тоску по гармонии, природнейшую черту русской культуры.

Врагова говорит: в модерне красота прощально помахала нам ручкой. Да, только ручку к тому же раз — и отгрызли. То, что у них, там (впрочем, имея в виду Марсель, здесь?) звалось “Ар Нуво”, хоть и прерванное мировой войной, оставило корни, а у нас было разом прихлопнуто. Возрождается ли? Не знаю. Но, возможно, ничто, как искусство, по интуиции или расчету подхваченное театром “Модерн”, не воплощает трагизм и надежду именно нашей с вами эпохи. Трагизм ежедневно попираемой красоты — и ее надежду выжить сегодня, чтоб расцвести наконец в вожделенное время нового романтизма.

Смешно звучит среди скепсиса и цинизма? Но и спектакль, о котором толкую, не потому ли имеет резон быть смешным, что таков сам современный мир? Тот, что идет к своей гибели, хохоча и не видя, куда идет. Не видя — будь то француз, не желающий расстраиваться, или мы, привыкшие к своему будничному кошмару...

А Марсель... Что ж Марсель? Известно — замечательный город. Знаменитая гавань. Не менее знаменитый рыбный рынок, где твой взгляд упирается в чудище-рыбину с мордой, как греческая маска трагедии. Крепости крестоносцев, предсказавшие кубистические полотна. Вечнозеленость — и еще голые платаны, пластично изломанные, будто скульптуры Цадкина...

Или сами эстетические ассоциации навеяны тем, что я видел триумф искусства любимого мною театра? Московского, русского — вот уж такой патриотической гордостью мы, слава Богу, не обделены.

[2000, 10 апреля]

Властители дум-дум

Да, свершилось, и, как к любой неизбежности, к этой надобно отнестись без истерики. Даром что Россия всегда была литературоцентрична, и более того: возможно, наша словесность и есть сама по себе Россия, то бишь мировое и внутреннее представление о стране и народе. Литература придумала нас с вами, и мы все время стараемся быть похожими на этот придуманный ею образ всяких там Каратаевых-Карамазовых. По крайней мере сверяем себя с этим образом. Потому что при наших разбросанности и раздрызганности (которые нам вольно объявлять “сложностью и противоречивостью”) другого у нас нет.

Тема неисчерпаемая, как артезианский колодец, который, однако, ныне накрылся. Вернее, его накрыли. Крышкой. Сегодня Россия — то, что покажет ТВ; сегодня мы — часть теле-

зрелища. И уже буднично воспринимаешь, к примеру, то, как в передаче “О, счастливчик!”¹ учитель (подчеркиваю) литературы мучительно выбирает из четырех вариантов — Павлович, Александрович, Петрович, Васильевич — отчество Николая I. Размышляя: он вроде бы не был сыном Александра I? Или был?.. Нормально. Вполне в духе времени, когда знание, то, что накапливается и, накопившись, никуда не девается, заменилось удачей, сдуру выпадающей во множестве телеугадаек (которые для полнейшего освобождения от необходимости знать обставлены подспорями — “звонком другу” или “мнением зала”).

Время такое — время ТВ. И кумиры — люди с ТВ. Хорошо это или плохо? Ни то, ни другое. И так и сяк. Хорошо, когда в этой роли умные и порядочные, плохо, когда... Да дело не в именах!

Конечно, худшие, заполняющие эфир малограмотным пустословием (это при воплях, сколь дорога минута эфирного времени), характернее. “— Николай, я вижу, у тебя в руках интересное письмо”. — “Действительно, письмо находится у меня в руках”. Вот микроосколок диалога двух ведущих на ТВ-6, уложившего меня насмерть, впрямь как осколок разрывной пули дум-дум (и по той же причине: у означенной пули пустая головка). Но есть нечто, объединяющее даже таких с самыми профессиональными: ни те, ни другие ничего не

1 Ныне — “Как стать миллионером”.

производят. И ничего не оставят, уйдя, — существенное отличие от каких-никаких литераторов. Или, скажем, киноартистов.

Корить этим всех — дико, для лучших подобное — драма. Или хотя бы может ею стать. Но для худших — твердая почва для бесстыдства. “Плевком в вечность” называла Фаина Раневская участие в скверном фильме, но разве брезжит перед каким-нибудь телекиллером с ОРТ (фамилию вставьте сами) призрак этой вечности? Хотя он сам плюется почти смертоносно. Тут — ни малейшей зависимости от будущего, в том числе от своей будущей репутации, да и где она, будущая? Ее просто не станет, едва телезвезда уйдет с теленебосклона, зато какой простор для самоуважения в настоящем! Какая случается агрессия, многократно являемая при любом критическом замечании, которое воспринимается как посягательство ни много ни мало на само существование!

Свежий пример, забавный и пустяковый, впрочем, именно пустяковостью опять-таки характерный. Готовлюсь на радио “Эхо Москвы” к диалогу с почитаемым мною Андреем Максимовым, и вдруг за минуту до эфира врывается в студию некий радио- и телеведущий (назовем условно Матвеем), памятный по сошедшей телепрограмме (назову, как называл ее прежде: “Моветон”). “Вы — г-н Рассадин?” И — скандальная сцена с напоминаниями, как я его обижал печатно за помянутый “Моветон”, и с фантастическими подробностями.

Максимов встревожился: собьет с тона, испортит эфир. Это, положим, фигушки, зато экспансия экспансивной телеперсоны дала пищу для, возможно, нелишнего размышления.

Каких только писателей я за свою жизнь не ругал! И на какую реакцию ни нагляделся, включая жалобы по начальству! Но там в подобном был смысл, порою дававший осязаемые результаты: заткнуть злословящий рот, закрыть мне дорогу к “Гуттенбергову прессу” (помню историческую — естественно, лишь для меня — директиву верховного литератора Г.М. Маркова: “Пора запретить Рассадину травить советских писателей!”). А здесь, в бессмысленном и, к счастью, бесплодном порыве злопамятности — что? Сработало ль нервное понимание собственной — именно как персоны ТВ — скоротечности?

Ежели так, понятно; честное слово, говорю сочувственно. Быть может, даже похвально, как всякое понимание себя самого, собственной роли. Однако наглядная практика ехидно подсказывает другое: то, от чего многие, проваливши одну телепрограмму, работают локтями, дабы заполучить новую; унизительно проваливают и ее, но не в силах исчезнуть с экрана.

Говорят, телевидение затягивает (а литература — что, нет?). Говорят, телеизвестность — как наркотик (а литератор — что, не хочет известности?). Тут, полагаю, иное: дело в самой стремительности завоевания умов и душ, обес-

печенной мельканием на экране. И вот в понятии “властитель дум” (тем паче “дум-дум”) отчетливо и буквально проступает корень: “ВЛАСТЬ”. Та, что по природе своей противостоит творчеству с его муками и сомнениями. Та, что может быть добыта помимо личных заслуг, вопреки собственной незначительности. А сознание этой нелегитимности, в точности как в политике, усиливает захватнический инстинкт...

Тем, кто обвинит меня в ненависти к ТВ, ежевечерне доказываю свое алиби, усаживаясь у экрана. Но что остается литератору, вновь отесненному и угнетенному, как не судачить на кухне о природе тоталитарной власти? Дело, слава Богу, знакомое.

[2000, 15 мая]

Герой дня без пропуска

Среди самых драгоценных высказываний, когда-нибудь поражавших мое воображение, отныне буду бережно хранить телесентенцию Валерии Новодворской из беседы с Оксаной Пушкиной: Константин Боровой есть тот человек будущего, коего вымечтали Толстой и Чехов. Сравнимо разве что со словами прозаика Василия Белова о Макашове (той поры, когда последний распоясался насчет “жидов”): “А что бы сказал А.С. Пушкин в связи с неумной шумихой, поднятой по поводу генерала Макашова?”.

Возможно, дружеские гиперболы по-своему даже трогательны. Что ж, тем нагляднее, за счет чего и кого происходит возвышение. Чем являемся? Какой видим средю своего обитания, ежели Боровой воплощает собою то, ради чего соглашались страдать три сестры, а Пушкин шагает в группе поддержки отчаянного

генерала, где-то между Илюхиным и Шандыбиным?

Когда-то я пересказал в “Новой газете” байку о буфетчике из Мытищ, заболевшем манией величия и вообразившем себя не Цезарем или Наполеоном, но начальником местного треста столовых и ресторанов. Так мне ль поражаться, узнав в той же “Новой газете” от социолога Анатолия Уралова, что психбольницы забиты лжебурбулисами, квазизюгановыми, псевдоруцки-ми? Но задуматься есть над чем.

Самоуничжаемся? Вот уж ни чуточки. Мы отнюдь не стали о себе худшего мнения — это мир для нас измельчал. Повторяя, особенно в дни юбилеев и похорон, имена своих великих, того же Пушкина, мы и его вытеснили из своей подкорки. Наше безумие правдивее нашего разума. А круг “великих” расширился до утраты своих очертаний.

Дикие крайности — только крайности. Есть и середка. Есть будничная шкала, где “наши кумиры” — это, допустим, “Левчик и Вовчик”¹, где обитают “гениальная Алла Борисовна” и “великий Кобзон”, но это как раз считаю нормальным. Тут самое пышное звание сразу обретает специфический нюанс, и если что серьезное коробит мой слух, так скорее уж: “великий Высоцкий”, “гениальный Довлатов”...

Придержите замах. Не бейте меня. Нету здесь унижения ни для того, ни для другого, и вот мое личное алиби. Сорок лет продружил я с

1 Лещенко и Винокур.

Булатом Окуджавой, начав с поры его неизвестности, и книжку о нем написал, но ёжусь, слыша или читая: “Окуджава и Пушкин... Более чем гениальный Булат...”. Между прочим, и потому, что явственно представляю его реакцию.

Бросим прикидываться. Не их возвышаем мы скороспелыми оценками, похищенными у истории, которая одна разберется, что к чему. Мы себя тешим. Себе льстим, выстраивая вокруг себя пантеоны и памятники; обустроиваем свой культурный вакуум, впрочем, время от времени проговариваясь. В точности как те простодушные сумасшедшие, обнаруживаем свои истинно подсознательные приоритеты.

Признаюсь: был не меньше чем потрясен, когда в день похорон Олега Ефремова и на фоне настойчиво демонстрируемой скорби Светлана Сорокина в герои дня избрала Зюганова. Видать, ну никак было не обойтись без срочного выяснения, почему он не голосовал за президентские планы. (Арина Шарапова, та, молодец, догадалась отдать свое “место встречи” почившему.) И то, что это случилось не с каким-нибудь Крутовым из “Московии”, а с первоклассной телеведущей, свидетельствует, сколь велико и привычно помешательство. Общее.

Л.К. Чуковская рассказывает, как Ахматова дала ей прочесть абзац из Веры Фигнер: “В прошедшем, 1921 году, Россия понесла две тяжелые утраты: в феврале скончался Кропоткин, а в декабре — Короленко”.

— А в августе Блок, — сказала я. — И Гумилев. Она забыла.

— Да, в августе Блок, — повторила Анна Андреевна. — Она не забыла, для нее Блока просто не было. И не только для нее”.

Но все-таки там — Короленко. И Кропоткин. Здесь — Зюганов, без которого никак не обойтись в день скорби по Ефремову. Здесь — Руцкой, Жириновский, как сквозь проходную без пропуска, проникающие в наше сознание и подсознание, заменяющие в больных неначитанных головах Петра Первого и Александра Македонского.

...Есть старинное присловье: “Для женщин и лакеев не существует великих людей”. То есть дамам дается право на фамилльярность; пусть они видят в любом гении прежде всего мужчину, как лакей — того, кто щедр или скуп на чаевые. Это своего рода абсолютное равенство, не считающееся со степенями ума и таланта. Но ведь и массовое выдвижение на должность великих, по сути, тоже выравнивание выдвинутых и выдвигающих, которое унижает и обесмысливает единственно реальную иерархию. Это как в рассуждениях Пушкина, возражавшего против того, что Николай I кому попало открыл доступ в круг дворянства, худо-бедно избранного историей: “...Вскоре дворянство не будет существовать или (что все равно) всё будет дворянством”.

Вот и у нас — всё будет зюгановыми и боровами. Уже стало.

[2000, 5 июня]

Разложенцы

В мире все меньше остается загадок, но одна продолжает-таки будоражить мое воображение. Силюсь и не могу смоделировать сознание тех, кто, когда на ТВ проводят опрос, предлагая на выбор: “Поддерживаю... Не поддерживаю... Затрудняюсь с ответом”, дозванивается, чтобы сообщить: затрудняется! Еще, по-моему, иногда и пятерку приплачивает, дабы расписаться в незнании, несостоятельности, неучастии. Похоже на анекдот, который, помню, любил С. Я. Маршак: путешественник объявляет через газеты, что ищет спутника в кругосветный вояж, и на следующее утро его будит дверной звонок. Нечто явился, чтобы объявить: он с ним не едет!

Непонятно, но трогательно — и то и другое. Может, кому-то необходимо хоть так заявить о своем существовании? Я не еду, не умею, не знаю, однако же — есмь!..

Но растроганности моей хватает не на всех.

Вы заметили, что среди популярнейших ныне литературно-журнальных жанров — собственные дневники, публикуемые бесперечь? Повлиял, что ль, пример нашумевшего “Дневника” Нагибина, и даже саморазоблачительность не напугала? Причем — добро, когда печатаются дневниковые записи многолетней давности (Мариэтта Чудакова в “Новом мире”); добро, если автор нечто собою представляет... Хотя что говорю? Бывают ли литераторы, признающиеся в обратном? И все же есть рекордсмены. Скажем, Сергей Есин, прозаик и ректор, публикует в “Нашем современнике” дневник 1999 года, вытряхивает свой персональный “сор”, и что в нем обнаруживаем?

К примеру — что ректор и автор, пребывающий в Дании, в командировке, подворовывает за завтраком бутерброды, “экономя деньги, потихоньку” (впрочем, виноват: дело если и не святое, то освященное традицией российских туристов). Или — удовлетворение от того, что референт постарался в уборке его ректорского кабинета. Ну еще и масса всяких мелких гадостей литераторского быта.

Впрочем, есть и открытия. Даже озарения. Приятные, как знакомство с Лимоновым: “Крепкий и толковый мужик. ...Хорошо возбуждало нашу молодую публику”. (Представляю!) Неприятные — зато какие! По эксклюзивнейшей информации, переданной одним датчанином (кстати: несколько зная Данию и датчан,

могу оценить, сколь непросто было отыскать такого и, стало быть, как искателю повезло), в окружении Клинтона — обилие “людей еврейской национальности”. И сам Клинтон — того! И даже Олбрайт (кто б мог подумать?). И, не поверите, Моника!.. “Воистину, общаясь с людьми за границей, узнаешь много головокружительно нового”.

Правда, за информацией этого рода ректору не обязательно было кататься в чужие края: мог бы перелистать любой номер журнала, в котором печатается. Да и зачем скромничать — сам разве не знаток? Вот он встречается в газете письмо группы интеллигентов — об антисемитизме, об угрозе фашизма и сталинизма, о “попытках подкрасить языческую коммунистическую идеологию православием”; перечисляет подписи, среди них — Приставкина, Бориса Васильева — и задает прелестный вопрос: “Почему евреям так нехорошо от православия?”.

(Анатолий Игнатъич, — обращаюсь к Приставкину. — Чего ж так долго таился? Колись!)

Ладно. Евреи евреями — тема, конечно, волнующая, — но каков стимул публикации в целом, включая утаенные датские бутерброды? “Был В. И. Гусев. Он издал свои дневники за 93-й год. Я сунул в них нос и позавидовал. Все чрезвычайно просто”.

А то! Еще бы не просто! Донельзя!..

Да, да, был у нас “почти гениальный” (определение Горького) Василий Васильевич Розанов с его “Опавшими листьями” и “Уединен-

ным”, в которых домашность, сугубая частность мысли подчеркивалась указаниями, где она соизволила явиться: “за вечерним чаем”, “умываясь утром”, “в кабинете уединения”... Вот уж действительно — “Уединенное”! И “почти гениальность” заставила Розанова осознать: “...Во мне происходит разложение литературы, самого существа ее...”.

А мы? Прочел в “Дружбе народов” высказывания ближнего иностранца, аттестованного как “Дмитрий Галковский украинской литературы”. И, в согласии с аттестацией, этот двойник объясняет, почему в романе Сорокина “Голубое сало” не обойтись было без осквернения тех, кто драгоценен для русской культуры: “Выхода нет. Очень тесен мир. ...Только за счет других. А какой объект для расчистки пространства выбрать, будет это... Пастернак или Ахматова, — тут уж каприз... самого автора”.

Теория “расчистки пространства”, говоря без затей — людоедства, страшнее самого людоедства, как философия погрома разрушительнее самого погрома, но, представьте, на сей раз не хулю того же Сорокина. Не до него. Он — провокатор-застрельщик и как таковой не олицетворяет ползучую массу, которая и сама не признает его своим. Но словесный мусорный оползень, простодушно-стихийно производящий разложение литературы (и неспособный не разлагать: остро недостает таланта как энергии одолевать сопротивляющийся материал), — вот “эстетическое” воплощение то-

го, что так или иначе переживаем все. Общественного безволия. Духовной аморфности. Тупикового и вполне свинского самодовольства. Это нынешняя болезнь общества и его литературы; симптомы могут быть неявны, невяжны, как цитированный смешной дневник, но это и есть печальная гарантия, что болезнь обещает быть затяжной.

Что остается? Ставить диагноз. Но поверят ли ему сами больные? Тем более, как кто-то заметил, если в жизни шарлатан симулирует болезнь, то в искусстве — несокрушимое здоровье. Абсолютную полноценность...

[2000, 7 августа]

Путешествие в Египет

Прошу извинить за сюжет слегка траурный. Правда, лишь поначалу, но станет ли веселее к концу?

...Недавно мы с женой выбрались на Новодевичье — в частности, побывать на могиле Олега Ефремова. А возле нее вспомнилось, как несколько лет назад в дни псковского Пушкинского фестиваля мы группой ездили во Псково-Печорский монастырь, и там, на выходе из знаменитых “печор”, пещер, где хоронят монастырскую братию и кое-кого из мирян, Ефремов живо любопытствовал у сопровождавшего нас послушника: мог бы тут лечь человек посторонний? Скажем, вот он? На что наш вожатый, блеснув железным зубом, отвечивал: “Вас, Олег Николаевич, мы бы уважили, а вот что до прочих артистов...”.

Понимай: бесовская, дескать, профессия.

Между прочим, не помню, незадолго до того

или чуть после, но в том же монастыре прошелестел скандал. За мзду в пещеры был помещен прах уголовного авторитета, грохнутого такими же.

Кто как, а я рад, что Ефремов, грешный человек бескорыстных страстей, лег в старой части Новодевичьего, рядом со “святым Константином”, со Станиславским. Заслужил право лежать не там, “где торчат, словно попки на вышке, маршала, маршала, маршала” (из стихов Владимира Корнилова); где трижды лагерник Смеляков зарыт рядышком с тем, кто его посадил; Папанов рифмуется по-соседски с Папаниным; совноменклатуру олицетворяют, также соседствуя, Серушкин и Заколупин; где превыше надгробий “творческих интеллигентов” возносится памятник культурного министра с патетической эпитафией... А я опять вспоминаю: идет “сдача”, вернее, трагическая несдача любимовского “Годунова”, режиссер произносит отчаянную речь, и, не глянувши в его сторону, тряся от негодования щеками, уходит этот самый министр-запретитель...

Ладно. Будем по возможности незлопамятны. Просто: “Здесь лучше всего понимаешь, в какой стране живем”, — сказала тогда моя жена, и впрямь: что говорит о нас соревновательная пышность официального мемориала, сочетающего безвестность навсегда позабытых советских бюрократов с надгробной помпезностью, которая настаивает на незыблемости оставленного ими следа?

В какой стране живем... Да вот в такой. Когда-то поэт Винокуров пересказал слова Эренбурга: мол, когда в двадцатых тот воротился в Россию из Франции, в нем теплилась надежда на европеизм новой власти. Как-никак за ней — эмиграция, Лондон, Женева... “Но как только я увидел мавзолей, понял: Египет!”

Хотя было ли у фараонов, на века строивших для себя усыпальницы-пирамиды и, похоже, по древнему простодушию не сомневавшихся в вечности своей славы, — было ль у египтян то, что отличает наших сильных мира сего? А именно — нервный комплекс неполноценности? Дрожь от сознания шаткости своих дел и самого своего бытия? То, что давно и надолго определило исторический ритм жизни целой страны...

“Мы все имеем вид путешественников, — когда еще написал гениальный Чаадаев. — Дома мы будто на постое, в семьях как чужие, в городах как будто кочуем...”

Верно, верно — и для всех, сверху и донизу, от правителей-временщиков до наивно-безвредных бардов, воспевающих как панацею традиционный российский “убег”: “А я еду, а я еду за туманом...”. Иллюзия и дорога, сказал Бродский. Да. Дорога как иллюзия; евангельское умывание рук как верное средство духовной гигиены.

Вот, значит, и оформляем по-фараонски вечный постой, наконец переставши нервничать и дрожать. Кончается жизнь, вместе с нею и

страхи ее — что остается? Иерархия, заражающая опять-таки всех. С черным юмором припоминаю, что, когда безвременно умер Сергей Курехин, авангардист, принципиальный отщепенец, к тому ж подавшийся в национал-большевики, его друзья пылали негодованием: отчего правительство не устроило ему государственных похорон? Но чего ж вы тогда фырчите на Шилова — Глазунова?

(Признаюсь — ох! — что не слишком сочувствую обидам на то, что кого-нибудь из достойных не удостоили престижного места на кладбище. Пуще того, подчас раздражает забота “друзей и близких” уложить дорогого покойника непременно к Заколупину и “маршалám”... Я не прав? — как говаривает один телеведущий.)

Неизлечимые номенклатурщики — даже в рядах “демократов”. Жаждающие помпезности или хотя бы разучившиеся отличать ее от величественности — чего стоят споры о возврате Дзержинского-идола на родную Лубянку. Самые непримиримые антидзержинцы, демонстрируя эстетический плюрализм, оговаривались испуганно: “Конечно, это произведение большого искусства...”, и мне всякий раз хотелось обратиться к ним вопрос, каким Эрнст Неизвестный когда-то сразил чекистского генерала: “В какой руке у него фуражка?”.

“Все те же мы...” Может, и хуже, ибо по-нашенски понятая свобода, в том числе вкуса, превратила Москву в сброд башен и башенок, не глядящих, как положено, в небеса, а меряю-

щихся вульгарным мирским самолюбием: кто главнее и выше? Сталинская номенклатура по крайности пряталась за заборами, финально отыгрываясь на вызывающих пирамидах своих могил, — наши же, что власти, что “новые русские” (где меж ними граница?), судорожно самоутверждаются нагромождением дворцов, этих прижизненных мавзолеев и пирамид... В предчувствии, что ли, что скоро и их — кого снимут, кого и грохнут?

...Кстати, когда мы с женой покидали Новодевичье, в ворота деловитой, уж никак не экскурсионной походкой прошествовали четверо с крутыми затылками и золотыми цепями. Знают, стало быть, свое место...

А чье же еще?

[2000, 21 августа]

Мы все вышли из ливреи Фирса

В негодяйстве, как всюду, есть свои степени совершенства, и среди, увы, многочисленных мерзавцев советской литературы были свои же чемпионы и рекордсмены. О каковых до сих пор вспоминают с оттенком... Ну, не сказать: восхищения, но того изумления, с каким разглядываем все уникальное.

Например: “Член редколлегии “Знамени”, весьма почтенная дама... говорила гордо: “Мы никогда не отклонялись от линии партии. Вадим шел на этажи (то бишь — на Старую площадь, в ЦК. — *Ст. Р.*) и узнавал линию партии на неделю...” Или: “У каждого журнала должно быть свое направление!” “У вас какое?” — спросила я с надеждой. “Не сделать ошибку — такое наше направление!” — прокричал он”. Вспоминают Григорий Бакланов и Анна Берзер, легендарная Ася, которой мы во многом обязаны по-

явлением в “Новом мире” солженицынского “Ивана Денисовича”. А речь — про монструозного Вадима Кожевникова, о коем в почитаемой мной мной газете появились теплые воспоминания дочери Надежды. Иностранки, как она себя именует, ибо благоразумно покинула ту страну, среди активнейших развратителей коей был и ее “папа”.

Домашнее это словечко... Интимные фотографии... Упоминание — очень кстати, — что Владимир Путин еще в детском возрасте вдохновился “Щитом и мечом”, папиным сочинением... Нет, нет, не оспариваю дочернего права на мемуарную теплоту и даже на смешную попытку оправдать “бурную папину деятельность” сложностью происхождения — как понимаю, допустим, братьев Михалковых-Кончаловских, прощающих своему папе то, что по общим критериям непростительно. А, черт побери, разве сыну Берии, мечтающему реабилитировать родителя, откажешь в семейной логике? А приемной дочке Ежова? Честное слово, скорее не понимаю близких Твардовского, гневающихся на Солженицына с его “Теленком”. Вот уж где Александр Исаевич, нередко линейный в изображениях и оценках, словно бы растерялся перед личностью со столь не сходящимися концами — и вышел образ трагически незаурядный, художественный...

Все так. Но что делать, если память числит за тем же Кожевниковым в первую голову гнуснейший поступок: донос “куда надо” на Васи-

лия Гроссмана, нерасчетливо принесшего великий роман в “Знамя” (что, как известно, кончилось арестом рукописи и гибелью автора)?

“Напрасно ты отдал бездарному Кожевникову. Ему до рубля девяти с половиной гривен не хватает. Я бы тоже не напечатал... Но не сделал бы такой подлости...” Так, по воспоминаниям С.И. Липкина, говорил Гроссману плачущий, нетрезвый Твардовский.

Еще и еще: да, память отборчива. И когда Юрий Тынянов писал, “как невесело быть сыном Грибоедова и носить всю жизнь фамилию Булгарина” (подразумевался слух о грехе жены Фаддея с его гениальным другом), тут говорил скорее историк литературы, чем сердцевед. Не все дети ценят родителей за их “общественное лицо” — к тому же, замечу, от Булгарина, как-никак спасшего, сберегшего рылеевский “самиздат”, предстояло долгое опускание до уровня кожевниковых. Но хороши б мы были, измеряя историческую репутацию Фаддея Венедиктовича степень сыновней привязанности...

Впрочем, речь не о самой по себе семейственности — ее притязания просто наглядны. Мы вообще, в целом, в массе как-то уж чересчур помягчили к своему советскому прошлому. Принялись его мифологизировать, именно одомашнивая, и вот, допустим, в “Гласе народа”¹ милая женщина заявляет, что хочет (а я, спра-

1 Канувшая, практически запрещенная телепрограмма.

шивается, не хочу?), чтобы вернулись сплошь бесплатная медицина и пионерские лагеря. Но отнюдь не хочет возврата к нищенской прошлой зарплате (она-то пусть будет, “как у капиталистов”!), и ведущий Евгений Киселев вдруг не находит простейшего из ответов: да оттого все это и было, что платили нам нищенски. Не потому ль не находит, что стирается общая четкая память о постыдности и противоестественности существования при застое?

Немудрено. Призраки былого живучее самой отошедшей реальности, воздушные замки — из самых неразрушимых, а современность так непристойна, что и та бедная, полурабская стабильность рождает завистливую тоску. И все же ностальгически объединяться вокруг призрака утраченного социалистического Эдема — в сущности, то же самое, что замечательная идея сплотиться вокруг возрожденного памятника Дзержинскому. (К несчастью, наша судьба вообще — объединяться против, что горько пришлось констатировать в страшные дни катастрофы “Курска”, когда почти все слились в едином сострадании и в едином чувстве стыда за сочинского курортника.)¹

Помягчевшие воспоминания о добродушном ли Брежневе или мудром Андропове, чему так много места сегодня находится на страницах газет и в телеэфире, опасны всерьез. Чем? Грядущим возвращением Зюганова и его ко-

1 Естественно, Путин, в эти дни посетивший, говорили, концерт Баскова.

манды? Да ни Боже мой. Опасность не столь олицетворена, но от этого она еще более многообещающая.

...В “Вишневом саде”, одном из самых пророческих произведений, аллюзионность которого все возрастает и возрастает, — кто наиболее зловещая фигура? Представьте, Фирс — да, он, трогательный и милый, к тому же физически, персонально обреченный. Вспомним: “Перед несчастьем тоже было...” — “Перед каким несчастьем?” — “Перед волей”. Фирсово ворчливое неприятие того, что настало, стократ объяснимое — это тоска по “стабильному” холопскому раю, где “мужики при господах, господа при мужиках, а теперь все враздробь, не поймешь ничего”.

Что враздробь — точно так, но какой мир соорудил бы этот немощный старец, кабы мог?!

Мы также мало что можем. Но, идеализируя прошлое, которое проклинали, когда оно было настоящим, мы его не возродим. Зато поможем своему будущему стать таким, что “царь Иван Васильич от ужаса во гробе содрогнется”. Пока это — цитата из Пушкина.

[2000, 4 сентября]

Провинциалы

Прочел книгу режиссера Адольфа Шапиро “Как закрывался занавес” — с наслаждением. И с горечью.

Что до первого ощущения, оно даже несколько ревниво. Мало того, что рассказ увлекателен, разборы Чехова и Булгакова тонки, но и написано с таким литературным изяществом, что, право, автор мог бы оставить попытки на этом поприще нашему брату, писаке-профессионалу. А горечь... Как иначе воспринять книгу о погроме легенды — Молодежного рижского театра, некогда и в Москве знаменитого больше, чем иные московские?

Читаешь, как всесоюзный эстрадник Паулс осуществлял погромную акцию, выгравшись в шутовскую роль “национального” министра культуры в фарсе провинциального самоутверждения (“Будут, будут у нас свои, латышские режиссеры!”), — читаешь, и сжимаются

кулаки. Сердце сжимается, хотя не посмел бы сказать, что делю с автором книги его боль на равных. Я-то — что потерял? Любимое Рижское взморье. Он — дело тридцати лет своей жизни, отчего мы с ним такая же ровня, какой оказался когда-то один знакомый Василия Гроссмана. В дни, когда убивали гроссмановский роман, он решил проявить сочувствие: дескать, у меня тоже задерживают статью в “Учительской газете” — и был изгнан из дома.

Драма убитого детища непреходяща; тем удивительнее способность автора-режиссера к аналитике происшедшего.

Например, он сличает две трупы своего бывшего театра — латышскую и русскую. Их менталитет (слово настолько модное, что им щеголяют и те, кто, по-моему, полагает, будто оно от “ментов”, — а может, по-своему правы?). Латыши были организованны и точны, даже романы, ссоры, соперничество не мешали актерскому братству быть спаянным. А русские... Ну, ясно: “заявления об уходе, исповеди, слезы... Непредсказуемость и непоследовательность”.

И вот — свобода. “Латышей будто подменили... Каждый ринулся куда мог: в политику, в деньги, в освоение наследства”. Талантливые — сникли, бездарности — раздулись. А у русских наоборот. “Они отгородились от всего и упорно вкалывали. Отторжение от улицы, которым раньше восхищали латыши, посетило их”.

“И никакого тебе менталитета...” Вот!

Да, вот очередной повод задуматься “о национальной гордости великороссов”, как политик, популярный ныне разве что у зюгановцев, озаглавил статью, где есть небесполезная мысль: раб, гордящийся своим рабством, — холуй и хам.

Итак, о гордости. В дни недавней Олимпиады (о которой всяк, кто хотел, уже высказался, значит, и стародуму-тугодуму пора) я, как все, ревниво следил за недобором медалей, радовался их внезапному урожаю, и вдруг обожгло: а вдруг случилось бы так, что мы опередили Америку? Вот был бы ужас! Вот уж явили бы мы свой воспрянувший менталитет! Вот уж поизгилялись бы над слабаками-америкашками!..

Не забыть нелепейший гол, пропущенный Филимоновым от полуудара Шевченко¹, — да не сам гол, но взрыв патриотического восторга, обуявшего ближнюю границу. “Показали москалям!..” Что ж? Стали от этого лучше жить? Преисполнившись национальным достоинством, прекратили тырить российский газ?.. Потому, когда слышу: нам нужны победы на футбольных полях, дабы поднять дух народа, это, соображаю, не менее дико, чем надежда “снова стать великой державой”. (Что на устах даже у совсем неглупых людей.)

Снова! А мы — были? То есть, разумеется, да, если величие понимать как страх, который внушала миру огромная и бедная страна. Но

1 Футбольные сборные России и Украины.

коли зашла речь о спорте, то, во-первых, всей болельщицкою душой желая нашим футбольно-хоккейных триумфов, пуще всего не хочу их ценой воскресения гениальных тиранов вроде Тарасова, бывшего плоть от плоти той эпохи и той страны. А во-вторых...

Когда-то я видел фильм-монолог знаменитого в прошлом венгерского чемпиона по пятиборью Андраша Бальцо. Объясняя, чему вопреки и благодаря в нем возникла воля к победе, он сказал: венгр рождается битым. А мы? Так и будем рождаться с реваншистским: “снова стать”?

Не занесемся перед теми же латышами или украинцами. Мы — все! — получили духовный провинциализм в наследство от общего имперского прошлого, еще не ставшего прошлым. Одни болезненно-жалко самоутверждаются, другие... Однако и у других (у нас), путающих величие с величиной, идет самоутверждение на уровне пошлейшей из всех пошлых телереклам, где возглашает — якобы — Петр Великий: “Кофе пить будем и державу подыдем!”.

Ежели есть о чем тосковать, так о том, сколь задерживается на пути к нам оздоравливающее самосознание. Да, мы проиграли — не только в спорте. Мы — побеждены, что печально и стыдно, но из чего необходимо извлечь пользу, для начала избавившись от комплексов реваншизма. Что, кстати, спервоначалу и произошло с русской труппой помянутого театра (спервоначалу — не их вина, что окончатель-

но выздороветь не дали националисты в лице белосмокингового маэстро): “Надвигающиеся испытания и неуверенность в завтрашнем дне сделали русских артистов вдумчивее. Ни злобы, ни мелкого раздражения. Спокойное приятие жизни и готовность достойно встретить любые сюрпризы”.

А то еще: “Все-таки молодец. Улучшил свое личное достижение”, — записываю за спорткомментатором, который оправдывает нашего пловца, занявшего восьмое непочетное место. “Для спортсмена главное — победить себя самого”.

Забавно, конечно. И опять ассоциируется с всплеском латышской гордости, запечатленным книгой Шапиро: “Янис оставил позади себя спортсменов двадцати трех стран”. (Утаено, что и Яниса обставили больше тридцати человек.) Но применительно к обыденной — и исторической — жизни так и есть: себя надо побеждать, себя. Что самое трудное.

[2000, 4 декабря]

Два гимна

Поэт Валентин Берестов вспоминал о событии лета 1959 года — как его, молодого, среди прочих поэтов пригласили на Старую площадь, в ЦК КПСС, и главный идеолог страны Михаил Андреевич Суслов выступил перед ними с докладом, полным цифр и процентов: “Сталь! Прокат! Посевные площади!”.

После чего перешел к делу: мы ждем от вас, дорогие товарищи, создания нового гимна. Дескать, несколько лет назад уже была такая попытка — рассматривались готовые варианты гимнов, с текстом и музыкой. А сейчас будет конкурс одних только текстов. Пишите, старайтесь, мы выберем лучший и тогда уже устроим конкурс среди композиторов. Кто из вас победит, тот получит Ленинскую премию. Остальные — по две тысячи рублей.

“— Мы написали для вас, — продолжал Суслов, — подробную разработку того, что непре-

менно должно найти отражение в тексте гимна. Теперь мы ее вам даем. Пишите свободно, как вам подсказывает сердце”...

Что вспоминается?

Конечно, знаменитая формула Шолохова, высказанная на Втором писательском съезде:

“О нас, советских писателях, злобствующие враги за рубежом говорят, будто мы пишем по указке партии. Дело обстоит несколько иначе: каждый из нас пишет по указке своего сердца, а сердца наши принадлежат партии и родному народу, которым мы служим своим искусством”.

Браво, Михаил Александрович! Мало кто с такой виртуозностью мог обосновать рабскую сущность соцреализма, так как же было Михаилу Андреевичу почти в точности не повторить этот пассаж?

Но дальше:

“— В прошлый раз все поэты добросовестно отнеслись к разработке. Все наши требования были вами учтены. Но не было этого... ну, как его?.. Екатерина Алексеевна, подскажите, чего не было.

Фурцева поджала губы и склонила голову.

— Петр Николаевич! — обратился Суслов к теоретику Пospelову. — Не было чего? Помогите сформулировать!

Пospelов тоже поджал губы и опустил глаза. Суслов с надеждой на подсказку поглядел в зал. Однако искать формулировку пришлось в одиночку:

— Не было... Как вам сказать... Ну, как ее? Минуточку. Стоп! — и он торжествующе глянул на продолжавших мучительно размышлять соратников. — Поэзии не было, вот чего! Да-да, товарищи поэты! Не было поэзии!”

Начавшись юмористически, дело и кончилось соответственно. Пять лет спустя, в феврале 1964 года, зав идеологией, то есть и подведомственным ей искусством, Леонид Ильичев рапортовал Хрущеву:

“В настоящее время представлены три варианта текста Гимна.

Два из них написаны коллективно поэтами Н. Грибачевым, П. Бровкой, М. Исаковским и С. Смирновым. Один написан на музыку Г. Свиридова, другой на музыку Г. и П. Майбороды. Для припева использован текст А. Твардовского.

Третий написан А. Твардовским на музыку Г. Свиридова.

Идеологический отдел ЦК КПСС считает заслуживающим внимания текст, созданный группой поэтов на музыку Г. и П. Майбороды.

Представляется также целесообразным поручить С. Михалкову представить новый поэтический текст на музыку действующего Гимна”.

Как известно, последнее и было принято к исполнению.

Между тем в промежутке — и долгом — между сусловским “социальным заказом” и новым торжеством Михалкова над текстом главной государственной песни мучился тот, кто в конце концов проиграл Сергею Владимировичу да и

сперва был назначен на роль унижительно малую — быть автором одного лишь припева. К тому же — припева к совместному сочинению истинного поэта Исаковского (чего стоит только: “Враги сожгли родную хату...”), графоманов Смирнова и Грибачева плюс Бровка, писавший по-белорусски.

Впрочем, над созданием гимна Твардовский задумался — не без подсказки сверху — еще в 1957-м.

Из его рабочих тетрадей:

“Сегодня (29 июля. — *Ст. Р.*) в 10 ч. — ЦК. Вдруг стал думать: а почему бы мне не написать гимн. И написал бы, конечно, если б не конкурс, а заказ, если б не атмосфера вокруг — где речь не о том, чтобы написать действительно хорошо, а чтобы угадать, уловить вкус и потрафить ему. Как Михалков говорил когда-то в ответ на мое замечание насчет его текста: ничего, когда будешь вставать при исполнении — хорош будет (текст)”.

На следующий год, 21 апреля:

“Новости этого периода, пришедшие как нарочно, чтобы поддержать слабеющий дух мой:

...Посещение Поликарпова в ЦК, приглашение к Фурцевой по двум вопросам:

- 1) Гимн (“партийное поручение”).
- 2) Журнал “Новый мир”...”

Речь — пока — не о начальственном гневе, который чем дальше, тем больше будет рушиться на голову Твардовского как редактора “Нового мира”. Напротив — о доверии партии,

о лестном предложении сменить на редакторском посту Константина Симонова. Не менее лестно и “партийное поручение”.

Поручение — непростое, так что вначале и сам Твардовский не исключает бригадного метода:

“Гимн — поистине трудная штука. Заношу свои попытки слепить все из тех же 16 слов что-нибудь человекообразное. Исаковский при этом очень умно и правильно критикует и редактирует, а Сурков “на подхвате”, но это я предложил его в состав “ударной группы”, имея в виду, что только таким образом мы втроем что-нибудь сделаем, будучи и авторами, и редакторами этого дела”.

И вот год 1959-й, 1 сентября. Как видно, не только не сложилась работа втроем, но даже возникло сомнение насчет самой по себе затеи:

“Возможно, что как-то отзовется еще мое заявление М. А. (Суслову. — *Ст. Р.*)... относительно бесперспективности изготовления нового гимна и необходимости восстановления “Интернационала” в качестве государственного гимна. М. А. согласился, что, не будь михалковского гимна, не будь этого прецедента, не встал бы и вопрос о замене “Интернационала”. Сейчас все дело в трудности восстановления (из-за стран социализма, поющих другие гимны). Это тоже дело поправимое, думается. Пусть все поют “Интернационал”. Но нам-то, нам-то зачем отказываться от святыни, закрепленной десятилетиями, от “Отче наш” револю-

ции. Буду очень серьезно обрадован, если бы дело повернулось разумно, а не по ближайшим преходящим соображениям”.

Тем не менее побеждает то, что Твардовскому кажется неразумным.

8 сентября 1960 года:

“...М. А. Суслов просил позвонить ему по поводу гимна. Ему понравилась последняя строфа, но он просил подумать над остальным текстом в целом. Я что-то пел ему о необходимости сохранить “печаль” и попросил предложить текст в таком виде Шостаковичу или Свиридову. Там видно будет”.

Далее — работа над вариантами, пока 16 сентября в тетрадь не записывается более или менее готовый текст:

*Отчизна-мать, страна родная,
От стен московского Кремля
Далеко вдаль и вширь без края
Твоя раскинулась земля.*

*Недаром политая кровью
На подвиг призванных сынов,
Она сильна могучей новью
Своих полей и городов.*

*Мы сталь куем и землю пашем
Для светлой жизни всех людей,
Верны сыновним сердцем нашим
Великой Родине своей.*

*И наша песнь побед народных,
Что не забудутся в веках,*

*Звучит на всех ее свободных
Больших и малых языках.*

*Неодолима наша сила,
В суровый срок борьбы она
И новый путь Земле открыла,
И в звездный путь устремлена.*

*Взвивайся, ленинское знамя,
Всегда зовущее вперед,
Под ним идет полмира с нами,
Настанет день — весь мир пойдет.*

Взыскательный мастер и дальше делал себе самому замечания, вносил поправки. Возможно, мог бы и продолжить это занятие: “земля” со строчной буквы в первой строфе и “Земля” в строфе пятой — как при пении распознать разность значений слова, очевидную на бумаге?.. Но — дело сделано, и возникают мысли уже вполне житейского свойства:

“День за днем, от строфы к строфе, от строчки к строчке, подвигаюсь в гимне к ясной и отчетливой форме выражения простейшей и главнейшей мысли. Уже настолько мысленно свыкся со своим возможным авторством этого произведения, что, забывшись, порой измышляю, какую бы мне дать за это награду, так как выдвижение на Ленинскую премию, как это объявлено в постановлении ЦК, в отношении моей кандидатуры было бы не совсем ловким, поскольку это исключало бы возможность присуждения мне премии за “Дали”...”

Речь о поэме “За далью — даль”.

И — что тут скажешь? Суетность, явленную в расчетах, за что “ловчей” получить Ленинскую премию, Александр Трифонович сам же немедля и осудил, признав это “глупым и стыдным”. А так... За что упрекать? За искренний советский патриотизм? За то, что честью почел приглашение принять участие в создании гимна?

По правде сказать, две вещи все же коробят.

Первая. “Пусть все поют “Интернационал” — это о “странах социализма, поющих другие гимны”. То есть пусть перестанут петь по-своему — вот оно, даже в лучших въевшееся имперское сознание.

И вторая: “...Написал бы, конечно, если б не конкурс, а заказ...”. Если б сразу — “партийное поручение” ему одному. Вот это, пожалуй, задело: странная гордыня поэта, который готов предпочесть соревнованию с собратьями единоличный суд единогласного заказчика, ЦК или Политбюро. Впрочем, со всей охотой встречу и возражение: смысл высказывания — в безразличии к “атмосфере”.

Но главное — вот что. Проявление той самой двойственности, что не способна унижить или принизить поэта, но обнажает его внутреннюю драму.

Которую сам он может и не сознавать. Во всяком случае — сознавать не всегда.

Читая наброски, а затем и окончательный текст несостоявшегося гимна, я неизменно за-

держивался на неизменных же заключительных строчках — о “ленинском знамени”:

*...Под ним идет полмира с нами,
Настанет день — весь мир пойдет.*

Что — задерживало?

Уж конечно, не сама по себе преданность Ленину и его знамени. Даже не вполне понятная несопоставимость качества этого текста с настоящим Твардовским. Нет. Смутила аналогия, которую приятной не назовешь, но от которой не след отмахиваться. “Сегодня нам принадлежит Германия, завтра — весь мир”: стишок, ставший нацистским гимном или — не помню — просто любимой песней гитлеровской молодежи.

Снова и снова: унижаю ли этим воспоминанием Твардовского?.. Да что — я? Не обо мне речь. Сама аналогия, что поделаешь, неумолимая, — способна ли она унижить?

Не думаю. Потому что сходятся не большой русский поэт и на мгновение прославившийся, но еще при жизни забытый немецкий стихокропатель. Един тотальный, тоталитарный дух, который — к счастью, только на сей раз — ликвидировал эту огромную разницу. Во всех остальных случаях бросающуюся в глаза — притом не только в этом скандальном сопоставлении.

“Я сам дознаюсь, доищусь / До всех моих просчетов”, — самолюбиво начнет Твардовский одно из своих поздних стихотворений,

закончив его уже просто яростным остережением:

*Мне проку нет — я сам большой —
В смешной самозащите.
Не стойте только над душой,
Над ухом не дышите.*

Так мог настоящий Твардовский отвергнуть любую опеку над собой. И в данном случае он противостоял не то что какому-то там чужому писаке, а, скажем, даже Борису Слуцкому, честному коммунисту (не менее коммунисту и не менее честному, чем сам Твардовский), который воззвал к своему читателю:

*...Дай мне твое дыханье
Почувствовать за спиною.*

Конечно, есть разница между теми, к кому обращены гневный окрик Твардовского и тоскливая просьба Слуцкого. Он, “широко известный в узких кругах” (говорят, что впервые этот популярный каламбур был применен именно к нему), мечтает, так сказать, о народном контроле. Твардовский же протестует против контроля совсем иных инстанций, но как бы то ни было, как горделиво его объявление о собственной независимости!

А составляя текст гимна (составляя — иначе не скажешь, да он и сам сказал о “16 словах”, с которыми приходится оперировать), исполняя заказ, соглашаясь на партийный присмотр, который весьма склонен к тому, чтоб нивелиро-

вать разницу между талантом и неумехой, между честностью и приспособленчеством, — принимая эти условия, Твардовский пишет не “от себя”. Даже если имеет на этот счет иллюзии, выразившиеся в том, что он напечатал свой неудачливый гимн в “Известиях” и даже в родном “Новом мире”. Приравнял его к просто стихам.

Сочиняя гимн, он пишет от всех и за всех, потому — как все. Хотя бы и как Сергей Михалков, ибо, вопреки уверенности Александра Трифоновича, текст его гимна не слишком-то превосходит михалковско-эльрегистановский.

...Пример с этим гимном, конечно, китчевый, грубый — но лишь в той степени, в какой сам его обезличенный текст близок к обычному соцреалистическому китчу и в какой действительность, принуждающая подлинного поэта писать это и так, груба. Но, возможно, именно это насилие над собой, не осознаваемое как насилие, прямее говорит о драме... Нет, даже о трагедии поэта Твардовского, потому что нет ничего трагичнее, чем уничтожать в себе — себя. Вплоть до стирания узнаваемых признаков собственной индивидуальности.

...Разумеется, когда создавался тот, михалковский гимн, никакой трагедией и не пахло. Там все было другим — условия, заказчики, исполнители.

Сперва о заказчиках.

Клим Ворошилов вызывает к себе двух соавторов и предъявляет им замечания Хозяина, сделанные на полях сочиненного ими текста:

сталинской десницей “против слов “союз благородный” написано: “Ваше благородие?”, против слов “волей народной” написано: “Народная воля!”

— Вот вы пишете “союз благородный”, — продолжал Ворошилов. — Не годится это слово для народного советского Гимна. Кроме того, в деревне это слово может ассоциироваться с известным старым понятием “ваше благородие”. И потом, Советский Союз создан не организацией “Народная воля...”.

Признаюсь, когда этот рассказ был напечатан несколько лет назад в журнале “Москва”, я, отличнейше понимая, что у автора благоговейного очерка о Михалкове не может быть иронического подтекста, все-таки воспринимал это как... Ну, скажем, как наброски комедии — на манер гоголевского “Владимира третьей степени”. Причем говорю о комедии не насмешливо-фигурально, а как о жанре театрального искусства, где так называемая “первая реальность”, то есть сама по себе жизнь, получает все признаки “второй”, театрализованной.

В самом деле...

Хозяин страны и заказчик гимна еще за сценой, его лик покуда не явлен соавторам-зрителям, но как уже проявился характер — и всего-то в двух малых штришках! Действительно: зря, что ль, порезали-постреляли всех “благородий”, в погонах и без, и, в сущности, разве не для того, чтоб само благородство отходило в разряд “старых понятий”? Тем более — к месту ли

пусть случайное, беглое напоминание о каких-то народовольцах, если это именно он, Сталин, избран судьбою, чтобы...

Минуточку. Как? Избран? Вот и у соавторов сказано: Сталин — “избранник народа”. Чушь! Какой народ! Какое избрание! Что они, эти соавторы, за дурака его принимают? Разве он сам не знает цены той потешной церемонии, которую сам придумал и назвал, издеваясь, всенародными выборами?

И вот (продолжаю цитировать):

“Авторы успели заметить, что в строке второго куплета “Нас вырастил Сталин — избранник народа” рукою Сталина вычеркнуты слова “избранник народа”...”

А дальше — еще комедийнее:

“Михалков и Регистан здороваются. Сталин не отвечает, протягивает отпечатанный на машинке текст:

— Ознакомьтесь. Надо еще поработать. Главное — сохранить эти мысли. Возможно это?

Написанный накануне третий куплет изменен: строки произвольно соединены, стихотворный размер нарушен:

*Мы армию нашу в боях закалили,
Врагов-захватчиков с дороги сметем!
Мы в битвах решаем судьбу поколений,
Мы родину нашу к славе поведем!*

— Возможно, — отвечает Михалков. — Можно подумать до завтра?

— Нет. Нам это нужно сегодня”.

Что за спешка? А с другой стороны — чего церемониться с двумя литераторами, если он, Сталин, лучше их знает, что надо писать? И даже — как!

“Михалков и Регистан не нашли эпитета, который мог бы заклеить в их четверостишии врагов-захватчиков.

Сталин молча ходит по кабинету и вдруг произносит:

— Подлый народ эти захватчики, подлый!

— Может быть, это и есть то слово? — говорит Михалков. — “Захватчиков подлых с дороги сметем!”...

Что ж, давайте поверим (или не поверим), что эпитет “подлый” либо нечто вроде него оказалось ну никак не по силам стихотворцу-профессионалу. Зато с какой очаровательной грациозностью вождю предоставлена возможность явить свое превосходство и в этой области.

Согласимся: вряд ли удастся смешней сочинить пародию на “творческий процесс”. Да, комедия. Балаган, что было присуще эпохе Лучшего Режиссера Всех Времен и Народов. Водевиль, по законам которого нужен соответственно водевильный простак, почти клоун, все делающий невпопад, попадающий в нелепые положения. И если не получающий колотушек, то зато уж нескрываемое сталинское презрение будет похлеще всех подзатыльников.

Вольно или невольно эта роль предназначена Эль-Регистану, что удостоверяет сам его со-

автор в книге “Я был советским писателем”. И даже, чутьем драматурга уловив комедийный жанр, о котором я говорю, записывает диалог на манер настоящей пьесы:

“РЕГИСТАН (*пытается положить на тарелку Сталина кусок ветчины*): Разрешите за вами поухаживать, товарищ Сталин?

Сталин (*отодвигает свою тарелку*): Это я за вами должен ухаживать, а не вы за мной. Здесь я хозяин... Кстати, кто вы по национальности?

РЕГИСТАН: Я армянин.

Сталин (*с иронией*): А почему вы Эль-Регистан? Вы кому подчиняетесь: Муфтию или Католикосу?

РЕГИСТАН: Католикосу, товарищ Сталин!

Сталин: А я думал, Муфтию...”

Хотя достается и Сергею Владимировичу:

“Сталин (*мне*): А вы, Михалков, не заглядывайте! Тут мы без вас обойдемся.

Я: Извините, товарищ Сталин! Я случайно...

Сталин: И не заикайтесь! Я сказал Молотову, чтобы он перестал заикаться, он и перестал. Молотов (*улыбается*)”.

И еще:

“Сталин: Мы нахалов не любим, но и робких тоже не любим. Вы член партии?

Я: Я беспартийный.

Сталин (*помолчав*): Это ничего. Я тоже был беспартийный...”

Чем любопытны — помимо комизма — эти незагаданные интермедии? (Вернее, не такие

уж незагаданные — чувствуются и рука режиссера, и готовная податливость статистов.)

Вождь может быть неласков и раздражен. Вождь издевается: “Это я за вами должен ухаживать” — и отодвинутая тарелка. (Что означает: да отвяжись ты!) Либо: “Сталин (*перебивает Регистана*): Разрешите мне реплику?”. Перебивает, дабы спросить разрешения: каково?

А уж вопрос насчет подчинения муфтию или католикосу... Может, усатая кошка, сыто играющая с суетливым мышонком, ждала в ответ: “Не муфтию и не католикосу, а вам, товарищ Сталин!”?.. Во всяком случае организатор дружбы народов недурно поддел армянина, назвавшегося именем мусульманской святыни.

Но все это видимость. На деле тут идеальная гармония отношений, когда все на своих местах, все понимают и принимают правила игры. И даже то, что кажется их нарушением, актерской отсебятиной, означает тонкое понимание исполнителями режиссерского плана.

Вот Михалков с Эль-Регистаном, выпив в компании с Политбюро, ведут себя (признание Михалкова) “свободно, если не сказать развязно... Мы настолько забылись, где и с кем находимся, что это явно потешало Сталина и неодобрительно воспринималось всеми присутствующими...”

О, недогадливое окружение вождя! Разве это для челяди обаятельно раскрепостились соавторы, совсем не настолько забывшиеся, чтобы не примечать: кто доволен и кто недоволен? И

рассудившие, несмотря на подпитие, трезво, что недовольством соратников можно и пренебречь ради финального результата:

“...Сталин хохотал буквально до слез”.

Да, другие условия. Другие люди. Это Твардовский с его подавляемым, но несомненным чувством достоинства воспринял как “вздорное соображение” замечание своих верховных редакторов. Дескать, в его тексте сказано: “Поднимим идет полмира с нами”. Нет, “полмира” — мало, ведь через пять-десять лет будет больше!

Это Твардовский, по его самоироническому выражению, “пел” Сулову о необходимости сохранить “печаль”. (Не сохранили. В одном из вариантов текста было: “В дни торжества и в дни печали / Мы нераздельны с ней всегда”, но и это показалось начальству недопустимым с точки зрения казенного оптимизма.)

Наконец, это Твардовский надеялся, что за словами его гимна слышится не только “Интернационал”, святой для него, как для верующего “Отче наш”, но и сочинение, святое не в меньшей степени, хотя по-другому: “Ермак”.

В этих иллюзиях он был куда менее прав, чем здравомыслящий Михалков, по его словам, никогда не включавший государственный гимн в сборники своих стихотворений — как то, что лично ему в самом деле не принадлежит. Не только из-за соавторства с ничтожным ли Эль-Регистаном или могущественным Сталиным, просто в этот текст не вложено ни частички души, лишь поворотливость конформис-

та-хамелеона, отчего в шестидесятые годы можно было без усилий (не говоря уж о внутренних муках) изъять немодного Сталина, в 2000-м — вставить орла о двух головах и самого Господа Бога...

Помимо всего наипрочего — какие контрастные варианты одного и того же явления-типа: советский писатель.

Что до Твардовского, он был неважным, плохим солдатом партии — это при его-то самомучительной искренности. (Солженицын вспоминает, как он поправил своего зама по “Новому миру” Дементьева. “...Имея партийный билет в кармане”, — начал тот излагать свои колебания насчет публикации “В круге первом”. “...И не только в кармане!” — вскинулся Твардовский; это в своей-то тесной среде, не для партийной бдительной публики — актерство исключено.)

Михалков — отличник боевой и политической подготовки. И какими ж надо быть идиотами (быть идиотом — адресуюсь к себе самому), чтобы решить: время их, таких, миновало. Больше их не востребуют...

Востребовали.

[2000, 25 декабря]

Железо и вата

И в нашей жизни случаются маленькие радости: вот прочел, будто “Сибирский цирюльник” коммерчески прогорает за рубежом.

Так ли? А ежели так, хорошо ли злорадствовать? Неужто я такой антипатриот, ликующий, что ухнули денежки из казны, щедро потраченные на михалковский суперкитч? Полагаю, однако, что моя робкая радость, напротив, патриотична донельзя. Как учила нас советская власть, есть вещи дороже денег. Например, идеология.

Я уже как-то писал, отчего для меня оскорбителен кинообраз России, словно бы сервированной для заморского потребителя (“все на продажу!”), — с той же лакейской предупредительностью, с какой алкаш-генерал демонстрирует родину американской кокотке. Тут и псевдокустодиивская Масленица, и кулачный бой,

и цыгане с медведями, и море икры, и цирковая сноровка самого генерала жрать водку, закусывая стаканами... Как невинная Наташа Ростова видела в опере вместо искусно писанных декораций крашенные картоны, вместо великой Нимфодоры Семеновой — толстую девицу, так здесь все ориентировано на уровень заезжей авантюристки, воспринимающей Россию как экзотический аттракцион. “Остранение” на сей раз задумано ради успеха у *них* — как раньше Михалков распатронил русского классика, дабы приспособить его к стареющему Мастроянни.

И вот в это вялое, будто пребывающее в похмельной прострации тело михалковской России вкатывается искусственно взбадривающий допинг, лошадиная доза имперской спеси! Небезобидной, в сущности угрожающей, ибо идеалом государственности избран Александр III, над которым, как помним, “совиные крыла” Победоносцева и за которым — всеислиие охранки, государственный антисемитизм, утеснение католиков и староверов... Да многое из того, что предрекло характер правления его слабого сына и дало возможность России упасть перезрелым яблоком к ногам Ульянова-Ленина.

Так худо ли, если на этот раз заграница обошла своим интересом такой образ России?

Не приняв в свое время михалковской экранизации “Обломова”, я среди вполне уважительных оговорок сделал такую: дескать, пат-

риотически радуюсь ее успеху за рубежом. Каюсь: зря радовался. Мало хорошего было в том, что иностранцы снисходительно любовались докапиталистической идиллией, где “сонное царство” Обломовки (которое сам Гончаров назвал “истинным подобием смерти”!) есть тридевятое царство с зачарованными героями, такими прелестными в своей принципиальной никчемности. И хотя смешно подозревать прямую причинную связь, все же: не подобное ли представление о “загадочной русской душе” породило отношение Запада к нам, как к неразумным детям? Каковых надо спасать, посылая нам какого-нибудь Джеффри Сакса с нагрузкой в виде товарного неликвида.

“Русская вялость, косность, лень... привычка ожидать всего от других, а ничего от себя”, — определит обломовщину (гончаровское, вспомним, словцо-приговор) словарь Даля, а Владимир Набоков подытожит: “Россию погубили два Ильича”. То бишь, понятно, помимо Владимира Ильича еще и Илья Ильич Обломов. Ибо обломовщина, по сравнению с чем хлестаковщина — безобидная беспардонность, а маниловщина — невиннейшая мечтательность, есть паралич воли. Тяга к общественному анабиозу. То, отчего все попытки перестроить Россию — от Екатерины II до Горбачева — оказывались короткими рывками и оборачивались (как вышло с Екатериной еще при жизни перестройщицы) выдыханием энергии в пустоту. В застой.

“Век шествует путем своим железным”, — написал Баратынский. “Век девятнадцатый, железный, / Воистину жестокий век!” — откликнулся Блок. И далее: “Двадцатый век... Еще бездомней, / Еще страшнее жизни мгла...” Значит ли это, что двойное “еще” утверждает: наше столетие оказалось и более “железным”, чем девятнадцатое?

Как сказать... Для Баратынского железо — сталь плуга и прочих орудий цивилизации, внедряющей прагматизм. У Блока оно запахло смертоносностью. Но оба имели в виду первым делом нравственные превращения времени и людей, а в этом смысле — какое уж там в нашем веке железо? Вата... Кисель... Или — что еще наглядно символизирует безвольную податливость и отсутствие сопротивляемости?

Самое характерное, что отличает российский двадцатый век (о том, что вне нас, не берусь говорить), — тоталитарность сознания, то есть его индивидуальная беспомощность. “Жестокий век”? Еще бы, но ведь особенно, изощренно жестокой и презрительной по отношению к “массе” обычно бывает слабость, болезненно нуждающаяся в компенсации за счет других. И кто знает (хотя велика ли хитрость?), какую роль в несчастьях России сыграла закомплексованность незадачливого стихотворца из города Гори, недоучки-семинариста? Или несомненные же комплексы рыжего симбирского гимназиста, ушибленного казнью террориста-брата?.. Продолжать перечень?

Так странно ли, что мы в государственном строительстве, в каждодневном быту и даже (или тем паче) в искусстве являем наследственные черты как тоталитарной власти, коей холопски завидуем, так и толпы, объятай тоталитарной психологией? Безволие плюс жестокость или в лучшем случае агрессивное самоутверждение — вот формула, общая для многих и многих, включая тех, кто считает себя антиподами.

Потому, вероятно, удивлю режиссера-державника: фильм про вечных обломовцев, крикливо отвоевывающих свое экзотическое право быть таковыми, в сущности, весьма схожей породы, допустим, с доморощенным “авангардом”. Уже с его безволием (пусть в узкопрофессиональном масштабе — как эстетическое иждивенчество под видом пародии). С его жестокостью (слава Богу, бескровной, не страшнее, чем памятное пояснение одного “авангардиста”, зачем, к примеру, Сорокину в “Голубом сале” непременно понадобилось обгадить Ахматову и Пастернака: “Выхода нет. Очень тесен мир. Только за счет других”). И всюду недостает — да вот именно воли, которой мы исторически обделены и которую пугливо ассоциируем только с “железом”, с “железной рукой”. Воли как “творческой деятельности разума”, по определению блистательного славянофила Хомякова.

Как сказано!

[2001, 23 апреля]

Ничейное время

Недавно запнулся, услышав вопрос: как отношусь к памятнику, который, глядишь, поставят Булату Окуджаве? И вправду — как? Вроде бы радуюсь. Но не уверен, что найду в себе силы пойти взглянуть, как он стоит на чужом для него, не его Арбате (“Арбата больше нет: растаял, словно свеченька...”), посреди не его времени...

“Сейчас не мое время”, — жестко говорит с телеэкрана мой сверстник Юрский. Хладнокровно констатирую: и не мое... Но вдруг спрашиваю себя: а мое — было когда-нибудь вообще?

Так естественно воскликнуть: а годы молодости? Где моя благодарность им, заодно и Москве, допустим на выборку, конца 50-х? Этому, странно вспомнить, чистому, теплomu городу, исполненному доступных соблазнов вроде (простите приземленную прозу) дешевых

шашлычных? Как в послестуденческий год, когда в кармане, повторяя за Пушкиным, — “признак благопристойной независимости”, попросту первые заработанные деньги, шатаемся по Москве с новым другом, тем же никому пока не известным Окуджавой, отдавая дань помянутым общепитовским точкам.

Да. Молодые годы были — мои, наши; Москва казалась — нашей, моей. А время... Нет. Вспоминаю уже начало жизни литературно-профессиональной, тогдашнюю “Литгазету”, островок относительного свободомыслия, вокруг которой теснилось до изумления много славных ныне имен. Что ж, верили, будто “оттепель” — не скоротечный миг, а именно время, способное длиться? Наоборот, удивлялись, что это все еще продолжается, и излюбленным тостом в наших застольях был принесенный Наумом Коржавиным, он же Эмка: “За успех нашего безнадежного дела!”. (Много позже, когда писал книгу о декабристе, пришла в голову аналогия, вероятно, слишком эффектная: так они свершали свой переход цветущим Забайкальем — от острога в Чите до острога в Петровском Заводе. От клетки до клетки.)

А сегодня... Ну, хорошо. Нашего времени мы с Юрским никогда уже не дождемся. Но тогда чье оно нынче?

“Еду на “Таврии” по пустынному мокрому шоссе. — Рассказ сценаристки Натальи Рязанцевой. — Из деревни, с подругой, с котом, с котомками. Сзади гудит, прижимает к обочине

серебристый, как самолет, лимузин. Прижимаюсь, выглядываю — может, колесо спустило? Пятеро мальчиков с Кавказа — все в коже, двое выходят. Душа в пятки. Подруга-то видная, и грабят, слышали, на дорогах. Улыбаюсь жалко, приветливо. “Ты что, ох..ла, старая карга?” О, счастье. Всего-то матом покрыли, дорогу я им загродила. От “старой карги” расцветали в душе незабудки”.

Господи! Того ли еще мы понавидались, так с чего же от этого хеппи-энда (даже подругу не изнасиловали!) руки мои трясутся в ненависти и бессилии? Может, от хозяйской уверенности в праве, с каким создательница киноклассики, “Крыльев” и “Долгих проводов”, походя унижена мальчиками, уж там с Кавказа ли, не с Кавказа? (Хотя что с Кавказа — по-своему страшно: как там, бывало, гордились почтением к старшим!) Вот, однако, в чем загогулина.

Хозяева — своей судьбы и своего времени. Эти? Да уж минут через пять после встречи со сценаристкой их остановит милицейский пост, положит мордой в грязь, обзовет “черножопыми”, оберет до нитки. Свои, такие же, отстрелят, а от тюрьмы тем паче не заречешься. Но дело еще не в этом.

Беда — общая! — в том, что нынешнее время — ничейное. Ничье. Такая боевая ничья, когда в турнирном проигрыше все.

Незачем говорить о каких-нибудь там депутатах, чья роль жалко зависима. Или о прави-

тельстве, при случае меняемом, как изношенная перчатка. В конце концов, и о президенте: перед глазами Ельцин, сразу рухнувший в никуда. Но вот те, для кого “мальчишки в коже” — пыль в подножии пирамиды, венцом которой являются они сами: пресловутые “олигархи”. Уж они-то — подлинные хозяева времени и судьбы? Куда там!

Опять же я не о том, что, как это ни существенно, криминалитет может их замочить, а президент — подвергнуть “разноудалению”. Сама по себе повадка больно уж не хозяйская: деньги в офшоре или на тайных счетах, дети в Принстоне или Оксфорде, и мало уверенности, что вернутся в богоспасаемую отчизну, — словом, возникло общество, где и у хозяев самоощущение нашкодившего мошенника. Как в анекдоте: “Что б ты, цыган, сделал, если бы царем стал? — Я бы кусок сала украл да и утек”.

А как иначе? Когда еще я писал, обращаясь к “культовым” демократам “первой волны”, и то был мой личный вклад в наивность времени перестройки: не спешите богатеть и прятать детей в теплую заграничную пазуху! Нельзя — покуда народ живет так скверно. Нельзя — потому что этим доказываете: ни на грош не верите собственным же словам о скором и благом переустройстве общества... Смешно было думать, что послушаются; я и тогда в это верил мало. Демократия по-российски началась и продолжилась как дележка — не только богат-

ства, но самого общества. На достойных и недостойных. Допущенных и недопущенных.

Сегодня, конечно, спохватываемся: старо-новый гимн как средство срочно обеспечить сплоченность... Патриотическое воспитание как плановая и финансируемая кампания... Но пока время не станет в принципе “всехним”, ничего у нас — и, что любопытно, у них — не получится. Даже тот, кто упоен своим положением (“мальчики в коже” — по глупости, то есть более искренне, “олигархи”, поскольку умнее, — сознавая нетвердость собственного могущества), рано или поздно поймет, испытав на своей шкуре, что время — не его.

Уже понимают. Да вы вспомните ерзающие физиономии тех же Йордана или Коха¹: что, уютно им, как будто имеющим полное право считать себя хозяевами положения и торжествовать победу?..

[2001, 14 мая]

1 Персонажи, которых стоило бы забыть.

От Анны до Аллы

Стонем не переставая: “У нас нет общественного мнения!..”. Но так ли?
...Эпизод из мемуаров Семена Липкина. Ему, молодому, повезло провести день напролет с Цветаевой, воротившейся в Москву; даже угостить обедом в “Национале”. Где ею заинтересовались два липкинских знакомого: Киевлянин и Москвич.

Первый восторженно тараторит, что раздражает второго, “признанного Демосфена ресторанов”, на этот раз непривычно скованного: “Жмеринские трюизмы тошно выслушивать”. И вот тут Киевлянин произносит слово — “страшное”, замечает мемуарист: “Всем известно, что вы стукач”.

Москвич молча встает и уходит. Цветаева говорит Липкину: “Уйдем отсюда. Немедленно”, а по выходе спрашивает: справедливо ли брошенное обвинение? Добавив: “Как

мы в эмиграции им восторгались, его метафорами”.

Трудно не догадаться: “Демосфен рестораторов” — это Юрий Олеша. Так неужели?..

Нет-нет. На этот счет — успокоимся. Сам молодой Липкин тут же и опроверг перед Цветаевой мерзкий слух, объяснив, отчего Олеша не дал отпора: “У кого есть возможность оправдаться, если ему бросят в лицо такое слово?”.

И страшно — именно это. Тотальная подозрительность, установившаяся в целом обществе, притом в так называемом “порядочном”, и неизбежная при былом (вдруг и грядущем?) всевластии органов безопасности. Это — длилось; длилась не столько даже сама подозрительность, шедшая-таки на убыль, сколько привычка клеймить позорным клеймом любого неугодившего.

Смешно, хотя и противно, вспомнить, как Владимир Максимов, заслуженный основатель журнала “Континент” и человек отвратительного характера, как-то объявил сексотом Булата Окуджаву, своего бывшего близкого друга, таким манером обосновав их “идейные расхождения”.

Слава богу, к Окуджаве с его репутацией это прилипнуть не могло, и он даже явил великодушие, сказав мне время спустя: “Знаешь, я решил Володю простить. Мне его жалко” (этого толстовства, признаюсь, я отнюдь не одобрил), — но какова инерция сталинщины навыворот!..

Итак: “У нас нет общественного мнения”? Да есть, есть! Только какое-то оно отрицательное. Антимнение, готовое подхватить всякую сплетню, оболгать, нахамить, и можно сколько угодно хихикать, допустим, насчет обидчивости Ростроповича: плохо, мол, держит удар (действительно, много хуже, чем свой смычок)¹. Но в основе-то хамства — было желание утвердиться за счет знаменитого человека. И хотя жаль, что тот же маэстро не хочет концертировать там, где его унижают, гораздо хуже, что, “опуская” кумиров, критерии, приоритеты, мы неудержимо опускаемся сами.

Еще повод для вздохов и ахов: среди школьников престижна профессия интердевочки, среди школьников — киллера. Откуда такое? Да от нас же, опускающих, опускающихся. Как ни косвенна связь.

Читаю в “Нашем современнике” напутствие президенту Путину от литератора Тимура Зульфикарова. Там много чего: надежда, что кончилось время тех, от кого “пахнет чесноком”; призыв брать пример с Хомейни, у кого весь эфир принадлежал исключительно государству, и немедленно призвать на ТВ Проханова и Личутина, заодно распространивши на всю Россию боевую программу “Русский дом”; наконец, о Лукашенко в вымечтанной роли председателя совета министров совмещенного го-

1 Да, было, было, когда Мстислав Леопольдович вдруг — по принципу “последней капли” — не стерпел очередного оскорбления от журналиста Д.Б. и объявил, разумеется, не по чину обидчика, что в России более не выступает.

сударства... И т.п. В общем, до банальности предсказуемо, как любая публикация означенного журнала, скучно, как вяло-вычурная зульфикаровская проза, — но вот: “Несомненно, Александр Григорьевич Лукашенко стал бы Вашим, Господин Президент, Столыпиным...”.

И это уже нечто.

Лукашенко — Столыпин. Зюганов — Марк Аврелий (вовсе не мой пародийный сарказм; это высказывание того же Проханова). А что? Скучно жить на этом свете, господа, не возводя своих пустяков в перл создания, и вот журналист Быков считает достойным общественного внимания известить: он сверг своего кумира, разлюбил отныне Валерию Новодворскую, ибо (наконец догадался!) революционер не должен быть персонажем светской хроники. А поэт Кибиров делится священным ужасом: страшно делать то, чего хочется, то есть писать “традиционные тексты... после Пригова”. Страшно помнить ежеминутно, что он за тобой наблюдает, но что поделаешь — “продолжай творить свое с дерзостью и отчаянием”. Иди на костер!

Что вспоминается — кощунственно, но неизбежно? Знаменитая фраза Адорно: после Освенцима нельзя писать стихи. После Освенцима! Вот рубеж, внушающий нестерпимое чувство ответственности. А тут... Масштаб тусовки. Равнение на толпу.

Ахматова писала: о дворцах, где сплетничали про Пушкина, теперь говорят: здесь он бывал, здесь не бывал. “Все остальное неинтерес-

но”. А в пору “застоя” гуляла шутка: кто такой Брежнев? Мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой. Вот символический сдвиг: от Анны до Аллы. Далее — везде.

Боже меня сохрани сомневаться в легитимности славы той, кого при жизни именуют не иначе, как Алла Борисовна. Но ежели вспомнить, как — всенародно и долго — праздновали ее пятидесятилетие! Так ли, как восемьдесят лет Солженицына?

Нет, все понимаю: и “у них” Мадонна куда больше говорит душе публики, чем какой-нибудь жалкий Фолкнер. Бессмысленно отрицать право массы предпочитать то, что она предпочитает (всего лишь тая робкое утешение, что народ как понятие исторически выверенное, в отличие от толпы и тусовки, в конце концов выбирает Пушкина, Ахматову, Фолкнера). Но, черт побери, мы же, проигрывая “им” чуть не во всем, при этом хотим, надеемся отличаться хотя бы своей “духовностью”!.. Или уже окончательно расхотели?

[2001, 13 августа]

Человек преодолевающий

Когда-то (очень давно!) мой старший друг Семен Израилевич Липкин признался, что устроил для себя такую игру: разместил всех заметных русских поэтов по десяти разрядам — понятно, по мере убывания значения и достоинств. Добавив, что рассказал об этом Слуцкому, и тот, весьма небезразличный к иерархии в литературе (настолько, что вроде бы в шутку, но с немалой долей серьезности раздавал воинские звания: помню, и я у него угодил в старшие лейтенанты), поинтересовался: “А я у вас в каком разряде?”.

“Ну что вы, Боря, — ответил Липкин, заставив побагроветь самолюбивого Слуцкого, — таких, как мы с вами, я просто не принимал во внимание...”

Шутка? Притом лукавая? Наверное. Но, как бывает, в игре нечаянно и, значит, тем истиннее проступила самая суть.

Дело не в фоне, когда один стихотворец пишет другому: ты — умнейший человек России и поэт не ниже Баратынского, а тот публикует это в редактируемом им журнале. Зависеть от холуйства и самозванства унижительно, и, полагаю, ненапускная сдержанность, с которой Липкин оценивает свои (и чужие) стихи, говорит о высокой способности или, по крайности, о стремлении различать вечное и преходящее.

Не то чтоб ему было безразлично, скажем, признание Ахматовой, написавшей на дареной своей книге: она, дескать, всегда слышит стихи Липкина, а однажды плакала. Или — Солженицына. Или — Бродского, сказавшего в интервью, что ему “в некотором роде повезло” составить “тамиздатское” липкинское избранное. И заодно наиточнейше отметившего: Липкин пишет “не на злобу дня, но — на ужас дня”.

Но нечто неуклонно толкает его к самооценочной строгости, продиктованной... Чем? Да многим. Начиная глубокой, с детства, религиозностью (чем Липкин так отличен от неофитов в религии, агрессивных от неопитства), кончая биографическими испытаниями. Где и долгая жизнь непубликуемого поэта (слава Богу, он нашел не только профессию, но и счастье в переложении великих стихов, так что никак бы не мог воскликнуть, подобно Тарковскому: “Ах, восточные переводы, как болит от вас голова!”), и тревоги еврейства, и война, основательно познанная: тонул на Балтике, был в Сталинграде, выходил из окружения с

калмыцкой кавалерией. (О последнем и многом ином — поэма “Техник-интендант”, может быть, вершинное создание Липкина, над которым, кстати, и пролила слезу Анна Андреевна.)

Наконец — хотя возможна ль конечность в перечне этих причин? — огромная культура, включающая, так сказать, эстетический экumenизм (помянутая погруженность в литературу и философию Востока), то, что способно и даже должно умирять амбиции. В том числе весьма обоснованные.

“Ужас дня” — чтобы быть каламбуром, это слишком серьезно.

Семен Израилевич рассказывал (потом это стало фрагментом повести “Декада”, но я передаю, как слышал, с прямым названием всех участников эпизода), что во время декады искусства Таджикистана, молодым и уже известным мастером перевода, побывав в Кремле на правительственном банкете. И, сидя рядышком с живым классиком Садриддином Айни, видел и слышал Сталина, поднявшегося произнести тост: “Как всем известно, Фирдоуси был великим таджикским поэтом...”.

А надо знать, что Айни положил годы и годы, чтобы доказать именно это, в то время как партийные востоковеды спихивали сомнительного гения феодальной эпохи за иранский кордон. И вот: “Бирав, бирав! (то бишь: “Браво, браво!”) — выкрикивает, вскочив и опасно прервав вождя, обезумевший от счастья ста-

рик. — Востоковедения умерла! Да здравствует наша товарищ Сталин!”

Понял ли что-то вождь, но вдруг идет с бокалом к Айни, и Липкин видит вплотную низкий лоб и щербинки на подбородке. “Как ваша фамилия?” — “Айни ми есть! Айни ми есть!” — “Я знаю, что вы Айни. Весь Восток знает, что вы Айни. Но ведь это ваш псевдоним. Как ваша настоящая фамилия?” И произносит, услышав ответ таджика: “Джугашвили. Будем знакомы”.

Злая сила, по-гётевски, по-мефистофельски, то есть как-никак величаво, вдруг сотворившая добро? Но прежде всего — балаган! Водевиль провинциального сорта на главных подмостках страны. Старый писатель, которому главреж назначил клоунскую роль, но и сам “художественный руководитель” — как верховный паяц империи...

Эту историю я вспоминаю часто, и она всякий раз поворачивается особой стороной. Сейчас размышляю о том, какой силой нормальности надобно обладать, чтобы “ужас дня”, того самого, что, по Пастернаку, длится “дольше века”, был воспринят. Осознан. И — преодолен.

В данном случае — пониманием, что эпизод, в котором воплощенное Зло ненароком дохнуло рядом с тобой и ненароком свершило (действительно!) частное благо, — даже такой эпизод выглядит саркастической усмешкой Создателя или истории. С Его и ее высоты, до которой подняться не дано никому, но о существовании которой надо тем не менее знать.

В одном из сильнейших липкинских стихотворений “Зола” само чудо личного воскресения неотрывно от тех, кто не воскрес, кто стал лагерным пеплом. (И не их ли смертью оплачено?) В другом — сам путь к истинному обретению Бога идет “тропою концентрационной... трубой канализационной... по всем печам, по всем мертвецким”, — только тогда Бог открывается, “пылая пламенем газoven в неопалимой купине”. Понимаете ли? Сама купина, евангельский, отнюдь не трагический символ, сопоставлена, даже соединена с пламенем газовых печей. Коли так, то и газовни, что ли, неистощимы?

Зацитирована фраза: после Освенцима нельзя писать стихи. Липкин пишет — как раз такие, какие можно, нужно писать. В этом победа преодоления, явленная во многом в поэтике.

“Надя! Надя! Он не только глух, он глуп!” — отчаянно вскричал Мандельштам, когда его молодой приятель Семен Липкин простодушно спросил, почему у того: “...Не Елена, другая, — как долго она вышивала?”, в то время как у Гомера Пенелопа тклет, тайком распуская сотканное. (И Ахматова после скажет Липкину: у вас был резон. Осип не хотел исправить из упрямства.) Тут занятен сам по себе крохотный этот конфликт.

Нежно любя Мандельштама, чья тень мелькнет в одном из шедевров Липкина, в “Молдавском языке”, написав о нем замечательный очерк (среди прочих своих замечательных ме-

муаров), Липкин предельно... Ну, скажем: отчетлив в своей поэзии, чуждающейся всякого импрессионизма, и за отчетливостью — нескончаемое духовное усилие, синоним преодоления. Не о Липкине, но словно о нем сказал Пастернак: “Художники-отщепенцы... любят договариваться до конца”. Понимай: даже долгое недопущение Липкина к “гутенбергову прессу”, а когда он вместе с Инной Лиснянской выйдет из Союза писателей, восстав против номенклатурной дикости, и новое отлучение — даже это не деформировало душу и стих, но доформировало то и другое.

Учитывая, какой “ужас дня” за этим стоит, и здесь не может быть претензии всего лишь на каламбурную игру словами.

...А что до иерархии и разрядов, то в самом деле любопытно бы было заглянуть за черту. Узнать, например, удержится ли в перворазрядниках Бродский; как расположатся Глазков, Слуцкий, Самойлов, Тарковский, Липкин... Но, к сожалению или к счастью, современникам не дано права — кроме как в виде той же игры — определить степень подобного старшинства. Нам предоставлена лишь ответственная возможность понять, почуять, что истинно.

С остальным — подождем, Семен Израилевич?

[2001, 17 сентября]

*...Писано по случаю девяностолетия (!)
Липкина; тогда же мы с Олегом Хлебниковым
решили перепечатать в газете несколько его
стихотворений, понимая с печалью, что
замечательнейший поэт незаслуженно,
оскорбительно мало известен в своей стране.
Итак...*

На Тянь-Шане

Бьется бабочка в горле кумгана,
Спит на жердочке беркут седой,
И глядит на них Зигмунд Сметана,
Элегантный варшавский портной.

Издалёка занес его случай,
А другие исчезли в золе,
Там, за проволокою колючей,
И теперь он один на земле.

В мастерскую, кружась над саманом,
Залетает листок невзначай.
Над горами — туман. За туманом —
Вы подумайте только! — Китай!

В этот час появляются люди:
Коновод на кобылке Сафо,
И семейство верхом на верблюде,
И в вельветовой куртке райфо.

День в пыли исчезает, как всадник,
Овцы тихо вбегают в закут.
Зябко прячет листья виноградник,
И опресноки в юрте пекут.

Точно так их пекли в Галилее,
Под навесом, вечерней порой...
И стоит с сантиметром на шее
Эlegantный варшавский портной.

Не соринка в глазу, не слезинка —
Это жжет его мертвым огнем,
Это ставшая прахом Треблинка
Жгучий пепел оставила в нем.

Военная песня

Что ты заводишь песню военну...

Державин

Серое небо. Травы сырые.
В яме икона панны Марии.
Враг отступает. Мы победили.
Думать не надо. Плакать нельзя.
Мертвый ягненок. Мертвые хаты.
Между развалин — наши солдаты.
В лагере пусто. Печи остыли.
Думать не надо. Плакать нельзя.

Страшно, ей-Богу, там, за фольварком.
Хлопцы, разлейте старку по чаркам,
Скоро в дорогу. Скоро награда.
А до парада плакать нельзя.
Черные печи да мыловарни.
Здесь потрудились прусские парни.

Где эти парни? Думать не надо.
Мы победили. Плакать нельзя.

В полураскрытом чреве вагона —
Детское тельце. Круг патефона.
Видимо, ветер вертит пластинку.
Слушать нет силы. Плакать нельзя.
В лагере смерти печи остыли.
Крутится песня. Мы победили.
Мама, закутай дочку в простынку.
Пой, балалайка, плакать нельзя.

Молдавский язык

Степь шумит, приближаясь к ночлегу,
Загоняя закат за курган,
И тяжелую тащит телегу
Ломовая латынь молдаван.

Слышишь медных глаголов дрожанье?
Это римские речи звучат.
Сотворили-то их каторжане,
А не гордый и грозный сенат.

Отгремел, отблистал Капитолий,
И не стало победных святынь,
Только ветер днестровских раздолий
Ломовую гоняет латынь.

Точно так же блатная музыка,
Со словесной порвав чистотой,
Сочиняется вольно и дико
В стане варваров за Воркутой.

За последнюю ложку баланды,
За окурок от чьих-то щедрот
Представителям каторжной банды
Политический что-то поет.

Он поет, этот новый Овидий,
Гениальный болтун-чародей,
О бессмысленном апартеиде
В резервацыи воров и блядей.

Что мы знаем, поющие в бездне,
О грядущем своем далеке?
Будут изданы речи и песни
На когда-то блатном языке.

Ах, Господь, я прочел твою книгу,
И недаром теперь мне дано
На рассвете доесть мамалыгу
И допить молодое вино.

Квадрига¹

Среди шутов, среди шутих,
Разбойных, даровитых, пресных,
Нас было четверо иных,
Нас было четверо безвестных.
Один, слагатель дивных строк,
На точной рифме был помешан.
Он как ребенок был жесток,
Он как ребенок был безгрешен.
Он, искалеченный войной,
Вернулся в дом сырой, трухлявый,
Расстался с прелестью-женой,
В другой обрел он разум здравый,
И только вместе с сединой
Его коснулся ангел славы.

Второй, художник и поэт,
В стихах и красках был южанин,

¹ Герои этого стихотворения — Арсений Тарковский, Аркадий Штейнберг и Мария Петровых.

Но понимал он тень и свет,
 Как самородок-палешанин.
 Был долго в лагерях второй.
 Вернулся — весел, шумен, ярок.
 Жизнь для него была игрой
 И рукописью без помарок.
 Был не по правилам красив,
 Чужой сочувствовал удаче
 И умер, славы не вкусив,
 Отдав искусству жизнь без сдачи,
 И только дружеский архив
 Хранит накал его горячий.

А третья нам была сестрой.
 Дочь пошехонского священства,
 Объединяя страсть и строй,
 Она искала совершенства.
 Муж-юноша погиб в тюрьме.
 Дитя свое сама растила.
 За робостью в ее уме
 Упрямая таилась сила.
 Как будто на похоронах,
 Шла по дороге безымянной,
 И в то же время был размах,
 Воспетый Осипом и Анной.
 На кладбище Немецком — прах,
 Душа — в юдоли богоданной.

А мне, четвертому, — ломать
 Девятый суждено десяток,
 Осталось близких вспоминать,
 Благословляя дней остаток.

Квадрига

Мой путь, извилист и тяжел,
То сонно двигался, то грозно.
Я счастлив, что тебя нашел,
Мне горько, что нашел я поздно.
Случается, что снится мне
Двор детских лет, грехопаденье,
Иль окружение на войне,
Иль матери нравоученье,
А ты явилась — так во сне
Является стихотворенье.

1995

Надо ли иметь воспоминания?

В повести Зощенко “Возвращенная молодость” есть эпизод: персонаж, рекомендующийся как “автор”, стоит у обезьянней зоосадовой клетки. И, глядя, как его “кузены” “лапают своих самок, жрут, какают, прыгают и дерутся”, самокритически сравнивает их энергичность с собственными расслабленностью и болезненностью. Самокритицизм возрастает до зависти, когда некий посетитель, “какой-то, по-видимому, перс”, лупит обезьянку палкой по мордочке, а та приходит в ярость, но вмиг успокаивается, едва сострадательная дама протягивает ей в утешение гроздь винограда.

“Ну-те, — подумал автор, — ударьте меня палкой по морде. Навряд ли я так скоро отойду. Пожалуй, виноград я сразу кушать не стану. Да и спать, пожалуй, не лягу. А буду на кровати ворочаться до утра, вспоминая оскорбле-

ние действием. А утром небось встану серый, ужасный, больной и постаревший...”

Вот почему (название главки): “Не надо иметь воспоминаний”. Вплоть до того, что, мол, надо равняться на “здоровый мозг, не испушенный культурой, привычками и предрассудками”.

Рецепт страшноватый. И я даже не о том — искреннем — беспамятстве, порожденном политическими стрессами и нищетой, когда Ленин и Сталин издали кажутся благодетелями народа и человечества. Я уж скорее об извращениях, доступных интеллигентному — или полуинтеллигентному, псевдоинтеллигентному — сознанию, примитивный образчик коего, скажем, таков: “Застрелил его пидор / В снегу возле Черной речки. / А был он вообще-то нигтер, / Охочий до белых женщин. / И многих он их оттрахал. / А лучше бы, на мой взгляд, / Бродил наподобье жирафа / На родном своем озере Чад”.

Шутка? Не знаю. Возможно. Пародия? Но на что? На кого?

Когда-то Давид Самойлов с грустной обреченностью, а может быть, с лукавством неверия в возможность подобного имитировал сознание писателя третьего тысячелетия. Как в его “повести о позднем Предхиросимье” Пушкин поедет в серебристом автомобиле с крепостным шофером Савельичем во дворец, а там его угостит виски с содовой царь Петр, за чьим креслом “будет стоять седой арап Ганнибал —

негатив постаревшего Пушкина”. Так что ж, свершилось (как наступило и само третье тысячелетие)?

Если бы еще так. В стишках про ниггера, убитого пидором (имя автора мало что скажет читателю — и не надо, не стоит того, хватит, что это опубликовано популярной газетой), память не подугасла. Ее вышибают — как вышибают мозги. Что бы там ни замышлялось, здесь симитирован или попросту явлен уровень мысли “нашего брата” Данилы-киллера¹, изложенной языком ведущих MTV. То есть как раз “мозг, не искушенный культурой, привычками и пред-
рассудками”.

Стало быть, “здоровый мозг”, согласно Зощенко?

Не забудем, что имеем дело с писателем, привычно прячущим печальный свой лик за идиотской ухмылкой персонажа, и если рецепт действительно страшноват, то зато не безошибочен ли диагноз? “Не надо иметь воспомина-
ний” — каких именно, Михаил Михайлович?

...Несколько лет назад я читал в Копенгагене лекцию американским студентам, приехавшим в Данию (!), дабы изучать Россию (!!). И, чтобы предупредить их заносчивость, сказал: не думайте, мол, что тоталитаризм, одолевший нас и немцев, уж совсем не про вас. Да если бы на подходе ко Второй мировой не погиб от пули одиночки-убийцы популист отчетливо тоталитарного, фашистского толка — губернатор Луи-

1 Естественно, речь о фильме Балабанова “Брат”.

зианы Хью Лонг, победно прущий на Рузвельта, вполне вероятный будущий президент, — что бы стало с Америкой? Устоял бы ваш избиратель перед соблазнительной шариковщиной — обещанием поделить среди малоимущих олигархические богатства?..

Увы, особого впечатления на студентов мой аргумент, кажется, не произвел. Утешаю свое самолюбие тем, что дело не в слабости доводов “если бы да кабы”. О Лонге они слыхом не слышали, и даже моя подсказка: “Ну тот, что стал прототипом Хозяина, Вилли Старка!” не помогла. Ни один не читал “Всю королевскую рать”.

Американская самоуверенность общеизвестна до легендарности. И достаточно неприятна. В самом деле, свинство — изображать ту же Вторую мировую как жертвенную страду и триумф исключительно собственной армии! Но закрадывается мыслишка, в свою очередь неприятная (для меня): не в этом ли нежелании допустить недемократический вариант исторического пути США — ну хоть отчасти! — и некая гарантия того, что вариант невозможен? Это — как бы жестоко ни скорректировала такую уверенность трагедия 11 сентября; впрочем, в любом случае я сейчас не о них, а о нас с вами.

Не слишком ли нервно мы внимательны? Достаточно ли трагизма нашей истории (не меньшего, но и не большего, чем у многих других), чтобы быть пугливыми до болезненности? Будоража в себе память о худшем, пуще того, самолюбиво считая, что оно равноценно вели-

чию, не провоцируем ли это худшее в своем настоящем и будущем?

Воспоминание о зощенковском обезьяннике, сознаю, содержит в себе мало лестного — как для тех американцев, что “не имеют воспоминаний” либо имеют сплошь утешительные, так и для нас, по-чесоточному терзающих свою память “оскорблениями действием”, которые нам наносили и при Сталине, и при Грозном, и при татаромонголах. Итак, “не надо иметь...”? Да надо, надо, но не копить перечень “болей, бед и обид”, а... Для начала хоть бросить скорбно талдычить о пресловутой нашей ментальности, которую сами и выдумали (даже если среди “самых” — “сам” Достоевский).

[2001, 8 октября]

Побежденный смех

Побывал на “Шуте Балакиреве”, в Ленкоме, — вторично, спустя месяцы после премьеры, так что рецензионные амбиции неуместны. (Тем более в свое время кое-что написал-таки.) Правда, грех не повториться: спектакль — сильный; блестящи Янковский и дебютант Фролов; Александра Захарова созрела как женщина и артистка, дабы прекрасно сыграть трогательную и нелепую Екатерину; Караченцов, Збруев... Но это — так, моя не иссякающая зрительская благодарность. Речь о другом.

Любопытно: Марк Захаров не единожды высказывался в том роде, что шуты Григория Горина, вобравшие оптимизм и мудрость народа назло властителям всех мастей, обрели продолжение и в Балакиреве. Что он — кровный брат Мюнхгаузена и Тиля, пусть рангом пониже. И ему же, Захарову, хватило проницательности

поставить совершенно безыллюзорный спектакль о шуте плохом. Хреновом, как припечатает горинского Балакирева горинский царь Петр, оказавшись там, за гробом, где его взгляд прояснится, а вкус образуется.

Стало быть, на этот раз шутовское дело проиграно?

Горинский смех был победителен — в “Тиле”, в “Том самом Мюнхгаузене”. Понятно, совсем не в том смысле, в каком смех победителей звучал у Демьяна Бедного, у Михаила Кольцова, у Маяковского да и у Ильфа с Петровым: даже им не было жаль “обывательского гнезда”, Вороньей слободки, где не только бывший князь или черносотенец, но и ни в чем таком не замеченная “ничья бабушка” для “молодых дикарей” (как не совсем справедливо окрестила авторов “Золотого тельца” суровая Н.Я. Мандельштам) была пережитком проклятого прошлого. Так же пробовал было смеяться и гениальный Эрдман, что ему удалось в “Мандате”, но не вышло в “Самоубийце”. В комедии, начатой как анти-обывательская и антиинтеллигентская, а обернувшейся человеческим воплем “махрового мещанина”. К коему неожиданно для себя ощутил сострадательную причастность сам автор.

То был уже смех побежденных, побеждаемых неизменно и бесконечно. Как у Зощенко. Как в катаевских “Растратчиках”.

Победительность смеха Горина — и, значит, Захарова — была иной. От Маяковского до Ильфа — Петрова все смеялись за; на этот же раз

сама по себе победительность возникла в слове, сказанном именно назло, против и вопреки. “Вольный дух Фландрии” расплачивался за негибаемость смертной плотью, а знаменитый враль, преображенный в поэта-романтика, жертвовал жизнью ради поэзии и романтики. А все ж и они — победители, хоть не в земной юдоли, но где-то в ином измерении, выше, “морально”...

В смешной комедии про Балакирева явлен смех побежденный, не справившийся с той миссией, что традиционно на него возлагается. И самая верхняя нота — истошная мольба земного царя Царю Небесному: пожалеть нашу родину, дать ей еще один шанс. Так молятся, уже не веря, что услышат и воздадут.

Разумеется, это четко мечено, густо крашено сугубой современностью, когда сам юмор, который когда-то — и как раз в статье о Григории Горине — я определил как “присутствие духа” (и который есть первый признак и чуткий радар этого присутствия), этот юмор пожух. Скукожился. Спасовал.

Объяснять ли, что имею в виду вовсе не юмористику в лице и с лицом Евгения Петросяна или Регины Дубовицкой? И что, если скажу — а скажу! — о жестоком кризисе двух фигур, как выражаемся ныне, “знаковых”, — Жванецкого и Хазанова, то это подобие комплимента? Ибо право на кризис надо еще заслужить.

Как бы то ни было — да: юмор тех, кто, трезвейшим образом ощущая себя побежденными,

побеждаемыми, все же являл вызывающую победительность, оказался беспомощен. Хазанов уходит в администраторы (вероятно, свершая на этом поприще нечто полезное, но не ради же этого Некто бросил ему свою искру), а Жванецкий на экране ТВ, в передаче “Простые вещи” многословен, сбивчив, банален, пресен.

Дело не неожиданное. Сам Аркадий Райкин, по словам его сына, с перестройкой испытал растерянность: то, что дозволялось его театру и что публика воспринимала как дефицитный глоток свободы, взяли на себя газеты.

Итак, присутствие духа (“Полное, сознательное обладание собою при внезапных и затруднительных обстоятельствах” — как толковал это словосочетание Владимир Даль)... Где оно? Что дух пошатнулся, — увы, чересчур очевидно. Но вот какой возникает следом вопрос, до чрезвычайности неприятный: при “застое” как остаточной форме тоталитаризма юмор, выходит, цвел, воплощенный в нем дух был устойчив, “присутствовал”, а нынче, при “демократии”?.. Скверный мерещится вывод. Возникает кошмарный соблазн связать бывшее “присутствие” с самим по себе политическим авторитаризмом.

Все же не поддадимся ему. “Застой” и тем паче тоталитаризм — это подмороженный хаос, самая коварно-обманчивая из всех видимостей гармонического порядка. И горчайший парадокс нашей жизни, нашей истории — именно их, но не духа “вообще”, не юмора в целом и в принципе, — что хваленая наша духовность,

словно в точке опоры, нуждается в точке отталкивания. В энергии отторжения. А хорошо смеется тот, кто смеется в клетке, колотясь о ее твердые прутья.

Так что ж из этого следует? Да только то, как неоценима и незаменима личностная самостоятельность художника, имеющего силу не нуждаться в поддержке (или противостоянии) обстоятельств. Только это. Не больше того. А что, разве когда-нибудь подлинное искусство рождалось иначе?

Что же касается юмора... Пока пусть себе будут победоносны — помянутый Петросян, Винокур, Степаненко, новоявленный Галкин. Нормально. Значит, ничего иного — повторяю с надеждой: пока — не заслуживаем.

[2001, 3 декабря]

Время Окуджавы?

Когда открывали музей Булата Окуджавы, я, выступая, сказал с переделкинского крылечка, что при известии о его смерти подумалось (и было услышано сразу от нескольких): закончилась эпоха. А днем позже нашей скромной церемонии, описывая ее, молодежная газета прокомментировала мои слова с нескрываемым и, во всяком случае, не скрытым удовлетворением: Рассадин признал, что пришел конец эпохе 60-х.

Признался. Раскололся, сволочь такая.

Положим, я-то добавил тогда: эпохи уходят, чтобы оставаться. Но допустим: эта — ушла навсегда. И что?

Нет смысла цитировать то, о чем я же писал в “Новой газете”, — как подзабытый Галковский, возводившийся в ранг полугениев, в тоске и злобе торопил уход Окуджавы. (Дождался. Легче ль ему?) Как другой доброжелатель, уже на-

прочь забытый, похабно ерничал насчет песка, якобы сыплющегося из немолодого поэта (а Жванецкий парировал: да, мол, сыплется, но какой песок!). Но чего не хочу забывать, так это рассуждения саратовца Боровикова, опубликованного в “Новом мире” и выдержанного — нет, вовсе не в хамском, а в снисходительном тоне. Даже сопровождаемого реверансами.

“Не надо обижать шестидесятников”. (Ай, спасибо!) “Шестидесятники требуют к себе исторического отношения, без галковщины. Новым дегустаторам “текстов” невозможно представить, как звучало в те годы само имя Евтушенко или как трогал и объединял голос Окуджавы”.

То есть — призыв к историзму, но как дело дойдет до конкретики... Хорошо, призовем юмор, в свою очередь снисходительный, читая: “Шестидесятников всегда подводил вкус. Они не умели вкушать, они хотели есть”. (Сознаюсь: и весьма.) “Их веселила инструкция на бутылке болгарского виньяка: напитком не следует напиваться, им следует наслаждаться...” Тут скажу: правильно веселила. Мы-то знали, что скверной “Плиской” еще можно упиться, а насладиться — трудно. Но дальше: “Военные юность или детство двигали ими по жизни. Они не могли забыть голода и борьбы за выживание”. Вот этому — как возразишь? Не могли. Не можем. Не сможем.

Но если небрежное высокомерие того, кому этого не приходится ни помнить, ни забывать,

и само по себе достаточно противно, хуже, полагаю, другое: “Если бы сейчас молодой поэт предложил для печати строки: “Женщина, Ваше величество” или “надежды маленький оркестрик под управлением любви”, его бы всерьез никто не принял”.

Выражаясь не столь толерантно, “такое сегодня не канает”, как сообщил журналисту Анатолию Макарову юный коллега из “престижного” (понимай: богато платящего) издания, заказывая статью, но безгласно предупреждая, чтоб было “без этого вашего Окуджавы”. Воспринимая “Окуджаву” как алгебраический знак тяги к обостренному чувству человечности (которое раздражает неутилитарностью), к лиризму (расслабляет), к некрикливо-стыдливой гражданственности (ну это просто смешно!). И объяснять ли Боровикову, как смеялись бы нынешние издатели, даже не столь отвязанные, как наш молодой заказчик, если бы им “предложили для печати” не то что: “Глагол времен! металла звон!”, но и, допустим, мое любимое: “Много земель я оставил за мною; / Вынес я много смятенной душою / Радостей ложных, истинных зол; / Много мятежных решил я вопросов / Прежде, чем руки марсельских матросов / Подняли якорь, надежды символ!”?

Впрочем, стоп. А может, их гипотетическая смешливость и то, что сегодня “всерьез никто бы не принял” ни гениального Державина, ни гениального Баратынского, так-сяк оправда-

ны? Может, в самом деле та или иная степень архаики как привязанности к своему времени и должна обесценить даже чудо поэзии?

Думаю все же, что такая реакция — дикость, но что правда, то правда: Державин и Баратынский — неповторимы. Тем и прекрасны. Как неповторимо прекрасны строчки Окуджавы, спихнутые в архив. Даже сметенные в мусор.

Короче: сама попытка историзма, предпринятая Боровиковым, до вульгарности неисторична. И впрямь: эпохи в искусстве уходят, чтобы остаться. А мнение, будто искусство прет неуклонно вперед и выше, так что, стало быть, все новое и есть лучшее, — это, простите, пошлость.

Булат Окуджава уложился в свою эпоху.

В каком смысле?

Да хотя бы и в том — вновь позволю для ясности великие аналогии, — что Пушкин стал Пушкиным, действительно “нашим всем” (обтрепавшись, это словцо Аполлона Григорьева не утратило смысла), отчасти и потому, что успел сформироваться в промежуток между 1812 и 1825 годами. Когда, по выражению Герцена, в обществе распространились “чувства чести и личного достоинства, неведомые до тех пор русской аристократии”, и пока эти чувства не были унижены Николаем I, покончившим с дворянскими упованиями. Но как символична и дата рождения самого Герцена — именно 1812-й; почти так же, как его незаконнорожденность. Другое время, другое самосознание,

само чувство чести и то другое, “обиженное и возмущенное”, как сказал давний историк литературы, заставившее Герцена стать вечным скитальцем...

А Окуджава? Начавший писать свои песни на рубеже 50–60-х, был ли он человеком шестидесятых годов? Шестидесятником?

Как злосчастный автор статьи “Шестидесятники”, напечатанной аккурат накануне начала 60-х, не устаю повторять: термин, которому я нечаянно дал ход, не поколенческий. Шестидесятничество — псевдоним времени, его общих надежд и прозрений, в чем были равны и старик Паустовский (но не “старуха” Ахматова!), и фронтовик Окуджава, и дитя ГУЛАГа Аксенов. И все же существует большая или меньшая степень причастности к этому типу самосознания.

Как ни странно, для этого надо было родиться раньше, чем, скажем, Владимов или Искандер, казалось бы, “чистые” шестидесятники, исходя из их возраста; надо было успеть — в 30-х, в 40-х — укорениться в мечте о торжестве коммунизма, чтобы в 50-х всерьез воспринять пресловутые “ленинские нормы”.

Окуджава, сын расстрелянного отца и матери-лагерницы, был в 30-е годы, по его честным словам, “очень красным молодым человеком. Очень”. Оставался ли таковым, когда в 1955-м вступил в партию? Нет, по крайней мере не “очень”: сам говорил, что хотел тем порадовать мать, которая и из лагеря вернулась верующей

коммунисткой. Хотя, конечно, не обошлось и без личных неизжитых иллюзий, сказавшихся в знаменитых строчках о “комиссарах в пыльных шлемах”, о “единственной гражданской”, над которыми в 60-е плакали, а в 90-е стали глумиться. (Не все, не все.)

Вот еще запятая: иллюзия... Вопрос: грех ли она, беда ли, вина ли? Как сказать. Важно, что в твоей душе тешится этой иллюзией — надежда на всемирное братство или, как нынче, на то, чтоб извести всех инородцев, устроив “Россию для русских”. Иллюзия может быть, как умно замечено, “консервацией идеала”, который, освобождаясь от наивности, глядишь, воссияет в виде, очищенном от всего наносного, временного, социально или классово ограниченного. Окуджава не столько воспел, сколько отпел свои (и многих) честные заблуждения...

Однако идем дальше — по его судьбе. Вместе с той частью общества, что расположена мыслить, — освобождение от иллюзий. И т. д., вплоть до сутубой мрачности поздних стихов, говорящей, что рухнули и надежды нового времени. Словом, при всей уникальности, без чего поэт — не поэт, Окуджава действительно выразитель эпохи, ее на редкость чуткий радар; он уникален, но неотрывен — от нее, от нас. И та враждебность, с какой его первые песни были встречены официозом — от партократа Ильичева до композитора Соловьева-Седого, услышавшего в них “белогвардейские мелодии”, — враждебность, казалось бы, необъ-

яснимая (ну что крамольного в “Полночном троллейбусе” или в “Часовых любви?”), объяснялась не столько помянутой уникальностью, сколько именно неотрывностью. Власть — политическая и эстетическая — почуяла в голосе Окуджавы нечто, сулящее ей опасные сдвиги общественного сознания.

Когда в 1961-м я принес в журнал “Юность”, в котором служил, подборку песен-стихов Окуджавы, редактор Борис Полевой зарубил песенку об Арбате. За слово “религия”, хотя, думаю, мог бы придраться и к слову “улица”, уж совсем безобидному.

Почему?

Бывает, так сказать, естественная редактура. Вот Лермонтов (воспоминания Екатерины Сушковой) слушает, как лицейский приятель Пушкина Яковлев поет романс на слова “Я вас любил: любовь еще, быть может...”, и — комментирует. Не может не комментировать.

“...Но пусть она вас больше не тревожит...” — поет Яковлев. Нет, говорит Лермонтов собеседнице, пускай “тревожит”! “Я вас любил так искренно, так нежно, / Как дай вам Бог любимой быть другим”, — но такое тем паче не по нраву поэту, которого сгоряча называли наследником Пушкина, а он, опередив В. И. Ленина, кажется, мог бы спросить себя самого: от какого наследства я отказываюсь? Да вот от этого самого! “Это совсем надо переменить; естественно ли желать счастья любимой женщине, да еще с другим? Нет, пусть она будет несчастлива...”

И ведь “переменил”: “Ты не должна любить другого, / Нет, не должна, / Ты мертвецу святыней слова / Обручена...”

А в нашем случае?

У Смелякова, поэта, чтимого Окуджавой, есть стихотворение “Хорошая девочка Лида” — о любви мальчика к девочке; подчеркиваю, ибо метафоры таковы, словно речь о любви Народа — к Вождю, к Сталину (что, кстати, было по своему дерзко, хотя советская власть, трижды сажавшая Смелякова, это пропустила). “На всех перекрестках планеты / напишет он имя ее. / На полюсе Южном — огнями, / пшеницей — в кубанских степях...” Наконец: “Окажется улица тесной / для этой огромной любви”. А у Окуджавы улица Арбат не тесна для того, чтобы стать призванием, религией, отечеством.

Случайность полемики (если говорить о конкретных стихах)? Конечно. Но не случайно само восстание против Большого Стиля, эстетического оформления официальной идеологии. Восстание, которое неминуемо должно было произойти, уже происходило, но особенно внятно проявилось не в чем-либо трубном гласе — в негромкой гитаре Окуджавы.

Я сказал: он уникален, но неотрывен. Пора перевернуть формулу: неотрывен, но уникален.

Не стоит опять-таки обстоятельно повторяться, напоминая, как в 60-х поэзия ринулась на эстраду, была допущена даже на стадион; как это отрадное явление заполучило и обратную сторону, приучая читателя больше ценить

выкрик, чем оттенки слова. Как и сами поэты теряли свое первородство, обретали самоощущение артистов, неизбежно зависящих от аплодисментов.

Окуджаве с его гитарой, которой на эстраде самое место, подобное словно должно было подходить изначально. Но возможно ль представить его сказавшим: “Я не поэт, а артист!” (о том, кто сказал, — чуть позже)? Наоборот, был период, когда он взбунтовался против своей репутации выступающего поэта, объясняя: “Я пишу прозу!”. (И я, смешно вспомнить, объяснялся с ним на сей счет, доказывая, что он зря унижает собственную песенную поэзию.) “Самостоянье человека”, повторяя за Пушкиным; сугубая индивидуальность личности, не смешивающейся с массой, остерегающейся тесной принадлежности даже к более узкому кругу (так, перестал исполнять песню “Возьмемся за руки, друзья”, едва КСП ее обобществил-обезличил, сделав своим гимном), — вот чем пуще всего дорожил Булат Окуджава.

Чаплин, вернее, чаплинский Чарли — такую ассоциацию-аналогию находили для его “лирического героя”. Возможно. Но — Чарли, наделенный острой интеллигентской рефлексией. Пронзительной самоиронией, по части которой Окуджава — рекордсмен. Чемпион.

Юрий Тынянов писал о Блоке, что читатель в нем полюбил не столько искусство, сколько человеческое лицо. Так была угадана тенденция: Маяковский, объясняющийся в любви не Пре-

красной Даме, а паспортно поименованной Л.Ю. Брик; “хулиган” Есенин; Цветаева, откровенная до предела и сверх предела. И т.д., и т.п. Тенденция, видимо, неостановимая — и на здоровье, лишь бы “лицо” не вытесняло “искусство”, не подменяло его (а вытесняет и подменяет — разумеется, не у вышеназванных). Имидж не становился бы самоцелью (а становится, стал).

“Я не поэт, я артист!” — цитированное заявление сделал и должен был сделать Дмитрий Пригов, чем обосновал свое актерское право, тут же осуществленное; к примеру, блять козлом на эстраде, заменив бляньем внятное произнесение внятных “текстов”. И тем самым довел до возможного края не только победу имиджа над искусством, но и тот самый сдвиг от поэзии к актерству, который сделали было, да недоделали поэты-эстрадники 60-х.

Честное слово, сейчас не занимаюсь полемикой, всего лишь хладнокровно констатируя именно тенденцию (и даже готов польстить аналогией, сопоставив с ней путь, который проделала живопись от Рафаэля с Рембрандтом к “Черному квадрату” Малевича). Просто в пору, когда тенденция обобществления, обезличивания торжествует или думает, что восторжествовала, когда стихами объявляется то, что может написать каждый, кто угодно, все (понятно ли, что и тут не бранюсь, лишь пересказывая концептуальную установку хоть того же Пригова?), — в эту пору Булат Окуджава не мог не

быть атакован как опасный анахронизм. Опасный не менее, чем он был для бывшего официоза, почуявшего в нем, напротив, предвестие. Начало.

По-своему, по-звериному правы и те и другие. Как было не нападать на него, с его популярностью, с его обаянием, неотразимым, возможно, и для самих хулителей?..

“Время Окуджавы” — назвал я статью, сопроводив заглавие знаком вопроса. От неуверенности? Да нет. Время того или иного художника, бывает, на время проходит, и (продолжаю зывать к великим теням) даже Тютчев и Баратынский оказываются в разряде “забытых поэтов”. “Не канают”, изъясняясь памятным слогом. Потом из забвения возвращаются. И все-таки можем ли мы сказать, что и в эти, худшие для них годы, будучи потерянными для толпы, они уходили из истинной памяти, не перестающей помнить? (“...Жив будет хоть один пиит”.) То есть их время не прерывается ни на минуту; это время тех, кто перестает дорожить чудом искусства, оборачивается безвременьем. Глухотой. Слепотой.

Слава Богу, время Булата Окуджавы не прервано; более того, его имя и слово — как пароль людей, противостоящих напору торгашества. Будем надеяться, что и не прервется; надеясь, беспокоясь не о нем — о себе самих.

[2002, 14 января]

Состояние духа

Итак, умер Юрий Давыдов. Юра. Истинно большой писатель и мой любимейший друг. Последнее произносить вроде даже неловко — настолько всеобща значима эта потеря (если мы вообще не разучились осознавать подобное, а по равнодушию, явленному на сей скорбный случай нашим ТВ, похоже, что так), но куда денешь сорок лет близости?

Смерть не была неожиданной: он болел — тяжело, безнадежно. То есть известие не явилось ударом, которого не ждешь. Ждали, и тут не удар, когда ты сам умер вместе с другом, а затем очнулся. Тут — тоскливое сознание, что произошло отпадение невозместимой культуры. Резкий спад того духовного напряжения, по которому тоскуешь уже ностальгически.

Дружба с Давыдовым, которая сама по себе была счастьем, постигшим, конечно, далеко

не меня одного, мне подарила и еще одну радость. Уже отдельную, эгоистически-уникальную — увидеть осуществление своей неудовлетворенной мечты. Да еще превзошедшее ожидания.

Мы сдружились едва ли не в первый день знакомства, но я одно время страдал: моя любовь к нему слишком превосходила интерес к тому, что он пишет. “История с географией” — в глаза ему с небрежностью молодости называл я его тогдашние книги, покуда не адекватные его личности и судьбе. Пусть совсем, совсем недурные. И потом, когда явилось то, что можно признать классикой русской исторической прозы, в первую очередь прославившая Давыдова “Глухая пора листопада”, я еще продолжал пиявить друга, донимая: почему в твоих книгах не воплотился личный лагерный опыт? (Отчасти это звучало жестоко: почему не пишешь в стол?) Помнишь, ты мне рассказывал то-то и про того-то? Помнишь, как меня поразила твой рассказ о самой последней ночи на Лубянке, когда ты прислушивался-принюхивался к шорохам и запахам ночной Москвы?..

Потом-то я понял, сколь глупы были мои нетерпеливые претензии, — это при том, что в одном из вариантов романа “Соломенная сторожка” появились-таки интерлюдии, непосредственно воплотившие тот самый опыт. Главное: биография и судьба растворялись в повествованиях о провокаторе ли Дегаеве, о “партизане” Лопатине, и вот я узнавал у палача

в одной из книг длинные ногти особой формы, некогда виденные Давыдовым у чекиста-расстрельщика. Хотя дело было не в этом.

История — то, что не проходит... Боже, какая банальность! Почему же именно ей традиционно не внемлем?

Самое знаменитое произведение Юрия Давыдова, видимо, до сих пор — “Глухая пора”. Самое зрелое, самое главное, открывающее простор для тех, кто способен его ощутить, — “Бестселлер”. Самое, как теперь выражаемся, знаковое — возможно, полуповесть-полупоэма “Зоровавель”.

Не стану врать, “знаковое” не означает, что лично мною оно особо излюблено. Как почти в каждом программном сочинении, на программности коих автор настаивает, там, на мой вкус, слишком уж сгущены формальные признаки поздней давыдовской поры, включая сугубую метафоричность. Или ритмизованность. Зато до предела прояснена ситуация выбора — выбора взгляда на мир, на историю, на собственную судьбу.

Из пестрой биографии Вильгельма Кюхельбекера, Кюхли, где и дружба-вражда с Пушкиным, и Сенатская площадь, и побег, и поимка, и ссыльные годы, выбран перерыв. Сказал бы: передышка, если б то не было заточение в крепостной одиночке, где единственный собеседник — крыса Пасюк, понимающая по-английски (наслушалась от масонов, прежних узников).

Да отчего бы и не сказать? По Давыдову — это именно передышка, когда переводят дух: “дух” — не в смысле физического дыхания, как и “переводят” — глагол, означающий не “отдыхаться”. Здесь Дух — как сознание, как со-знание, со-общение с высшим смыслом, что переводит тебя будто на новые рельсы, на другую дорогу, из сферы действия в сферу внутренней свободы. Ни с чем не сопоставимой.

“...Вы, позволю себе так выразиться, извините за откровенность, совершенно привели меня в состояние духа”, — скажет нелепый чеховский Елиходов, невзначай выразив, быть может, заветную цель многих из литераторов. Во всяком случае русских, российских. Оказаться в “состоянии духа”, посылно освобождаясь от всего внешнего, подчас даже телесного, отягощающего дух, — не значит ли осознать свое высшее предназначение, явить безграничную силу самого по себе Слова как Божьего или природного дара? Результаты различны, как различны художники: скажем, у Хлебникова это ведет к звуковой “самовитости”, у Толстого — к отказу от “художества”, к чистой и голой проповеди...

Что до Давыдова, то в “состоянии духа” пребывали или стремились к тому и герои его прежних книг. Не только Глеб Успенский, как и Кюхля, особо привлекавший его в заточении, в предсмертной психушке, но и человек действия Герман Лопатин, становившийся под давыдовским пером... Не удержусь, чтобы не пре-

рваться: да, Юра до конца дней продолжал махать в чернильницу именно перышко, приспособив к этому недействующую авторучку, и даже здесь я готов видеть упрямую принадлежность к тем, кто ценит слово как слово. В общем, и Лопатин чем дальше, тем глубже уходит в область самопознания.

И все же — “Бестселлер”! Странная книга, с которой связываю возможности нового литературного мышления, предполагаю прообраз “прозы будущего” (каковую привычно связываем исключительно с молодым поколением, с “нашей сменой”, путая “состояние духа” с состоянием биологической юности). Той прозы, которую, думаю, будут отличать свобода от жанровой скованности плюс сила душевного опыта личности — мощно чувствующей и много постигшей.

А иначе на черта тогда вообще словесность? Хватит ТВ.

Словом, странная, повторяю, книга — “Бестселлер”: с одной стороны, как будто приметы постмодернистской игры на культурных развалинах. С другой — сама эта игра, ничего не имеющая общего с самодостаточной, то бишь бессмысленной, ироничностью, помогает писателю отслоить временность реалий, что возмещается вымыслом-домыслом, от непреходящего смысла истории. От того, “как было”. “Что было”.

Скажут: да кто же решится ответить в точности на эти “как” и “что”? А Давыдов и не по-

сягает на однозначность знания — отсюда ирония и, что важнее, самоирония. Но, читая уж такой, казалось бы, “игровой”, “постмодернистский” “Бестселлер”, понимаешь, зачем до тошному архивисту Давыдову понадобилось сказать: “Свобода мне надоела, прискучила”. Понимай: свобода как раз домысла-вымысла, отчего, когда в “Соломенной сторожке” он выведет “настоящего” Сергея Нечаева, тот именно по причине своей “настоящести”, соответствия фактам и документам истории окажется страшнее того, кому послужил прототипом. Памфлетно-буффонного Петра Верховенского из “Бесов”.

Но дальше: сам Пегас у Давыдова — “не цирковая лошадь, очень изящно танцующая... Даже не аргмак, пышущий жаром”. Нет, “сивый мерин, терпеливый, двужилый... Чтоб и пахать, и кладь возить”.

И уж это не самоирония — ну, разве чуть-чуть, без чего умному человеку нельзя. Не самоуничтожение.

Блистательный Юрий Тынянов говаривал: где кончается документ, там я начинаю. Юрий Давыдов начинает вместе с документом и с ним не расстается. И если “Вазир-Мухтар” аллюзионен вполне сознательно, то у Давыдова аллюзия — не часть замысла, но участь читателя. Ах, тебе без аллюзии и намека никак невозможно? “На вот — возьми ее скорей”. Но не больше того.

Почти не шутя, предположу, что давыдовский

прародитель — Пимен Пушкина, некогда действовавший и сражавшийся, ныне же составляющий “донос ужасный”... Впрочем, не так: “донос” — словцо, исшедшее из уст наблюдающего за старцем Гришки Отрепьева, который и делает из “доноса” свой “революционный” вывод, а Пимен лишь пишет, “как было”. Вот и Юрий Давыдов был всегда одержим, помимо “энергии заблуждения”, без которой, согласно Толстому, творчества быть не может, еще и энергией восстановления. Сцепления звена со звеном.

Давыдов был... Впервые пишу в прошедшем времени, что непереносимо, но ведь и противоестественно.

...Когда — еще так недавно — мы виделись в его переделкинском домике, ему хватило сил выпить совместную рюмку и загореться, рассказывая о новых замыслах: ими — в буквальнойнейшем смысле — был набит стоявший у стены чемоданчик. А если что было горше всего, так это его слова: понимаешь, впервые в жизни не могу, не хочу работать.

Я пытался утешить: мол, это естественно, ведь ты свалил с плеч многолетнюю работу над “Бестселлером”, временное опустошение неизбежно. Но он-то знал, что́ это для него, получившего лагерную закалку и словно бы у самой истории научившегося творческой неостановимости.

Слава Богу, “Бестселлер” он завершил. Для писателя и для читающих, чтящих его — нелегитимное утешение.

А мы? Какой урок мы могли бы напоследок усвоить? “Роковой часов бой” услышал Андрей Белый в час смерти Блока. Предупреждение: “пробудись или умри”. “Орангутангом душа жить не может”. Вот и не хочу, чтобы меня оставила боль утраты, — не из мазохизма, а ради духовной сохранности. Время Давыдова, как время Окуджавы или Эйдельмана, должно в нас длиться, чтобы мы не вовсе потеряли человеческий облик.

[2002, 28 января]

Россия – родина слонопотамов

В дневнике 20-х годов Корней Чуковский вспомнил Наталью Борисовну Нордман, жену Репина, даму, одержимую идеей социального равенства: например, ее гости обслуживали за столом сами себя (были, конечно, и кухарка, и горничные, им просто велели не показываться на глаза). Так вот, она “горячо восставала против обычая устраивать в квартирах два хода: один для прислуги — черный, а другой для господ — парадный. “Что же делать, Н. Б.?” — спросил я ее. “Очень просто! — сказала она. — Нужно черный ход назвать парадным. Пусть прислуга знает, что она ходит по парадному, а господа — по черному!”

А мы говорим: вот, мол, Жан Бодрийяр гениально придумал термин “симулякр” — то есть, грубо говоря, фантом, подменивший реальность. Что-то вроде Слонопотама, приме-

решившегося Винни-Пуху. Господи! Да мы уже сколько лет живем не по Бодрийяру, а по Н.Б. Нордман...

Для меня мало что еще так обидно, как наговор на русскую литературу, повторяемый всеми, включая телеведущих: будто два ее главных вопроса — “Что делать?” и “Кто виноват?”. Фантом! “За что?” — вот наиглавнейший вопрос-воплъ, давший название повести Льва Толстого, где подняты темы, по сей день болезненные: от “национального вопроса” до того, дает ли верность царю и Отечеству право становиться доносчиком.

Да, великий Герцен сочинил смолоду слабоватый роман, а Чернышевский писал, как умел, — кстати, не хуже того, как пишут нынешние знаменитости. И что? Дело в том, что мы читаем, вернее, вычитываем. Мы! В конце концов, когда симбирский гимназист Володя Ульянов пользовался щедро открытой ему библиотекой своего одноклассника Поли, то бишь Аполлона Коринфского, впоследствии популярного и даже недурного поэта, то вряд ли зачитывался Полиными кумирами — Фетом и А.К. Толстым.

Если угодно, эта библиотека, один читатель которой становится ниспровергателем номер один, а другой, уже позабытый, пишет балладу о некоем богатыре, преступно задумавшем одолеть земную тягу (жаль, Коринфский ошибся: его богатырь, надорвавшись, сам уходит, вращается в землю, — а может, нечаянно вышло про-

рочество: чем самолично кончит его надорвавшийся одноклассник?), в общем, эта библиотека — мини-образ всей нашей культуры. И всей истории, которую каждый приватизирует. Мно-жа свои симулякры, своих слонopotамов.

Между прочим, Чуковский сперва возразил фантазерке Нордман, сказав, что прислуга тем паче озлобится, ибо “ощутит в этой перестановке кличек лицемерие, насмешку”. Но потом, в 1924-м советском году, вдруг осознал, что ошибался: “Люди любят именно кличку, название”. Причем дело не в самих по себе парадных подъездах, где появились, пишет Корней Иванович, “кошачий запах, скорлупа, обмызганные склизкие ступени”, этот и нам знакомый до рези в носу результат коммунальной утопии почтенной Натальи Борисовны, озадачивший уже профессора Преображенского (памятное: “Почему, когда началась вся эта история, все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице?.. Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры?”). Тут — более основополагающее: “Взяли мелкобуржуазную страну, с самыми закоренелыми инстинктами и хотим в три года сделать ее пролетарской”.

Если бы запись делалась позже и у Чуковского хватило духу развить мысль, он сказал бы: в своей любви к кличке, к названию наши люди окончательно научились верить в слонopotамов — таких, как “Гений Всех Времен и Народов” или “социалистическая демократия”. В то,

что “слуги народа”, оседлавшие его шею и захватившие парадный ход, соответствуют своему смиренному званию.

Честное слово, даже скучно переводить все это на сегодняшний слонопотамский язык. Но что делать, если (начнем сущей мелочью) слуга народа Глазьев, спрошенный на ТВ, почему коммунисты голосовали в Думе за депутатскую пенсию в 12 000 рублей¹, не покраснев, переводит речь в область социальной справедливости вообще. Или — что уже много серьезнее, крупнее и выглядит как обратно-зеркальное отражение некогда сказанного Чуковским — дескать, взяли страну с насильственно вкорененными антисобственническими инстинктами и захотели за несколько лет сделать ее либерально-рыночной... Неисправимы!

Честертоновский патер Браун говаривал: беда в том, что каждый читает свою библию. Наборщик — чтобы найти опечатки. Преступник — чтобы отыскать в Ветхом Завете то, что и хочет найти: похоть, насилие, измену. “Когда наконец люди поймут, что бесполезно читать только свою библию и не читать при этом библии других людей?”

Конечно, утопия — может, почище той, что взбрела в народолобивую голову супруги Ильи Репина. Но по крайности такая утопия, такой идеал, каковой при всей своей недостижимости способен нас вразумить и очеловечить. Хоть самую малость. А то вот мы и Столыпина, кото-

1 На этом, как знаем, далеко не остановились.

рый нынче вроде бы замаячил подобием вожденной “общенациональной идеи”, что способна нас объединить, и его, говорю, Петра-свет Аркадьевича, принимаем частями, а не целиком: кто — как националиста и даже антисемита, кто — как либерального рыночника. То есть и он, натура редкостно цельная, возбуждает в нас процесс разногласий, разъединений.

В общем, одноклассники Володя и Поля по-прежнему тянут-потянут каждый к себе родную историю. И слонопотамы, которых каждый придумывает на свой манер, по-прежнему населяют родную землю.

[2002, 29 апреля]

Самоубийство Шолохова, или Крушение гуманизма

Цветаева. Маяковский. Есенин. Фадеев... Не странно ль узнать, что в перечне самых громких имен писателей-самоубийц пятым мог оказаться Шолохов?

“В порыве откровенности М. Шолохов сказал:

— Мне приходят в голову такие мысли, что потом самому страшно от них становится.

Я воспринял это как признание о мыслях про самоубийство”.

Это доносит — в буквальном смысле от слова “донос” — непосредственно Сталину Владимир Ставский, самый бездарный из всех, побывавших на посту генсека Союза писателей. Посетив Шолохова во второй половине 30-х и вызвав на доверительный разговор, он явно готовил арест своего конфиденанта, опасаясь, однако, давать совет вождю. (В ином случае Ставский

не стал церемониться, попросив наркома Ежова “помочь” с Мандельштамом, — и, разумеется, “помогли”.) Впрочем, как видим, не исключался и иной исход.

Как известно, вышло иначе. Самоубийство, если и было совершено, то в смысле духовном, — но так очевидно, что шолоховская метаморфоза породила сомнения: да он ли автор “Тихого Дона”?

В 1954 году, то есть много позже того, как в 1928-м возникли и были отвергнуты первые сомнения касательно авторства (и задолго до того, как, с привлечением текстологии и компьютера, нахлынет волна новых), Евгений Шварц заметит, наблюдая и слушая Шолохова на писательском съезде: дескать, никогда не привыкнуть, “что нет ничего общего между человеческой внешностью и чудесами, что где-то скрыты в ней. Где?.. Теряюсь, никак не хочу верить, что это и есть писатель, которому я так удивляюсь”.

Притом Шварц — в дневниковой прозе! — не прячет боязливого намека на плагиат: речь лишь о том, что вот, автор великой книги, а так постыдно гаерствует и лизоблюдствует! Да и куда более резкий Твардовский не имеет в виду “ничего такого”, высказываясь о Шолохове в рабочей тетради одиннадцатью годами позже: “Сколько он наговорил глупостей и пошлостей за это время и сколько он непростительно промолчал, когда молчать нельзя было, за эти годы. ...Умрет — великий писатель, а пока жив — шут какой-то непонятный”.

Впрочем, что до “непростительного” молчания, то высказанное вслух оказывалось куда непростительнее — например, когда Шолохов на XXIII съезде КПСС пожалел, что Синявскому и Даниэлю “мало дали”, всего лишь отправив в лагерь: “Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные двадцатые годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а “руководствуясь революционным правосознанием” (*аплодисменты*), ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни! (*Аплодисменты*)”.

Самое — нет, не этически отвратительное, но любопытное с точки зрения эволюции писателя Шолохова здесь вот что. Говорит тот, кто некогда, да, в сущности, не так уж давно, в четвертой, последней книге “Тихого Дона” не захотел, не смог “перековать” Григория Мелехова. Любимейшего героя. И скрепя сердце, конечно, обрек на неминуемый расстрел как раз по законам “революционного правосознания”.

Это при том, что на сей счет были-таки колебания. Мало того. На перековке настаивали сильные мира сего, включая Фадеева, да, говорят, и самого Сталина. Тот будто бы даже дал понять, что ежели Шолохов окажется неподатлив, то можно будет, опираясь на слухи о плагиате, подумать о назначении автором “Тихого Дона” другого литератора. А что? Есть ведь сведения, что, осердясь на Крупскую, вождь пригрозил: будет плохо себя вести, назначим вдо-

вой Ленина другого товарища. Скажем, проверенную большевичку Стасову.

Но нет. В доносе Ставского, помимо того, что Шолохов-де сочувствует разоблаченным “врагам народа” из числа земляков, поставляется и такой компромат:

“М. Шолохов рассказал мне, что в конце концов Григорий Мелехов бросает оружие и борьбу.

— Большевиком же его я делать никак не могу”.

Смело? Но Шолохов являл куда большую смелость, когда писал Сталину о несчастьях, которые коллективизация принесла Дону. Тут же главное, что это говорит художник, понимающий неуступчивые законы художества.

Конечно, сомнения в авторстве “Тихого Дона”, романа великого, просто не могли не возникнуть — при такой-то наглядной эволюции Шолохова. В том числе — как писателя.

В самом деле! От еще нескладных, однако живых “Донских рассказов” — взлет к “Тихому Дону”. А дальше — все вниз и вниз. Конъюнктурная, отнюдь не на уровне послания Сталину насчет губительности колхозов, но частями все-таки сильная первая часть “Поднятой целины”, после чего находится возможность подняться на уровень четвертой книги шолоховского шедевра. Роман “Они сражались за Родину”, сочинение беспомощно-балагурное, будто написанное в соавторстве с дедом Щукарем; вещь, которую не хватило сил даже за-

кончить. Щукариная фантазия небеспрельна, а фронтового опыта у полковника Шолохова, не приближавшегося к передовой, не было.

А дальше — жизнь степного помещика, правда, поддерживающего безбедно-бездельное существование не собственным хозяйством, а попечением ЦК. Молчание, наконец разрешившееся рассказом “Судьба человека”, возвеличенным не по чину. Стертый стиль, вплоть до финальной “скупой мужской слезы”; унинительно балаганное представление о критерии стойкости русского человека. (“Я после второй не закусываю” — это в немецком лагере куражится якобы истощенный солдат.) Казалось бы, можно благодарно отметить обращение к наболевшей теме, к судьбе советских военнопленных, преданных Сталиным, но и оно компромиссно-уклончиво, с нечаянным угождением именно сталинскому отношению к “предателям”. Ты попади в плен исключительно в бессознательном состоянии, там соверши немыслимый подвиг — тогда, глядишь, родина и простит.

Слухи о плагиате опирались не только на всеочевидную деградацию после “Тихого Дона”, но и на то, что предшествовало ему: четырехклассное образование, отсутствие опыта наблюдений, подозрительная молодость — в двадцать три года да сочинить первую часть одного из лучших романов XX века!.. На это, однако, всегда сыщется контраргумент, знакомый нам хотя бы и по “шекспировскому во-

просу”: нам не дано постичь все возможности большого таланта, тем более — гения.

Вообще — лучше бы всего допустить, в частности, по причине отсутствия исчерпывающих доказательств, что “Тихий Дон” написал Шолохов. Это вовсе не исключает того, что могла быть использована и чья-то иная рукопись, как оно, по всей видимости, и было. Допустив, обретем ситуацию куда более значительную, чем полудетективный сюжет с третейскими судьями и разоблачениями: такая судьба, такая эволюция такого писателя...

И если эволюция достаточно стереотипна для истории советской литературы (те же Фадеев, Тихонов, Федин...), то судьба остается загадочной. Почему роман, враждебно встреченный критикой, объявленный антисоветским, беззащитный перед дурными слухами, роман, чей герой, как пушкинская Татьяна, “удрал штуку”, отказавшись следовать указаниям даже не самого творца, но тех, в чьей безраздельной власти творец находился, — почему этот роман в конце концов был защищен самим Сталиным?

Конечно, можно сделать комплимент сталинскому вкусу, иной раз, что говорить, дававшему о себе знать. Но вряд ли дело в одном только вкусе.

...Бунин вспоминал слова, когда-то сказанные ему Чеховым: “— Вот умрет Толстой, все пойдет к черту. — Литература? — И литература...”. А прозаик-эмигрант Марк Алданов гово-

рил — уже самому Бунину, рискуя его рассердить, — что великая русская литература кончилась на “Хаджи-Мурате”. В любом случае некоего рубежа ждали. И дождались?

Русская литература не кончилась, не пошла к черту, но стала, пусть не целиком, иной. И мало что выразило это сильнее и нагляднее “Тихого Дона”.

Критик Петр Палиевский, заметив, что в романе зафиксировано “новое отношение к жизни”, доказывал это судьбой Аксиньи, изнасилованной собственным отцом: “Какой материал для фрейдиста. Вся последующая жизнь — сплошной подтекст и воспоминание, от которого женщина хочет и не может уйти...”

...Что ж у Шолохова? Это событие просто забыто... Чтобы определить характер, остаться в центре души — об этом смешно и думать”.

Не смешно. Даже в условиях простодушной свободы инстинктов, когда насилие — результат этой свободы, а сама Аксинья — словно бы “человек — животное; человек — растение, цветок” (откуда цитаты, вскорости станет ясно), достаточно очевидно, что поруганность определила судьбу Аксиньи. Возможно ль представить ее безмятежное бабье счастье?

Вот, однако же, вывод критика — как он полагает, касающийся исключительно Шолохова: “Формулировать это трудно, и вывод, пожалуй, страшноват, но Шолохов допускает наибольший нажим на человека. Считает это нормальным”.

Как не вспомнить шолоховские слова насчет двух писателей-лагерников, которых, может быть, стоило расстрелять? Но это случится потом и, возможно, как результат развития этого “наибольшего нажима”. Пока же...

Возникают две аналогии, вроде бы кричаще несовместимые. Ни с Шолоховым, ни даже или тем более между собой.

Первая. Вскоре после того, как Блок напишет “Двенадцать”, где продемонстрирует поистине “новое отношение к жизни”, самого Христа заставив возглавить шайку красногвардейцев, появится его статья “Крушение гуманизма”. О том, что это понятие и явление, возникшее на исходе средних веков, “лозунгом которого был человек — свободная человеческая личность”, ныне потерпело крах. “...Исход борьбы внутренне решен: побежденной оказалась гуманная цивилизация. Во всем мире звучит колокол антигуманизма... человек становится ближе к стихии...”. И — вот знакомые нам слова: “Человек — животное; человек — растение, цветок; в нем сквозят черты чрезвычайной жестокости, как будто не человеческой, а животной; черты первобытной нежности — тоже как будто не человеческой, а растительной”.

Интеллигент, сверхинтеллигент (как бы от этого звания ни отпирался) Александр Александрович Блок всего лишь признает победу того, что отвергало дорогое ему искусство, создаваемое интеллигентами в соответствии с их

идеалами. А вот — и это вторая из аналогий — кто победу реализует полностью:

“Каганович у Горького — речь — не делает поправку на аудиторию. Нет интеллигентских рефлексов. Победа за нами!”

Это дневниковая запись Михаила Зощенко, наблюдавшего лично одного из победителей, сталинского наркома.

Неожиданные аналогии? Вернее, неожиданно их сведение вместе? Но любое *нечто*, одерживающее тотальную победу, доказывает свою тотальность, только проявляясь на уровнях категорически разных. До кажущейся несовместимости.

Когда происходит подобное, многие из интеллигентов спешат избавиться от свойственных им рефлексов (прочим не надо и избавляться по причине отсутствия оных). И вот не уроженец Донщины Шолохов, которому в этом смысле нечего и незачем выдавливать из себя, а одесский еврей Багрицкий, изживая интеллигентскую и инородческую закомплексованность, живописует в поэме “Февраль”, как его лирический герой насилует проститутку, в которой узнал прежде недоступную для него гимназистку. “Я беру тебя за то, что робок / Был мой век, за то, что я застенчив, / За позор моих бездомных предков, / За случайной птицы щебетанье! / Я беру тебя, как мщенье миру, / Из которого не мог я выйти!”

И земляк Багрицкого Бабель или, добавим для добросовестности, его несомненный двой-

ник Лютов, герой “Конармии”, в рассказе “Мой первый гусь” давит в себе интеллигентщину. Глумливо отвергаемый конармейцами как чужеродный очкарик, он завоюет их расположение, уподобясь им же, когда заберет у хозяйки гуся: “Мне жрать надо” — и расплющит его голову сапогом. Пусть старуха с мукою скажет: “Товарищ, я желаю повеситься”, зато недавние гонители за эту жестокость немедленно признают за своего: “Парень нам подходящий”. И лишь после этого Лютов “громко, как торжествующий глухой”, будет читать казакам напечатанную в газете речь Ленина. Точнее, только после этого казаки станут слушать — и Ленина, и Лютова, в коем обнаружилась, проросла социальная близость.

Конечно, с Бабелем, как, впрочем, и с Багрицким, все непросто. Второй из них от воспевания “беспартийного” Уленшпигеля переходит к апологии Дзержинского, добросовестно воспринимая его уроки (“...Но если он скажет: “Солги”, — солги, / Но если он скажет: “Убей”, — убей”); слава Богу, что сердце все-таки тянется к участи бедолаги Опанаса. Что же до Бабеля, то убийство птицы — вот максимум, доступный интеллигенту Лютову на пути срачивания с конармейцами. А в рассказе “Смерть Долгушова” он же ставит себя на грань отторжения и, возможно, гибели, не решившись добить безнадежно раненного товарища:

“Афонька... выстрелил Долгушова в рот.

— Афоня, — сказал я с жалкой улыбкой и подъехал к казаку, — а я вот не смог.

— Уйди, — ответил он, бледнея, — убью! Жалеете вы, очкастые, нашего брата, как кошка мышку...

И взвел курок.

Я поехал шагом, не оборачиваясь, чувствуя спиной холод и смерть”.

Или (рассказ “После боя”): “Я изнемог и... пошел вперед, вымаливая у судьбы простейшее из умений — умение убить человека”.

“Победа за ними!”. За теми, кто умеет, допустим, как бабелевский чекист, который прибыл из Москвы в Одессу, дабы обучать местных коллег вести дела “по формам и образцам, утвержденным Главным управлением”, и без раздумий расстреливает колоритнейшего старика Фроима Грача: “Ответь мне как чекист... ответь мне как революционер — зачем нужен этот человек в будущем обществе?”.

Но Фроим все же бандит. У Шолохова ничтожному Мишке Кошевому в том обществе, в котором он намерен существовать, не нужен “казачий Гамлет” Григорий Мелехов...

Итак: “...Побежденным оказалась гуманная цивилизация. Во всем мире звучит колокол антигуманизма...” (Блок). “Победа за ними!” (Зощенко). И тот же Бабель, как его Лютов, неспособный уподобиться в отношении к жизни и, главное, к смерти конармейцу Афоньке или решительному чекисту, все же эпически любит, скажем, главой Кабардино-Балкарии ханом-головорезом Беталом Калмыковым, захаживает в дом к вурдалаку Ежову или хвалит на

писательском съезде литературный стиль Сталина.

Как знаем, не помогло. Не зачли. Раздвоенность интеллигента не вызвала у власти доверия — в отличие от честной цельности Шолохова, кому был прощен (как раз не за цельность ли, не за прямоту?) даже дерзкий протест против бесчинств коллективизаторов. Даже упорство относительно Мелехова, не перешедшего в красный стан.

Хотя последнее как раз могло и понравиться.

Все-таки — что такое “Тихий Дон”? Роман революционный — как, например, “Чапаев” или “Железный поток”?.. Впрочем, сегодня, кажется, все сошлись на том, что — нет, “Тихий Дон” есть произведение законченно антиреволюционное.

На самом деле — ни то, ни другое. По крайней мере и то, и другое — второстепенно.

Григорий Мелехов, перекинувшийся к большевикам, — эка невидаль! Но в качестве побежденного, сломленного врага он должен был льстить тому, за кем победа, — да не Мишке Кошевому, чье человеческое ничтожество лишь подчеркивало неодолимость стихии, пылинкой которой он был. Нет, победителю в ином ранге и чине.

Сталин, который имел все основания считать себя воплощением силы, подчинившей эту стихию, объяснил в письме к драматургу-завистнику Биллю-Белоцерковскому, почему пьеса Булгакова “Дни Турбиных” при всей своей иде-

ологической чуждости создает “впечатление, благоприятное для большевиков”. “...Если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав свое дело окончательно проигранным, — значит, большевики непобедимы”.

Если даже такой человек, как Григорий Мелехов, “бросает оружие и борьбу”, значит...

Независимо от намерений Шолохова “Тихий Дон” вышел не за и не против, он выразил “жестоковейность” самой эпохи и силы, восторжествовавшей в ней. И в этом свете — как не понять (простить ли, уж это совсем другой разговор) душевный слом, происшедший с Шолоховым?

Да, душила официозная критика, обвинявшая в “белогвардейщине”. Да, подступали органы безопасности, состряпавшие дело об “организаторе контрреволюционного казачьего подполья” — и когда: в страшном 38-м! Но, возможно, главный страх был перед открывшейся самому писателю “жестоковейностью”, не оставлявшей выхода и надежд.

Открытие родило лучший роман о России начала XX столетия, и оно же сломало Шолохова-человека. Определило его драму, каковая — при всей уникальности и почти гротескности перерождения — все-таки только часть общей драмы советской литературы. Или литературы советского периода.

[2002, 30 сентября]

Безопасно голые короли постсоцреализма

Когда в издательстве Ad Marginem был обыск на предмет изъятия не гексогена, а сочинений Владимира Сорокина, мне позвонили с одного из телеканалов с просьбой на сей счет высказаться. Но что я мог из себя выдать? Разве что: мол, “Идущие вместе” и вульгарно потакающие им верха насильно принуждают меня сочувствовать тому, кому я не раз печатно высказывал свою неприязнь...

Впрочем, из всех аргументов, которыми меня подталкивали к состраданию, больше всего задело: “Понимаете, С.Б., что бы там ни было, но у Сорокина...”. В общем, сколько-то там детей. “...И он так испуган!..”

Признаюсь, это привело меня в некоторое замешательство.

С одной стороны, можно ли не сострадать тому, кто столкнулся с действием, не утратив-

шим для людей моего поколения зловещести: “обыск”?! Пусть даже ситуация все-таки фарсовая — или дотягивает до трагифарса? — настолько, что появилась версия, будто кто-то коварно подначил простодушных “Идущих” на их акцию ради рекламы Сорокину. (Не учитываем выдающейся роли глупости в развитии или, скорее, недоразвитости нашего общества.)

Тем более — так и вышло; сам я встречал в метро бедолаг, пытающихся погрузиться в текст “Пира” или “Голубого сала” и время от времени вздымающих скорбный взор: опять, значит, дураят нашего брата?

А с другой стороны, если Сорокин вправду “испуган” и помышляет, как сказывают, об эмиграции; если его собрат Виктор Ерофеев взывает аж к президенту России, ища у гаранта понимания и поддержки, — куда мне, имяреку, деться от собственного опыта? О, разумеется, весьма ограниченного, но...

Короче: не говорю о героических диссидентах, к коим не принадлежал, однако когда и мы, многие, подписывали письма протеста против очередных карательных мер затянувшейся брежневско-сусловской власти либо пробовали обмануть — случалось, обманывали — цензуру, мы как нечто заслуженно-неизбежное воспринимали и то, что за этим последует. В мягчайшем случае — положение “невыездного”, в более тяжком — попадание в “черные списки”, согласно которым тебя долгие годы не подпускают к издательствам. (Опять же не говорю о

судьбе избранных — о лагере Синявского и Даниэля, об изгнании Галича, Войновича, Владимира; повторяю, я — об опыте рядовом.)

Стоп! Уж не собрался ли жаловаться на собственную судьбу или, много хуже того, ею кичиться? Да Боже меня упаси! Понимаю: время другое. Мы, вернее они, — другие. Но ведь в том-то и дело!..

Тот же Сорокин — постмодернист? Может быть. А возможно, и нет, учитывая чрезвычайно условные причисления кого бы то ни было к постмодернизму, тем более домотканому. Но авангардист-то — точно?

Вот, полагаю, удачайшее из определений, которое блестящий филолог Максим Шапир дает авангардному искусству: “...Прагматика выходит на первый план. Главным становится действенность искусства — оно призвано поразить, растормошить, взбудоражить, вызвать активную реакцию...”. То есть, выходит, совершить то, к чему всегда и стремилась русская литература, от Достоевского до Солженицына? Но тут уточнение: “...реакцию человека со стороны. При этом желательно, чтобы реакция была немедленной, мгновенной, исключаящей долгое и сосредоточенное переживание эстетической формы и содержания”.

И дальше: “Нужно, чтобы реакция успевала возникнуть до их глубокого понимания, чтобы она этому постижению помешала... Непонимание органически входит в замысел авангардиста...”.

Оттого риторическим оказывается вопрос: кто наилучший оценщик авангарда — тот, кто понимает и принимает, или тот, кто не понимает и не принимает? Сочувственный искусствовед или обыватель? Ясное дело: второй. “Идеальный случай — скандал”, — говорит теоретик. Отрицательные эмоции сильнее положительных, девочка, укромно плачущая над переживаниями Наташи Ростовской, не сравнится в экстазе с девочкой из “Идущих”, с визгом бросающей в символический унитаз сорокинский опус, — что ж, так и должно, обязано быть. Авангард так авангард. Риск так риск.

Осторожно спросим себя: получается, бульдозеры, некогда запахавшие вернисажное поле и вошедшие в историю не меньше, чем экскаватор доблестного гегемона, который заявил, что, хоть не читал этого Пастернака (ударение, разумеется, на последнем слоге), но готов, будто лягушку, кинуть его в канаву ковшом своей землеройки, — эти бульдозеры были самой высокой оценкой создателям живописных полотен, рассердивших начальство? Получается — да. Можно — надо! — сочувствовать, негодовать, но авангарду нужен скандал. То есть успех.

Оттого, между прочим, он и столь притягателен. Критерии мастерства, выстраданные историей искусства, здесь недействительны или третьестепенны. Первостепенна реакция воспринимающих, в первую голову тех, кто “не понимает и не принимает”.

И если маньяк, полоснувший ножом по ре-

пинскому “Ивану Грозному” или плеснувший кислотой на “Данаю”, для Репина и Рембрандта — враг и вандал, то некто, кому взбрело бы в шальную башку разбить молотком “Фонтан” Марселя Дюшана, эту классику поп-арта (кто позабыл: на деле — обыкновеннейший писсуар), лишь утвердил бы авторитет вещи. К тому ж — что мешает воспроизвести ее, как, впрочем, и “Черный квадрат” Малевича? Не зря, как рассказывают, тот, задумав “Квадрат”, никого не пускал в мастерскую. И то верно: а ну как некто, подглядев, опередил бы изобретателя на день? Кто тогда считался бы одним из столпов авангардизма?

Так вот, возвращаясь к передрыге с Сорокиным: он, если не вместо, то прежде, чем напугаться, должен был испытать восторг. Ему удалось, пусть не без помощи посторонней глупости, достичь наивысшей цели, к которой стремится тот, кто причисляет себя к авангарду. Скандала! И как раз в соборном лице “Идущих” он обрел своего идеального читателя. Которого упорно заслуживал и заслужил.

Какой ценой? Это разговор отдельный.

Кого, собственно, во всей истории нашей литературы мы безоговорочно можем признать самым что ни на есть чистым авангардистом — даже, допустим, в самом гнезде советского авангарда, в ЛЕФе? Думаю, разве Крученыха. Что ж до главы этой группы, до Маяковского... Вновь благодарно паразитирую на высказываниях цитированного умницы-теоретика: “Аги-

тационное искусство, во-первых, добивается сочувствия и сомыслия, а во-вторых, хочет сообщить активности адресата вектор. (Аккурат позиция “Владим Владимыча”. — *Ст. Р.*) В отличие от него авангард просто “раздражает” обывателя, причем делает это попусту, бескорыстно, из любви к искусству... Настоящий авангардист бросает в воду камешки и созерцает образуемые ими круги”.

А наш Сорокин словно нарочно взялся подтвердить все это собственными декларациями: “Для меня нет принципиальной разницы между Джойсом и Шевцовым, между Набоковым и каким-нибудь жэковским объявлением”. И даже: “У меня нет общественных интересов. Мне все равно — застой или перестройка, тоталитаризм или демократия”.

Прекрасно. Но как быть с тем, кого не обойти, с “культовым”, “знаковым” Хармсом? Можно ль сказать, что и он будоражил обывателей — и их высший слой, советских чиновников, — “попусту”?

Александр Галич начал свою “Легенду о табаке”, посвященную памяти Хармса, строчками его стихотворения для детей: “Из дома вышел человек...” и переосмыслил невинное продолжение: “И с той поры, и с той поры, и с той поры исчез” в трагическом духе исчезновения самого Даниила Ивановича во тьме ГУЛАГа. Но вообще не стоит превращать словесность в подобие астрологии, даже если речь не о стишке-считалочке, а о концовке рассказа “Помеха”,

где эротическая прелюдия прерывается приходом “человека в черном пальто” в сопровождении “низших чинов” с винтовками и дворника, непременно при процедуре ареста. Хотя рассказ — 1940 года, а сам Хармс уже арестовывался в 31-м; в дневнике же 37-го сделал запись: “В ближайшее время мне грозит и произойдет полный крах”.

Так что и свою судьбу он, как ни кощунственно это звучит, тоже заслужил. Хотя все же прошу прощенья за “тоже”...

Впрочем, в одном смысле Хармс — действительно чистый авангардист. В смысле одноразовости — не воздействия на читателя, иначе бы не стал литературным долгожителем, но отсутствия традиции. Как воспринятой, так и оставленной после себя, так что следовать ему бессмысленно. Как подражать Малевичу — и чем это легче, тем бессмысленнее.

Тем не менее...

“Сенька стукнул Федьку по морде и спрятался под комод. / Федька достал кочергой Сеньку из-под комода и оторвал ему правое ухо. / Сенька вывернулся из рук Федьки и с оторванным ухом в руках побежал к соседям. / Но Федька достал Сеньку и двинул его сахарницей по голове...”. И т.д. Естественно, Хармс.

Вот, чтоб не ходить далеко, снова Сорокин: “Один из мальчиков бросил удочку, подпрыгнул и, совершив в воздухе сложное движение, упал на землю. Двое других подбежали к нему, подняли на вытянутых руках, свистнули. Мальчика

вырвало на голову другого мальчика. По телу другого мальчика прошла судорога, он ударил в живот третьего мальчика. Третий мальчик...". Опять-таки — и т.д.

Где цена, там расплата. Конечно, того, чем заплатил Хармс — заплатил за полную адекватность своей личности (и вышло — судьбы) своему творчеству, — смертный грех желать кому бы то ни было. Но не хождением ли по краю, не постоянно ли и отважно сознаваемым риском как раз и была достигнута неповторимость его творчества?

Когда, в перестройку, группа голых “авангардистов” (без кавычек не обойтись) прошествовала по Арбату, смущая разве что нищих старушек, подумалось: им бы проделать это при Брежневе! Когда “художник”, прежде чем испортить полотно того же Малевича, консультируется, в какой из стран ему это обойдется наказанием минимальным, и выбирает снисходительную Бельгию или, не помню, Голландию, а не Штаты, суровые к шалостям этого рода, подобное не просто дезавуирует дерзость, сводя ее к мелкой пакости.

Компрометируется сам по себе авангард, утрачивающий способность всерьез взбудоражить общественное мнение, — ежели не считать возмущение помянутых арбатских старушек, хладнокровно-профессиональную реакцию полиции и труд реставраторов.

Одно утешение: компрометируется не более, чем соцреализм Бабаевского — Бубенно-

ва компрометировал Толстого и Достоевского. Но аналогия — неслучайна.

Само по себе слово “вторичность” никак не годится на роль упрека, тем паче элементарного. “Вторичность” — сознательный выбор, принцип, притом целого направления, ибо среди неперменных черт постмодернизма — и “нарочитая эклектика”, и “обилие цитат как подлинных, так и мнимых”. Вот и Сорокин вторичен принципиально, откровенно, как откровенен главный объект, выбранный для воспроизводства: “Я с большим интересом читаю литературу советского периода — от идеологической, такой, как “Краткий курс истории ВКП(б)”, до художественной, где послевоенный сталинский роман представлен, надо сказать, просто потрясающе”.

Это общеизвестно. Как и то, что, конечно, не только читает, но имитирует, будучи в этом последователен до... Решусь сказать, опять-таки не хуля, но лишь констатируя: до самоуничтожения. Стоит сравнить давний роман “Очередь”, это диалогическое многоголосье, где ни словечка “от автора”, но где он ощутимо присутствует — с насмешкой, с иронией, однако и с увлеченным подслушиванием живых голосов жизни, — сравнить с последовательно, повторяю, обезличивающейся поздней прозой.

В чем подобна Сорокину и иная “знаковая” фигура постмодернизма (концептуализма, соц-арта — в адресности определений путаются и завзятые теоретики). Понятно, Пригов.

“На прудах на Патриарших / Пробежало мое детство / А теперь куда мне деться / Когда стал я много старше / На какие на пруды, / На какие смутны воды / Ах, неужто у природы / Нету для меня воды”. При своей олейниковско-глазковской дурашливости это мечено и лирической грустью, но затем возникало и возникло... Да то самое, к чему в свое время двинулись было, но удержались от края “эстрадные” поэты 60-х, которые усваивали, однако все же недоусвоили актерское сознание взамен поэтически-первородного. То есть неизбежную для актеров зависимость от непосредственной реакции публики.

Но вот декларация Пригова: “Я не поэт, я — артист!”, и артистизм таков (свидетельствует очевидец, критик Павел Басинский): “В Смоленске, в старинном, XVIII века здании городской филармонии... на сцене Дмитрий Александрович Пригов блял козлом, напрягая мощные голосовые связки. Старушки — работницы этого дома, “гордости Смоленска”, — смотрели на артиста с мистическим страхом”¹.

Как старушки Арбата на голое шествие?..

“Пригов реконструирует сознание, которое стоит за окружающими нас коллективно-безличными, исключаяющими авторство текстами...” (Андрей Зорин). Полно, точно ли так?

Здесь, думаю, нет и попытки в самом деле проникнуть в подлинное сознание, трагически изувеченное обезличкой. Скажем, самый изве-

1 Виноват, повторяюсь — но пример стоит того.

стный из приговских персонажей, Милицанер, ничего общего не имеет с реальным народно-советским сознанием, родившим фольклор с “ментами” и “мусорами”. “Когда же он, Милицанер, / В свободный день с утра проснется, / То в поле выйдет и цветка / Он ласково крылом коснется”, — это из Сергея Михалкова, который испортил своего первого, беспартийного Дядю Степу льстиво-функциональным переодеванием в милицейскую форму. Дело то есть внутрилитературное, тусовочное и, как у Сорокина, не выходящее из замкнутых пределов литературы соцреализма.

Именно так!

Было замечено: наш потомок, взявшись читать нынешний постмодернистский текст, вынужден будет, чтобы понять, о чем в нем речь, обложиться подшивками газеты “Правда” и томами “сталинских романов”. Это, положим, шутка. Однако серьезно то, что, опираясь исключительно на “вторую реальность”, созданную соцреализмом, и устранившись от нравственной оценки ее самой и того, что она выражала (что Джойс, что погромщик Шевцов — один черт), доморощенный наш постмодернизм продолжает жизнь, как казалось, безвозвратно умершей истинно советской, коммунистической литературы. Воспроизводит, стало быть, и саму по себе тупиковость ее этически-эстетической системы. Отчего из всех терминов, определяющих вышеописанное явление, я предпочел бы: постсоцреализм.

К тому ж любопытно, что это воспроизводство, как обычно, с особой наглядностью проявляется на поверхности. В литературном быту. Когда сам Союз советских писателей с его культом единого коллектива как распределителя лавров и определителя критериев успешнейшим образом замещается тем, что получило хлесткое имя “тусовка”.

В чем различие — или сходство — коллектива и тусовки?

Первый — это уверенность, что режим, которому ты присягнул, вечен. Вторая — нервное опасение не уловить момента. Венец коллектива — парт- или профсобрание, где само неприсутствие — вызов единодушию (отчего, конечно, не героическими, однако и не смешными бывали уловки тех, кто не пришел на судилище над Пастернаком или подобную акцию).

Венец тусовки — пресловутая презентация, хотя тут как раз проступает и общность: та же стадность, тот же страх, что в следующий раз не позовут, не назовут, не запечатлеют.

Но пуще того. Коллектив — во всяком случае, говоря об области творчества — был фантомом, от имени коего вещало начальство, как его единогласие было фантомной имитацией единомыслия. Стадо, подгоняемое кнутом, — да, но никак не воплощение коллективного разума. Стадо, где оный кнут больно бил по отстающим и вовсе до смерти забивал чужаков (таких, как Хармс).

Самоорганизующаяся тусовка сделала то, что было не под силу властям: разум стал действи-

тельно коллективным. Возник и обезличенно-обобществленный стиль (или стеб). Обнаружилась общая боязнь быть уличенным, допустим, в старомодности вкусов. Утвердился, и опять же в общем сознании, тип литератора, убежденного в бескровности своей профессии, в том, что словесность — занятие ничуть не серьезнее распиития “Клинского”¹. И безмерно, вплоть до паники, поражающегося, когда его бесстрашный “авангардизм” напарывается на то, на что он и должен напарываться. На скандал. Настоящий, не в домашних пределах тусовки.

А все же в одном-единственном случае лично я с Сорокиным полностью солидарен. Говорю о письме, по слухам, весьма резком, в котором он, несмотря на свою многодетность, отказался получать тысячу баксов за включение в шорт-лист “Букера”. Куда был, как известно, включен с оговоркой, что, хоть книга его жюри не по вкусу, но... Снисходя... Сострадая... В знак защиты свободы слова...

Вот тут Сорокин трижды, четырежды прав. Мало того что такая “гуманитарка” для литератора унизительна, но столь явно поступаться художественным критерием — право, что-то тут есть от предательства. От цинизма.

[2002, 23 декабря]

1 Пиво, в свое (его) время рекламировавшееся с особым напором.

Культ, которому не нужна личность

Недавно ТВ показало фильм Ивана Дыховичного “Копейка”, предварив показ эпитетом “культовый”. С чего бы, казалось? И, честное слово, дело вовсе не в том, что лично я, протосковав минут двадцать, если не меньше, выключил телевизор, — мало ли что мне, имяреку, не нравится даже из общепризнанного, но задел сам эпитет. Заставил — не стану врать, не впервые, однако уж случай-то больно наглядный — задуматься: а почему, собственно, “культовый”? Когда успел этот “культ” образоваться? И каким таким образом, ежели сам режиссер сетует в интервью: “В Москве “Копейку” показали только в “Ролане”, “Пяти звездах”, малом зале Киноцентра и в Доме Ханжонкова”?

Да если б она прошла и по всем кинотеатрам сплошь! “Культовый” фильм, по скромным моим понятиям, это “Чапаев”, “Белое солнце пус-

тыни”, “Бриллиантовая рука”... Не ниже по популярности. Конечно, и “Зеркало” Тарковского, даром что тут круг “культивирующих” иной, много поуже. И т.п.

Начав размышлять, уже трудновато попридержать этот процесс. Потому — дальше. Сам-то Иван Дыховичный, сообщающий в том же интервью, что “на Западе русское кино было популярно, только когда проникало туда в виде андеграунда: Тарковский, Параджанов, ну и мы с Сокуровым попали в эту компанию”, сам он когда успел заработать роль классика андеграунда? (Ибо компания, как говорится, неслабая, хоть и составлена по принципу: “Мы с Тamarой ходим парой”.) Старательно припоминаю: “Черный монах” — фильм слабый и сразу забытый, несмотря на попытку поднять вокруг него шум. “Прорва” — по-моему, тоже весьма неважно, начиная с бестолкового сценария: впрочем, добросовестно отмечу, с достоинствами. “Музыка для декабря” — ну это провал всеочевидный, даже если создатель того не признает. Наконец, “реал-сериал” “Деньги” — и во все черт знает что, поспешно прекращенное теленачалством, каковое — это и с ним случается — тут не ошиблось.

А сама фигура, выходит, ни много ни мало именно культовая!

В сторону — хотя, может, и не совсем — говоря, у нас вообще “культовыми” режиссерами или писателями стали почитать неутомимых говорунов, по ходу дела, вернее речи, убеждаю-

щих нас да, возможно, и самих себя в собственной состоятельности. Еще пример — Александр Адабашьян, бывший “вторым номером” при Никите Михалкове, умно (без иронии) говорящий по телевидению и самого Б. Акунина убедивший, что он, и только он, должен стать режиссером его первой экранизации. Результат — общенагleden: стоит вспомнить финал, оторванную ручку фандоринской возлюбленной, посмертно-кокетливо дрыгающую пальчиком.

Хочу ли сказать, что и Дыховичный, и Адабашьян суть фигуры фантомные? Да ни боже мой! Это сугубо реальные люди с сугубо реальными достоинствами, как, впрочем, с границами своих возможностей, но они обретают фантомность, едва начинают восприниматься — нами, а затем, вероятно, и самими собой, хотя поди разбери, что тут первично и что вторично, — вот именно “культовыми”.

Не стану прикидываться: умный, по-своему интересный человек, что, между прочим, дало ему возможность быть совсем недурным телеведущим, — словом, Иван Дыховичный, с моей точки зрения, режиссер совершенно никакой. (Ошибаюсь? Очень может быть — и по зрительскому эгоизму немедля обрадуюсь, как только он докажет обратное.) Но беда “культивирования” шире, тотальнее имиджевой проблемы тех, кто может — небезосновательно — быть заподозрен в фантомности.

И тут — ох! — вступаю в область донельзя щекотливую.

Кто осмелится утверждать, будто Олег Меньшиков — не актер поистине замечательный, притом (существенная оговорка, чью существенность авось осознаем чуть позже) почти неограниченных возможностей? Никто! Но...

Вот весьма и весьма одаренный кино- и театральный критик Татьяна Москвина (кстати: в аннотации, сопровождающей сборник ее статей, как нарочно, также возведенная в ранг “культовых фигур”) сообщает: “Меньшиков для меня — пришелец из другой Галактики... На сегодняшний день нет у нас звезды более крупной и очевидной”. Ради чего унижается, косвенно или даже напрямую, Евгений Миронов: “...Актерские “МММ” — Меньшиков, Машков, Маковецкий — и примкнувший к ним Е. Миронов”... Оценили дамский сарказм? Есть ли в советской мифологии что-либо более уничижительное, “маргинальное”, выражаясь понынешнему, чем это “примкнувший”, напоминающее о злосчастном Шепилове, то ли оппозиционере, то ли не совсем, — в общем, ни то ни се? А вот и прямее: “Гамлет поручен Евгению Миронову. Способный и милый тридцатидвухлетний юноша, на которого ирония судьбы взвалила миссию исполняющего обязанности великого актера, но который им не является...”

“Способный и милый... ирония судьбы...” (Понимай: она, а не свыше данный талант и прочие, более рукотворные достоинства, вкуче позволившие Миронову потрясающе сыграть князя Мышкина.) Плюс уж совсем издеватель-

ское: юноша тридцати с лишним лет! Короче, “исполняющий обязанности”, заменитель, эрзац, инфантил. Более прямодушный критик рубанул бы просто: “г...”.

К чему все это пишу? Чтобы обидеться за Миронова? Или, не дай Бог, усомниться в выдающемся даровании Меньшикова? Чур меня, чур! Вот в чем, однако же, закавыка. Вот в чем опасность — о да! — означенного “культивирования”; продолжаю высказываться со всей осторожностью.

Зоя Ерошок в статье-некрологе о Елизавете Даль, вдове Олега, рассказывает действительно трогательную историю: как Меньшиков, с ее мужем даже и не состоявший в знакомстве, однажды под Новый год пришел к ней — с цветами, подарками, выпивкой и едой. “Сидел долго. (Мобильник выключил.) Говорил. Слушал. Был очень смущен... Потом приглашал на свои премьеры”.

И дальше:

“Лиза сказала мне: “Знаешь, когда я призналась в этом Мише Козакову, Миша мне не поверил. Я, говорит, Меньшикова очень люблю, но он из тех, кто сохраняет прохладность. У него — пресс-секретари, референты, обслуга. Невозможно дозвониться. Он всегда далеко, высоко”.

(К слову, возможно, не совсем лишнему: как нарочно, роясь — с определенной целью — в письмах, которые за долгие годы нашей дружбы писал мне Михаил Козаков, наткнулся на его радость той поры, когда он готовился ста-

вить “Покровские ворота”: “Мальчик был. Есть. Надеюсь, состоится. Олег Меньшиков, окончивший студию Малого театра и принятый туда. Интеллигентный, умный, с юмором! Понравился всем и даже Зорину...”. Правда, моя-то память не нуждалась в этой подсказке, отчего я некоторое время назад был несколько удручен, когда Меньшиков, перечисляя режиссеров, коим обязан, и, разумеется, справедливо не забыв Михалкова, как-то упустил возможность благодарно вспомнить и Козакова.)

Итак, зачем же об этом пишу и чего всерьез опасаться? Да поставлю вопрос прямее и резче: почему будущее Миронова кажется мне... Выразусь так: более внутренне обеспеченным? Не оттого ли, что, не будучи с ним знаком, люблюсь им не только в ролях, которые не все мне и нравятся, но, допустим, в телеинтервью, отличающихся (что в данном случае по-особому важно) серьезностью и открытостью (не сглазить бы)?

А Меньшиков, сам себя превративший в “культовую” фигуру, — сознает ли (должен бы сознавать, ибо умен), чем рискует, находясь “далеко, высоко”, в надменной надмирности, когда и естественный порыв человеческой благодарности любимому артисту Далю воспринимается как нечто сверхординарное?

И — неизбежно коварные соображения: а что, собственно, такого сыграл Олег Меньшиков, чтоб заслужить... См. панегирики Москвиной.

Успокоимся: немало сыграл. И панегирики заслужил. Перечислим: прелестная роль в тех же “Покровских...”, великолепная — в “Утомленных солнцем” (только не в “Сибирском цирюльнике”), сильная — в “Кавказском пленнике”... И еще, и еще. В театре — тут сложнее, что, скорее всего, свидетельствует о моей недостаточной осведомленности. Калигула в спектакле Петра Фоменко? Да... Наверное... Не знаю... Говорят, получился блистательный Демон. Что до спектаклей, поставленных им самим, — тут и Москвина безапелляционна до жестокости: дескать, “пропадает в собственной режиссерской беспомощности и эстетической бесформенности”. Впрочем, критика в этом смысле практически единодушна, при этом — вот странность, или, вернее, закономерность — ничуть не оспаривая пресловутую “культовость”.

В общем (сколько же повторять?), не подвергая сомнению значительность и ресурсы таланта, спросим самих себя: так ли и то ли к сорокато с лишним годам сыграли артисты истинно великие — Качалов, Михаил Чехов, Москвин, Леонидов и, ближе к нам, Смоктуновский, Ефремов, Евстигнеев, Леонов?..

Что все это означает? Что мы — да-да, не актеры, не режиссеры, не поэты, а мы с вами, дорогие мои, — мельчаем в наших критериях. А понизившиеся критерии, в свою очередь, сбивают с толку их — режиссеров, актеров, поэтов. Так что остроумно-едкий Сергей Юрский не слишком даже и преувеличивает, в сущнос-

ти, воспроизводя вошедшие в обиход формулировки: “А теперь я приглашаю на сцену великого артиста такого-то”. Или: “Сегодня у нас в гостях секс-символ такой-то”. А то еще: “Такой-то такой-то нигде не учился, никогда не хотел стать певцом или артистом и выступает всего пару недель, но уже УСПЕЛ СТАТЬ КУЛЬТОВОЙ ФИГУРОЙ”.

Остричь в самом деле необязательно, когда в сущей реальности, например в телепередаче “Земля — воздух”, вдруг узнаю, что юный Леонид Агутин напоминал маленького Моцарта, ныне же он — “честь и совесть нашей попсы”. Шутка? Да как сказать.

...Подытожим со скорбью?

Культ личности, некогда связывавшийся с одной-единственной, с Отцом Народов, с Гением Всех Времен, — дело прошлое, так что и сами попытки реабилитации-реанимации этого прошлого уже смешны. Даже когда страшноваты (“Сталин, Берия, ГУЛАГ!” — этот клич сторонников новомученика Лимонова все же мало похож на детскую шалость). Но мы-то остались! Мы-то, сами того не сознавая и чаще всего с негодованием отпираясь, генетически тоскуем по культу... Кого? Чего? Это уже неважно.

Словом, лепим кумирчиков — как я пробовал доказать, тем самым сбивая с толку и портя тех, кого возвышаем, — не затем ли, чтобы после в порыве самоутверждения разбить их в прах? А это попросту неизбежно, ибо чрезмер-

ность восхваления не может не обернуться
чрезмерностью разочарования.

Все это — не в первый раз:

...Ты болван наших рук.

Мы склеили тебя

И на тысячи штук

Разобьем, разлюбя!

Это из давнего-давнего времени, про императора Николая I, но как гениально проговорился поэт Александр Полежаев: “Мы склеили...”. Мы, а не кто другой. Очень по-нашенски.

[2003, 16 июня]

Право на шепот

“Вот стою я перед вами, в массу разжалованный человек, и хочу говорить со своей революцией”...

Позволим себе невинную вольность. Попробуем предложить варианты: “с перестройкой”, “с демократией”, “с рыночной экономикой” — то есть, понятно, с тем, что принято так называть.

“Что ты хочешь? Чего я не отдал тебе, революция, правую руку свою — и она голосует теперь против меня. Что же ты мне дала за это, революция? Ничего. А другим? Посмотрите в соседние улицы — вон она им какое приданое принесла. Почему же меня обделили, товарищи?.. А прошу я немного. Все строительство ваше, все достижения, мировые пожары, завоевания, все оставьте себе. Мне же дайте, товарищи, только тихую жизнь и приличное жалованье”.

И дальше:

“Разве мы делаем что-нибудь против революции?.. (“Демократии”, “гласности”, “перестройки”. — *Ст. Р.*) Мы только ходим друг к другу в гости и говорим, что нам трудно жить. Потому что нам тогда легче жить. Ради Бога, не отнимайте у нас последнего средства к существованию, разрешите нам говорить, что нам трудно жить. Ну хотя бы вот так, шепотом: “нам трудно жить”. Товарищи, я прошу вас от имени миллиона людей: дайте нам право на шепот. Вы за стройкой даже его не услышите. Уверяю вас”.

Не задаю бессмысленного вопроса: мог ли Сталин разрешить к постановке пьесу (заодно не расправившись с ее автором: учитывая конец 20-х, еще сравнительно милосердно), где прозвучал такой монолог? Другое меня занимает. Почему, запретивши и Мейерхольду, и Станиславскому ставить комедию Николая Эрдмана “Самоубийца” — полагаю, самую лучшую из комедий за весь советский период! — он, совсем не лишенный художественного чутья, испытал к ней хоть и враждебное, однако презрение? Притом в отличие от самого по себе запрета весьма нелогичное: “пустовата и даже вредна” (в письме к Станиславскому). Все-таки — пустовата или вредна?

То ли дело Булгаков, запрещавшийся раз за разом, но вызывавший у вождя патологический интерес (смотрел “Турбиных” не меньше пятнадцати раз!) и своеобразное уважение. И словно бы как раз в пик Эрдману. Так, в оче-

редной раз небрежно отозвавшись о “Самоубийце”, Сталин заметит, что не в пример пустоватой эрдмановской сатире Булгаков здорово пробирает. “Против шерсти берет”. С чего это так симпатичен гребень — не гладящий, а дерущий шерсть?

То есть и о Булгакове можно было отозваться уничижительно: “На безрыбье даже “Дни Турбиных” рыба”. Впрочем, тут же добавив: пьеса, мол, “не так уж плоха, ибо она дает больше пользы, чем вреда. Не забудьте, что основное впечатление, остающееся у зрителя от этой пьесы, есть впечатление, благоприятное для большевиков: если даже...”.

Прервем и эту цитату, заметив: уж здесь-то “даже” — совсем иное, чем в уничижительном замечании о безрыбье и тем паче в процеженном сквозь губу отвращении к Эрмману. Это “даже” — почтительное!

“...Если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав свое дело окончательно проигранным, — значит, большевики непобедимы”.

Что Сталин относился к словесности и истории вполне прагматически, общеизвестно. Та и другая были обязаны подтверждать правильность его тактики и стратегии, обосновывать очередное злодейство, придавать основательность капризу. А все ж не отвязаться от ощущения, что в случае с “Турбинами” вождь — благодарный, талантливый, чуткий зритель, познающий эстетическое наслаждение.

И как иначе? Приятно в первый, второй, пятый, пятнадцатый раз следить за обаянием Мышлаевского-Добронравова, после и Топоркова, сыгравшего ту же роль, за юной легкостью Николки — Кудрявцева, за офицерской статью Алексея — Хмелева. “Мне даже снятся ваши черные усики, — признается вождь артисту. — Забыть не могу”.

Черные усики, белая кость... “Даже такие люди, как Турбины...”. Вот это “даже” и тянуло Сталина на спектакль — снова и снова; тянул жадный интерес плебея, сознающего, что плебей, к людям, которых он сумел победить, но никогда не сумеет стать таким, как они.

Да, в странной сталинской тяге к вечно опальному Булгакову — почтительность. И — страх. Не перед самим автором, чья смертная плоть беспомощна рядом со средствами, которыми отлично владели Ягода или Ежов, и чей дух, как позже покажет пьеса “Батум”, можно сломить или подломить. Нет, перед недоступной и непонятной породой людей, представленной Турбинами и самим Булгаковым.

С Эрдманом все было иначе.

Плебей Джугашвили понимал плебея Семена Семеновича Подсекальниковца, смешного, жалкого и опасного, притом опасного даже еще до того момента, когда он поднимется до великого монолога, который соборным хором могла бы произнести вся русская литература, озабоченная сочувствием к “маленькому человеку”. Понимал его породу. Его природу. И чем более по-

нимал, тем более презирал в нем плебейство, то, которое с неудовольствием ощущал и в себе самом (смотря “Турбиных”, ощущал по контрасту).

Как Николай I не мог простить Евгению из “Медного всадника” его “Ужо!..”, обращенное к истукану Петра (что, как известно, стало одной из причин запрета, наложенного на поэму), так мольба Семена Семеновича о “праве на шепот” должна была привести в раздражение Сталина...

Нет, не так — много больше! Божий помазанник Николай Павлович всего лишь был оскорблен за прашура. Выскочка-семинарист, сам поднявшийся из низов, знал, к чему ведет и приводит низменная потребность обывателя, — будь то право на шепот или на сытость. На какую-никакую, но форму независимости. Свободы от постоянного чувства страха или благодарности.

Странность судьбы самого Николая Робертовича Эрдмана и феноменальность его “Самоубийцы” — тут я слегка забегаю вперед — в следующем: он и сам не подозревал, что признаёт за подсекальниками то самое право... Священное? Лучше без пафоса: естественное. Насущно необходимое человеку.

Не подозревал, даже берясь за “Самоубийцу”.

Звучит до оскомины банально, но двадцатичетырехлетний Николай Эрдман проснулся знаменитым утром 20 апреля 1925 года, когда с акушерской помощью Мейерхольда родился

спектакль “Мандат” — по пьесе, как водилось тогда, отчаянно антимещанской. В духе строки Маяковского: “Страшнее Врангеля обывательский быт!”.

То есть и там было обо что уколотся бдительному цензору: к примеру, когда главный герой, Гулячкин, в чьей роли впервые прославился Эраст Гарин, выражал опасение, вознамерившись вступить в партию большевиков: “А вдруг, мамаша, меня не примут?”. На что родительница отвечала: “Ну что ты, Павлуша, туда всякую шваль принимают”.

Смешного — много. Главное, что гениальный.

Эрдман стал — стал! — гением в “Самоубийце”.

Вот уникальный случай, когда в пределах одного произведения происходит не просто пере рождение первоначального замысла, то есть дело обычное, как правило, запечатленное на уровне черновиков. В “Самоубийце” прозревает, растет сам Эрдман. Он постепенно и явно неожиданно для себя совершает восхождение на принципиально иной уровень отношений с действительностью.

Откуда, из каких низин начинается восхождение?

Подсекальников, безработный обыватель, в начале комедии — всего лишь истерик, зануда, из-за куска ливерной колбасы выматывающий из жены душу. Он — ничтожество, почти настаивающее на своем ничтожестве. И когда в пьесе возникает идея — как бы — самоубий-

ства, она именно “как бы”: она фарсово помешалась перепуганной супруге.

Да и фарс-то — фи! — грубоват. Не пошло-ват ли?

Семен Семенович тайком отправляется на кухню за вожделенной колбасой, а его ошибочно стерегут у запертой двери коммунальной уборной, опасаясь, что он там застрелится, и тревожно прислушиваясь к звукам — фи, фи и еще раз фи! — совсем иного характера.

Даже когда все повернется куда драматичнее, когда затюканный мещанин допустит всамделишную возможность ухода в иной мир, балаган не закончится. Разве что балаганный смех будет переадресован. Пойдет огульное осмеяние тех, кто решил заработать на смерти Подсекальниковых, — так называемых бывших.

Поп. Мясник-черносотенец. “Гнилой интеллигент”. И т.п. Нельзя сказать, будто каждый из них сошел с агитплакатов РОСТА, но близко к тому. Как в “Мандате”, текст колет, однако не насмерть. Сама колкость — вроде щекотки.

То есть опять же встречаем — и постоянно — нечто наподобие притчи о курице, которой подложили утиные яйца. О том, как утята, вылупившись и заматерев, потащили ее к реке:

“Я ваша мама, — вскричала курица, — я сидела на вас. Что вы делаете?”. “Плыви”, — заревели утки. Понимаете аллегорию?

— Чтой-то нет.

— Кто, по-вашему, эта курица? Это наша интеллигенция. Кто, по-вашему, эти яйца? Яйца

эти — пролетариат. Много лет просидела интеллигенция на пролетариате... Все высиживала, высиживала, наконец высидела. Пролетарии вылупились из яиц. Ухватили интеллигенцию и потащили к реке. “Я ваша мама, — вскричала интеллигенция. — Я сидела на вас...” — “Плыви...” — “Я не плаваю”. — “Ну лети”. “Разве курица — птица?” — спросила интеллигенция. “Ну сиди”. И действительно посадили”.

... Пофантазируем. Если бы цензор — не высочайший, не Сталин, не ставший размениваться на мелочи, а рядовой — ткнул пальцем именно в это место, что мог бы ответить Эрдман? Возможно, предугадал бы рецепт, который много позже даст Василию Гроссману Леонид Леонов?

К.И. Чуковский рассказал, что тот укорял Гроссмана, на ту пору автора разруганной пьесы, в неопытности. Дескать, надо свои заветные мысли вкладывать в уста отрицательного персонажа. Если станут к ним придирааться, всегда можно парировать: да это ж не я сам говорю, а мерзавец и идиот! Выходит, что и Эрдман, еще не дожив до своих тридцати лет и до эпохи откровеннейшего цинизма, уже усвоил правила новой литературы? Ее принцип двойного существования?

Дело не в этом. Просто Эрдману, соратнику революционера Мейерхольда и поклоннику революционера Маяковского, в голову бы не пришло нагружать притчу смыслом, который

вложил в собственную голову прямой антисоветчик Булгаков, враждебный обоим эрдмановским кумирам. (Разумеется, речь о “Роковых яйцах”, где на свет вылупливаются отнюдь не утки, а гады.) В “Самоубийце” Эрдмана сам интеллигентский протест спародирован, снижен, опошлен тем, в чьи уста — совсем по-леоновски — вложен: своекорыстных людей, жаждущих спекулировать на чужой смерти.

И вот парадокс — или, напротив, закономерность?

Когда в начале 80-х Сергей Михалков — кстати, ничуть не смущаясь тем, что, по рассказу соавтора Николая Робертовича Михаила Вольпина, в смертный час великого драматурга пожалел своей секретарской подписи на формальной бумажке, удостоверяющей право Эрдмана умереть на уже предоставленной ему казенной койке (“Я-я н-ничего н-не могу для н-него сделать. Я не диспетчер, ты понимаешь, я даже Веру Инбер с трудом устроил... А Эрдмана я не могу”), — итак, когда он, Михалков, решится поставить свое имя рядом с именем автора “Самоубийцы” и “оцензурить” комедию для сцены брежневского СССР, произойдет следующее. В согласии с собственной идеологией Сергей Владимирович превратит персонажа комедии, писателя, в диссидента — то бишь словно бы сделает Николая Робертовича своим союзником в борьбе с “отщепенцем” ли Пастернаком, с “власовцем” ли Солженицыным.

Это возмутит Юрия Любимова, друга Эрдмана, знающего эволюцию его взглядов, и возмущение будет справедливым как с эстетической, так и с моральной позиции. Но, как ни противно, а логика в том, куда и кому адресовал Михалков эрдмановскую насмешку, была. Ведь и в пору создания “Самоубийцы” уже откочевал из России “философский пароход”, и ленинское словцо об интеллигенции как не о мозге, а о г... нации было усвоено его последователями...

Но как бы то ни было, повторю, высочайший цензор, не входивший в такие детали, знал, что делал.

Мало того что рос — и вырос до трагического монолога — Подсекальников, ничтожнейший из ничтожных, заявивший власти свои права, которых она признать по природе своей не хотела и не могла.

Сам авторский смех преобразился в смех побежденного, вернее, побежденных, осознающих трагизм бытия, но сохраняющих свободу смеяться.

“Отказ героя от самоубийства... переосмыслился, — сказала о пьесе “Самоубийца”, назвав ее гениальной, Надежда Яковлевна Мандельштам. — Жизнь отвратительна и непереносима, но надо жить, потому что жизнь есть жизнь... Сознательно ли Эрдман дал такое звучание, или его цели были попроще? Не знаю. Думаю, что в первоначальный — антиинтеллигентский или антиобывательский — замысел прорвалась тема человечности. Это пьеса о том,

почему мы остались жить, хотя все толкало нас на самоубийство”.

Но в самой пьесе жить остаются не все.

В ее тексте (но не на сцене — чтобы сильнее, неожиданнее был финальный удар?) поминается некий Федя Питунин: “Замечательный тип. Положительный тип. Но с какой-то грустнотой, товарищи. Надо будет в него червячка заронить. Одного червячка. А вы слышали, как червячки размножаются?”.

И вот в тот самый момент, когда уже, кажется, невозможно взять нотою выше вопля, изданного Подсекальниковым, нота будет взята: “— Федя Питунин застрелился... И оставил записку. — Какую записку? — “Подсекальников прав. Действительно жить не стоит”.

Занавес.

Невероятная пьеса ухитрилась проделать такой путь: сперва — водевиль с потным запахом балагана, затем — трагифарс, а в финале — трагедия. Вполне созвучная, скажем, самоубийству Есенина с его прощальным: “...В этой жизни умирать не ново, / Но и жить, конечно, не новей”. Значит, не стоит? В некотором смысле — слава Богу, не физическом, не буквальном — так решил и сам Эрдман.

Сергей Юрский вспоминает, как познакомился с ним в Таллине, куда был приглашен на кинопробу. Николай Робертович “сидел в пижаме в гостиной своего номера и неспешно открывал бутылку коньяка. Было девять часов утра.

Эрдман сказал:

— ...Мы сейчас выпьем за ваш приезд.

— Спасибо большое, но у меня проба в двенадцать, — чинно сказал я.

— У вас не будет пробы. Вам не надо в этом фильме сниматься. ...Сценарий плохой.

У меня глаза полезли на лоб от удивления.

— Я, видите ли, знал вашего отца. Он был очень порядочным человеком по отношению ко мне. Вот и я хочу оказаться порядочным по отношению к вам... Сценарий я знаю — я его сам написал. Вам возьмут обратный билет на вечер, сейчас мы выпьем коньячку, а потом я вас познакомлю с некоторыми ресторанами этого замечательного города”.

История обаятельная. На редкость. И на редкость же страшная...

Как все произошло?

Не тронув Булгакова, разрешив ему умереть собственной смертью, Эрдмана Сталин решил наказать. И наказал по-плебейски, выбрав как повод пьяную оплошность артиста Качалова: тот на правительственном банкете вздумал позабавить хозяев, точнее Хозяина, шутейно-неподцензурными баснями, которые Эрдман сочинял вместе с Владимиром Массом. Политически, в общем, невинными, ибо сравнительно знаменитое: “Явилось ГПУ к Эзопу — / И хватъ его за ж... / Смысл этой басни ясен: / Довольно басен!”, скорее всего, отразило свершившееся.

Как бы то ни было, Качалов был оборван хозяйским окриком: “Кто автор этих хулиганских

стихов?” — и повода хватило, дабы Эрдмана с Массом взяли в 1933 году в Гаграх, на съемках “Веселых ребят”, ставящихся по их сценарию.

Фильм вышел без имен сценаристов, как и “Волга-Волга”, к которой Эрдман приложил руку. К нему, ссыльному (цитирую воспоминания Вениамина Смехова), приехал объясняться режиссер Александров. “И он говорит: “Понимаешь, Коля, наш с тобой фильм становится любимой комедией вождя. И ты сам понимаешь, что будет гораздо лучше для тебя, если там не будет твоей фамилии. Понимаешь?”. И я сказал, что понимаю...”.

Что дальше? Ссылка, вначале — классическая, сибирская, в Енисейск, что дало Эрдману печально-веселое основание подписывать письма к матери: “Твой Мамин-Сибиряк”. Война, мобилизация. Участие в отступлении — с ногой, которой всерьез угрожали гангрена и ампутация. Нежданная встреча в Саратове с эвакуированными мхатовцами, спасшими Николаю Робертовичу ногу и, видимо, жизнь. И уж вовсе внезапный вызов в Москву, к тому же в ансамбль песни и пляски НКВД, под непосредственный патронаж Берии, где были на зависть всем наипрочим собраны Шостакович, Юткевич, Рубен Симонов, Асаф Мессерер, Касьян Голейзовский, Исаак Дунаевский и т. п., вплоть до того же молодого Любимова.

Есть байка, как Эрдман, увидав себя в зеркале облаченным в шинель чекиста, сострил: “Мне кажется, что за мною опять пришли”.

Наконец, даже Сталинская премия за патристический вестерн “Смелые люди”. И — поденщина, поденщина, поденщина. Бесчисленные мультфильмы, либретто правительственных концертов и оперетт, “Цирк на льду” — все с отчетливым пониманием уровня делаемого. “Сценарий плохой... Я его сам написал”.

Собственно, для варьете, для мюзик-холла Эрдман отнюдь не гнушался писать и раньше, но одно дело — до, другое — после “Самоубийцы”. Нет, не так: вместо.

Н.Я. Мандельштам, сказавши, что “Самоубийца” — “пьеса о том, почему мы остались жить, хотя все толкало нас на самоубийство”, заключила: для себя самого автор сделал выбор самоубийственный. Не для плоти, для духа: “...Сам Эрдман обрек себя на безмолвие, лишь бы сохранить жизнь”.

“Изредка он, — вспоминает она же, — наклонялся ко мне и сообщал сюжет только что задуманной пьесы, которую он заранее решил не писать. Одна из ненаписанных пьес строилась на смене обычного и казенного языков. В какой момент служащий, отсидевший положенное число часов в учреждении, сменяет казенные слова, мысли и чувства на обычные, общечеловеческие?”.

Сам автор “Самоубийцы” отказался вести двойную жизнь — только не тем жертвенным образом, какой выбрал муж Надежды Яковлевны. Вы не даете мне жить жизнью первой и настоящей? Так пусть же будет одна вторая. Ка-

зенная — или полуказенная, впрочем, с домашними радостями. Коньячок. Любимые бега. И — право самому презирать то, что пишешь.

У кого хватит духу осудить сломанного человека, гения, — за то, что сломали?

“В какой момент?..” — спрашивает вдова Мандельштама. В “Самоубийце” есть момент возможного перехода даже не из одной сферы слова и мысли в другую, но из жизни в смерть. Подсекальников держит в руках револьвер, для него не бутафорский, и поначалу это смешно.

“...Дарвин нам доказал на языке сухих цифр, что человек есть клетка. ...И томится в этой клетке душа. ...Вы стреляете, разбиваете выстрелом клетку, и тогда из нее вылетает душа. ...Ну, конечно, летит и кричит: “Осанна! Осанна!”. Ну, конечно, ее подзывает Бог. Спрашивает: “Ты чья?” — “Подсекальникова”. — “Ты страдала?” — “Я страдала”. — “Ну пойдی же попляши”. И душа начинает плясать и петь. ...Ну а если клетка пустая? Если души нет? Что тогда? Что тогда? ...Есть загробная жизнь или нет?”.

Отказ великого драматурга от того, что ему даровано свыше, есть ответ отрицательный: нету! И симпатичнейшая история, изложенная Юрским, констатирует состояние, неизбежное после смерти: распад. Утешение, и серьезное, того, кто успел написать “Самоубийцу”.

Чаще, конечно, бывает не до утешений.

“Я всегда говорил: у него один тяжелый недостаток — он не верит в загробную жизнь”. Сказано литературным генсеком Фадеевым о

литературном подонке Ермилове. И Твардовский в дни исключения Солженицына из Союза писателей говорит фадеевскому сменщику Федину: “Помирать будем!”.

Ни Ермилов, ни Федин не вняли, не устыдились, а все ж — любопытно. Ужас, охвативший придуманного Подсекальниково (и Эрдмана?) перед приоткрывшейся бездной, в устах двух выдающихся писателей-атеистов, уверенных, что “клетка пустая”, тем не менее выглядит... Ну понятно, не перспективой предстать перед Господним судом, но ведь и не просто опасением оставить в потомстве дурную память.

“Помирать будем!”. Будем! То есть в тот самый момент, когда тебя не спасет, не утешит власть, которой ты взялся служить, — как важно будет тогда, оглянувшись, не углядеть скверны. Или пустоты.

Что ж, выходит, “Самоубийца” — и об этом? Да, отчего современность пьесы лишь возрастает со временем. Даже — не злободневность ли? Пожалуй, и так, что, впрочем, уже не заслуга самой по себе комедии, но доказательство скверны, в которую вновь себя погружаем, когда “творческая интеллигенция” — из нехудших, из лучших! — сладострастно ложится под власть.

Расплатится ли за это она? Раскаянием — не уверен. Посмертной репутацией — несомненно. Хуже, однако, другое: безвинные подсекальниковы, оставленные без какой-никакой духовной поддержки, безвинно же и расплачивают-

ся — прижизненно, ежедневно. Тем хотя бы, что не получают “права на шепот”, что много важнее права на митинг. Там — выкричишься, а своя, подсекальниковская, свобода как отсутствие судорожной зависимости от добродушного или гневного настроения власти — то, что необходимо всем и каждому. Постоянно.

А уж “мировые пожары, завоевания” — это, товарищи-господа, “оставьте себе”.

[2003, 22 сентября]

Обломовы наоборот

Вот — пустячок, притом характера вроде бы узко личного, а, спасибо ему, дает повод задуматься... Показали мне — с многомесячным опозданием — рецензию М. Эдельштейна (имя неведомое, наверное, молодой, начинающий) на мою книжку “Самоубийцы”. Разносную — до предела и сверх! Что нормально.

Написано, скажем: такое-де может сочинить кто угодно, всякий. И чего же лучше? Сказал бы: радуюсь за этого всякого, кабы не боязнь показаться нескромным. Вот когда поэт-средняк из “наших” эмигрантов заявил, что роман Гроссмана “Жизнь и судьба” способна написать любая десятиклассница (понимай: сам поэт тем более смог бы, только не хочет), — это да, за такую школьницу как не порадоваться.

Но задумался я о другом. Над другим. Рецензент напрочь отказывается понять, “кто те 4 тыс.

читателей, которые, по замыслу автора-издательства, должны этой книгой заинтересоваться”. Нету таких! Не бывает! И опять же дело не в том, что — нашлись, дуралеи, что книга раскуплена, а в самой уверенности: мне она на дух не нравится, значит, “она не нужна по определению” (цитата). Как у милого малыша из Чуковского, который угрожает: “Сейчас темно сделаю!” — и закрывает глаза, убежденный, что и весь мир погрузился во тьму.

О, такие наперед знают все! “Он знает, как надо!” — увиденный по ТВ плакат в офисе Жириновского: видать, В.В. не слышал песни Галича, а и слышал, так ему плевать. Но наши интеллектуалы! Откуда такой малышовый эгоцентризм? Что книга какого-то там Рассадина! Рецензент-незнакомец уверенно заявляет, к примеру, что Смеляков, Исаковский с Твардовским в придачу все вместе не стоят одной-единственной строчки Вертинского. Про попугая.

И все это вкупе позывает, представьте, к ассоциации, для рецензента, надеюсь, лестной.

В очерке о Юрии Давыдове (“Новая газета” № 64, 2003) я привел его письмо-размышление о Германе Лопатине, кому было так много дано, а пошло, в сущности, прахом, и несколько строк не дают мне покоя: “Отчего у нас являются эти “обломы наоборот”, т.е. энергетические, но все же обломы? И почему, вопреки разуму, они мне милее штольцев? И как это все объяснить не одной лишь русской меркой?”.

Какое отношение это имеет к вышесказанному? Никакого — в чем и злободневность сюжета.

Лопатин — и сколько-нибудь подобные — то, что называется *enfant perdu*: идиома, плохо переводимая на русский не только по причине неблагозвучности. Буквально — “потерянное дитя”, метафорически — выкидыш истории и современности. Чаще — трагическая фигура, и если не сбрасывать со счетов “русскую мерку”, то нельзя не добавить: за этим — трагедия всей России, ее истории, ибо постоянное возникновение “обломовых наоборот”, как и то, что они нам в самом деле “вопреки разуму... милее штольцев”, — причина множества национальных бед. В частности, той, что лучшие люди, пошедшие в революцию, именно ей оказались ненужными, лишними, вредными. А победили “штольцы наоборот”, прагматики вроде Ленина, открывшие дорогу циникам от Сталина до Брежнева.

Как известно, бывают не только “потерянные дети”, но и “потерянные поколения”. Известно и откуда последнее выражение — из эпиграфа к “Фиесте” Хемингуэя, где он процитировал сказанное “в разговоре” Гертрудой Стайн: “Все вы — потерянное поколение”. *Generation perdue*.

Однако вот что существенно: данная пчеломатка англо-американского модернизма тоже подслушала будущую крылатую фразу “в разговоре”. Фраза была сказана сгоряча хозяином га-

ража своему нерадивому работнику, не сумевшему починить “Форд” Гертруды. А существенно то, что вряд ли обруганный неумеха мог претендовать на роль фигуры трагической — ее добровольно взял на себя именно автор “Фиесты” и “Прощай, оружие!” (как и Ремарк), осознав трагедию как трагедию — утраченных идеалов, потерянных координат. И как раз в силу (в силу!) этого осознания обернув трагедию победой, творческой самореализацией — своей собственной и целого литературного поколения.

А у нас?

Сегодня только ленивый из литературного поколения, возникшего с перестройкой, не говорил, что и он, мол, из новейшего “потерянного поколения”. И разве не так? Больше того, разве в этом есть что-то дурное?

Боюсь, что дурное есть. Свою “потерянность” молодая — впрочем, уже относительно: кому за сорок, кому и под пятьдесят — “творческая интеллигенция” сделала своим самооправданием. Какой там трагизм? Сплошной кайф!

Нынешние потерянные получают бесконечное удовольствие, даже сознание своих привилегий, почти номенклатурных. “Конец истории”, “конец культуры” — гуляй, пацаны, на поминках! Мы — такие! Потому что время — такое! Мы знаем, как надо, — мы, только мы, благодаря возрастному, биологическому превосходству, отчего “шестидесятник” нынче даже и не ругательство, а так, плевков сквозь ленивые зубы...

Была бы за этим авангардная смелость, произошел бы творческий взлет — все бы можно было простить. А так... Скучно на вашем свете, господа!

И случайно ли истинно горькие строки о поколенческой потерянности: “Сгорели в танках мои читатели / в Афганистане и в Чечне. / Уехали к едре матери — / их было много на челне. / Я оказался всех живучее, / усидчивей или тупей...” — эти строки, не отпускающие меня, принадлежат одному из самых (немногих) состоявшихся “новых” поэтов? (Олегу Хлебникову).

Самодовольство, которое мы вежливо выдаем за самодостаточность, — болезнь. Не смертельная (впрочем, как знать?), даже приятно щекочущая носителей, но уж точно пагубная для словесности. И не только для нее: как уйдешь от недавних выборов?

Голосовавший за “ЯБЛОКО”, я, не будь оно-го фрукта, наверное... Не знаю... Да нет, все же, напрягшись, проголосовал бы за СПС. Чтобы они — хоть они — были в Думе. Но как бы пришлось напрягаться!

Не из-за одного Коха, стыдливо укрытого в тень, но, допустим, и из-за ни в чем отвратительном не замеченной Хакамады, на лице которой после краха наконец объявилось неуверенное, человеческое выражение. А прежде...

Пессимисту в России легко быть пророком, оттого не приходится хвастаться, что я говорил, даже писал: вы что ж, продвинутые мои, пола-

гаете, будто можно красоваться на постерах со Светланой Конеген, быть завсегдатаем халявных тусовок, почти Ксюшей Собчак... А памятный взвизг¹ на вопрос, как воспримут “простые” избиратели полеты на каникулы в Ниццу: “Это зависть! Завистники!”... В общем, быть такими — и пользоваться “любовию народной”?

Наверное, вправду, чтобы достичь чего-то — в политике, в литературе, все едино, — необходимо пройти через честное осознание своей потерянности.

[2003, 22 декабря]

1 Хакамады.

Репортаж изнутри трагедии

Неловко, однако же надо признаться: первые страницы романа Отара Чиладзе “Годори” (“Дружба народов” № 3 и 4, перевод — отмечу, прекрасный — Александра Эбаноидзе) меня озадачили. Уж не покоробили ли? И чем — жесткостью к роли России в судьбе Грузии; притом роли не нынешней, но изначальной.

Уж не пресловутая ли, черт ее раздери, “русофобия”?

Констатирую скорбно: вот, значит, что делает с нами — на сей раз со мной — разобщенность последних лет, рождающая подозрительность. Ведь когда-то мог же я с пониманием, то бишь нормально, воспринять иное, чем у меня, отношение моего друга Отара к Грибоедову, автору плана жестокой капитализации-колонизации Грузии. Мог же спокойно, хоть, возможно, и не без ревнивого несогласия, внимать рассуждени-

ям братьев Чиладзе, Тамаза и Отара, примерно как раз о том, с чего начат роман. С авторского сожаления, что шесть столетий назад, “когда Папа Римский Пий Второй задумал изгнать османов из Византии”, то направил своего посланника в Грузию с надеждой на нее, — но, увы, мол, прежней страны, прославленной рыцарским благородством, уже не было. Монгольское рабство развалило и развратило Грузию, и той оставался лишь путь... Ну известно, куда и к кому.

Впрочем, все равно: спокойное восприятие романа, этого несомненного СОБЫТИЯ в нашей (хочется верить, все же общей) словесности, исключено. Не позволят ни сам роман, ни родившая его реальность.

Еще из разряда воспоминаний. Некогда я возразил замечательному Чабуа Амиреджиби, сказавшему, что не надо судить о Грузии по подонкам, осквернившим надгробие того же Грибоедова: дескать, мы же не судим о русских по тем, кто взорвал могилу Багратиона. А зря, батоно, не судите, писал я: мы-то как раз истинно стали другими, если наши российские пацаны могли, как футбольные мячи, гонять по Бородинскому полю черепа героев 12-го года.

Вот и Грузия... Ау! Где легенда о земном рае, раз теперь и Отар Чиладзе, ревнивый тбилисец, может сказать, что персонаж романа избит “по-тбилиски, с тбилисской жестокостью и беспощадностью”?

Лучший прозаик Грузии, он написал роман страшный. И — странный?

Наверняка. Подумать только, вот центральное — без шуток — событие: пятидесятилетний Ражден Кашели вождеет свою невестку Лизико, жену “хлюпика” Антона, а та испытывает к свекру “нездоровую любовь”. Господи! Не трогая наших сорокиных-ерофеевых, в западной литературе или кино инцест — всего лишь материал для психоанализа, а тут... Тут самого-то инцеста не было! Или был? Достоверно известно одно: воспаленный свекор положил на оголенные плечи невестки ладони, а в результате Лизико перерезала вены и сошла с ума, Антон поднял топор на отца...

Хотя — стоп, стоп. Чиладзе словно только и делает, что старается нас запутать. Роман — цепь внутренних монологов, прерывистый поток разных сознаний, отчего, между прочим, чтение этой густой, метафорической прозы есть процесс не для нетерпеливых (как и не для слабонервных), и читатель то и дело утыкается в тупики этого лабиринта. Лизико — родила или не родила? И от чего — от растреклятого, что ли, прикосновения? Антон — поднимал ли топор?... И т.д.

Ответов нет — хотя, конечно, угадываются. Как и ответы на вопросы разрешения национальной, исторической трагедии.

Смею предположить: только мощный художник может позволить себе быть прямолинейным. Когда общий распад предстает в семейном раздоре: “все смешалось в доме”, значит, и в мире. Когда кровосмешение, пусть привидевшее-

ся, способно стать аналогом — не смейтесь! — того, как власть грубо трахает оппозицию. Когда бессилие Элизбара, писателя, бросившего стихи и (примета общего времени) сочиняющего памфлеты, прямо ассоциируется с “общей национальной немочью”, со “следствием шестисотлетнего мрака и неподвижности”.

“Бьем себя в грудь — мы прирожденные воины! Что ж, любой вшивый грузин имеет цену на черном рынке — как стиральный порошок, презерватив или же черный перец... Прибавьте поощренное властью и возведенное в государственный ранг тотальное воровство...”. Выхвачено из “потока сознания” Раждена, бывшего партократа, но одновременно и “окашелившего” всю Грузию существа полумифического, особенно если учесть его родословную, будто заимствованную из эпоса про драконов и оборотней. Но, в сущности, то же твердит интеллигент Элизбар: “Грузия уже отжила одну жизнь... Мир тысячекратно менялся и перекраивался, и только для того, чтобы предоставить нам шанс еще раз явиться на свет из утробы империи, через ее прямую кишку, никто в этом мире не потеснится... Скорее, плеснут бензину и спялят, как постель чумного...”.

И вот все это согласно “пунктику” Отара Чиладзе, из-за “ошибки шестивековой давности”? “Единственной (!) ошибки”? Опять же — так? Не так?

Вряд ли именно так. Да это и неважно. Когда наш капитан Лебядкин заявляет: “Россия, суда-

рыня, есть игра ума, не более”, то он, полоумный, просто выкладывает истину, которую подтверждает любой художник; чем он крупнее, тем истина очевиднее. Идея неизбежной расплаты — вот что, а не подсчет совершенных ошибок, терзает художника Отара Чиладзе, как терзала уже в самом первом (1973) романе “Шел по дороге человек”. В романе-мифе, где само море мстительно уходило из города Вани, образуя колхидские болота. И не напрасно в “Годори”, романе, как говорится, “из современной жизни”, Лизико отбивается от сочувствия близких, “как Орестея от кровожадных эриний...”.

Ошибка ль совершена столетия назад? Кто с уверенностью может об этом судить, тем более что “шестивековая давность” мифологизирует любое событие? Главное: почти античный рок, тяготеющий над “несчастной страной”, — вот центростремительная сила романа.

Центростремительная. Не центробежная.

Завязтый трагик в своем первом, давнем романе, Эсхил местного разлива, в этом, новом, Отар Чиладзе — внутри трагедии. Внутри самих монологов, потоков, не стремясь к взлету над ними, по крайней мере не имея такой возможности. Ожидать сегодня иного — так же утопично, как думать, к примеру, что и на грузино-абхазский конфликт он захочет и сможет глянуть с горних высот. Наподобие, скажем, Лермонтова в “Валерике”.

...В финале к безумной Лизико является — в широкополой шляпе с павлиньими перьями, в

плаще цвета граната — Лодовико из Болоньи, тот самый связник Пия Второго, что шесть столетий назад был послан, дабы “образумить” Грузию, вовлекая ее в западную цивилизацию.

Символ ли это надежды? Если и так, то не конкретной, иначе договоримся до того, что “несчастливая страна” вмиг обретет запоздавшее счастье, едва вступит в НАТО или в Евросоюз. Но, во всяком случае, Грузии, расставшейся со своей, нами же насаждавшейся легендой об исключительном крае изобилия и благородства, необходимо пройти через жесткое, даже жестокое самосознание — вернее, само-Осознание, — которое явлено романом Чиладзе.

Пройти, как и нам с вами, у которых романа такой силы национального отрезвления, к сожалению, пока еще, кажется, нет.

[2004, 5 апреля]

Мы – хорошие! Пока...

Когда смотрю, допустим, познеровские “Времена”, то, слыша вопрос, задаваемый с условием: “Скажите только “да” или “нет”, примериваю его на себя и обычно пасую. Ежели дьявол таится в деталях, то истина — в оговорках. В оттенках.

Потому ненавижу анкеты. То есть на казенные-то приходится отвечать: “Имя... Отчество... Год рождения”. Тут однозначность предполагается. Но: “Ваше любимое блюдо?”. Сегодня — борщ, завтра — шашлык. “Напиток?” Это, знаете, как у Довлатова, где девушка отвечает, что для нее предпочтительнее — спирт или водка: “Ой, прямо не знаю! Все такое вкусное!..”.

Читаю дружественные “Московские новости”, статью Марка Урнова, встревоженного результатами социологического опроса. Какой показал, что, скажем, за утверждение: “В

любой стране власть должна в основном находиться в руках представителей коренной национальности” проголосовало 68 процентов опрошенных. За: “Россию должны бояться” — 59. За: “Казнить террористов публично — это правильно” — 62. И т.д.

Страшновато? Конечно. Но вот крамольная мысль.

Что пугает меня в подобных опросах? Не скажу, что они грубо провокационны, но можно ли отрицать, будто многие из так называемых респондентов, чьи мозги при раздраженном сердце находились где-то между “да” и “нет”, благодаря социологам, пусть по причинам профессиональным жаждущим категоричности, обрели-таки формулировочность? Утвердились на позиции: “Пусть бояться!.. Казнить!.. Черных — вон!..”.

Да и я... Крепко рискую своей репутацией, признаваясь: дабы выдавить из себя “да” или “нет” — даже в пользу очевиднейшего добра и против несомненного зла, нередко делаю усилие. Оттенков не хватает, оттенков!

Кричат “ура!” при виде, как рушится крыша Манежа? А чего ж вы хотели, если Манежная площадь, не меньшая красота, нежели сам Манеж, уже была испохаблена, “изнасилована” стараниями чудовищного Церетели и его покровителей? То есть и сам-то Манеж был уже полууничтожен. Унижен.

(Помнится, главный архитектор Москвы Кузьмин в телебеседе признался, сколь и для

него прискорбны церетелиевские упражнения, но... Что я могу? Не в моей власти! А пригрозить отставкой? Да и просто уйти, отказавшись от соучастия?)

Дальше. Ужасаемся: звонят на “Эхо Москвы”, ликуя, что под обрушившейся кровлей “Трансвааль-парка” погибли богатенькие, — опять же, чего иного могли ожидать? Не говоря об имущественном сверхнеравенстве, разве сама Москва не перестает — да перестала уже! — быть городом для всех?

Приближаюсь к самому рискованному, подпитанному свежим личным впечатлением. Покупая картошку на Черемушкинском рынке, боками своими ощутил взрывоопасность ситуации. Кавказский человек неопознанной мною национальности толкал, почти бил пьянчужку, увы, национальности титульной, а когда окружающие, в том числе я, попытались прекратить это словом, закричал: “Я тут хозяин! А вы все — свиньи!”.

Пересказать ли, что ответно выложил окрестный люд?..

Все же надеюсь, что рассказ не заставит читателя заподозрить меня в расизме (не ручаюсь, понятно, за В.И. Новодворскую и подобных). Да и не во мне же дело.

Еще в оные годы, когда в Азербайджане властвовал... Вот честное слово, забыл, политики так же уходят из памяти, как отставные телеведущие, — кажется, Муталибов... Был такой? Словом, тогда, когда представители его солнеч-

ной республики прибирали к рукам московские рынки, заодно преисполняясь законным презрением к продажным московским чиновникам, да и ко всем нам, я ли один говаривал: ох, будут проблемы?! И, дескать, на месте (условно говоря) Муталибова я бы крепко задумался над возможным — и неизбежным — зигзагом дружбы народов.

У нас, повторяю, ничего не стоит оказаться пророком. Сбывается — худшее, и когда нынче вижу враз возмужавшего Немцова или мгновенно повзрослевшую Хакамаду, радоваться преображению мешает не только его прямая причина — их исчезновение из реальной политической жизни, — но и, согласен, злое сознание: да почему же хоть бы и я, уж никак не семи пядей во лбу, особенно в деле политики, видел то, что вас, таких прежде нагло-победоносных, осенило только сегодня?

Да и точно ли осенило? По правде — не верю. Поверни, скажем, Путин колесо фортуны — чего у нас не случается? — глядишь, опять воссияет самоуверенная наглость...

Вот печальнейший вывод — а выход, если и есть, то я лично его покуда не вижу. Нам не нужны никакие там террористы. Сами себя закопаем, угробим, взорвем! Когда мой сосед мочится в собственном лифте, когда кодовые замки ломают свои же, а первая моя мысль при известии, что в московских подъездах установят видеокамеры: “Да сами же и сломаем, украдем!”, — то что это: происки Басаева или бен Ладена?..

Впрочем, напоследок — толику утешения.

Умный Михаил Делягин (хотя не обойтись без оговорки: как говаривал Пушкин, “беспокоюсь за его ум” — каково-то придется в компании с Дмитрием Рогозиным?), комментируя тот самый социологический опрос, заметил, что результаты, наоборот, обнадеживают. Когда, мол, достаточно высокий процент “демонстрирует толерантность к евреям на фоне тех реформ и той олигархии, которые мы имеем сегодня, то это хороший результат. Если, несмотря на нерешенность национального вопроса, 40 процентов населения демонстрирует толерантность по отношению к кавказцам, то это очень хорошо по сравнению с тем, что должно было быть”.

Да, пока мы — хорошие... Ну, не совсем плохие. Вспоминая о своей литературной профессии, с гордостью говорю: значит, такой уровень защиты заложила в нас наша словесность. Но сколько же им, Толстому и Чехову, тянуть эту бурлацкую лямку — против течения? На сколько же их еще хватит? А уж нас-то...

[2004, 24 мая]

По Абхазии – с Искандером

Неполитические заметки

— Абхазия — это Аджария?..

— Абхазия — это Абхазия...

Ф. Искандер *“Начало”*. 1969

...Когда граница российская была пересечена, а абхазская — не достигнута, нашу машину остановили. Пограничник, узнав, что тут Искандер, уговорил завернуть на рюмку. Зашли, заодно услышав: пограниец обожает Искандера за то, что у него “все так жизненно”. “Видно, что написано прямо с натуры”. “Да, — отвечивал Фазиль, — особенно козлотур”.

А мы и едем сверять нынешнюю натуру с отображением; “мы” — это Искандер, чьи семьдесят пять земляки задумали широко отметить, и “сопровождающие его лица”.

Натура — налицо. “Правда, вылитый дядя Сандро?” — говорит мне Тоня, жена Фазиля,

знакомя с его голубоглазым и седоусым родственником. “Смотри, это особняк Коли Зархиди”, — толкает меня сам Искандер. Понимай: дом, где романый Сандро перепрыгивал на коне играющих в нарды хозяина Колю и скотопромышленника. Вообще — следы узнаваемой патриархальности (уж как ее, бедную, трогали, ломали, калечили, а она не совсем поддалась): на дорогах, даже в пределах Сухума, мчащаяся машина привычно-послушно лавирует, объезжая непугающихся коров с буйволами, неспутанных лошадей; крохотный поросенок семенит по-хозяйски неспешно, пересекая шоссе...

Но — трагичен Сухум. Не Сталинград, не Грозный, однако, как нам сказали, половина домов разграблена, разрушена, сожжена, а кажется, что и больше. Или, как рана, как шрам на живом человеческом теле, руины особенно бросаются в глаза? Восстановлена гостиница “Рица”, но в развалинах Дом правительства; разбита, пустует и воспетая Искандером “Амра” — символ Сухума, комплекс кофеен и ресторанчиков, волнорезом вдающийся в море...

Едем в Новый Афон, и добрейший наш опекун Владимир Зантария, вице-премьер, ведающий культурой, образованием, социалкой и чем-то еще, тамада и поэт, словно воспроизводит военные сводки: здесь стояла их артиллерия... тут мы перешли в наступление... Сама потрясающая природа восстает, как в лермонтовском “Валерике”, против сознания, что сов-

сем недавно в этих местах гибли и убивали, но едва, отвлекаясь, туристически ахнешь, пролетая мостом через Гумисту, как услышишь: на нем происходил обмен пленных.

На самом Афоне, невдалеке от невосстановленного вокзала, — пантеон-музей, обсаженный елками — по деревцу на погибшего из местных. В восстановленном, залакированном Доме творчества писателей (не вскидывайтесь, коллеги, — бывшем нашем Доме, сейчас он вам не по чину и не по карману, ибо возрождением занялся Минатом, — впрочем, не ропщу: слава Богу, что сюда идут-таки русские деньги) — траурная доска с пятью десятками лиц и имен бойцов Пицундского батальона: абхазы, армяне, русские. Ректор университета Алеко Гварамия, математик с европейским именем, называет число убитых студентов, поражающее процентной величиной (я ему: “Тут не до каламбуров, но какая страшная математика!”). В театре, на торжественном вечере в честь Искандера, блещут танцевальные ансамбли — и вновь: столько-то, говорят, танцоров ушли воевать и не вернулись.

Выпало нам оказаться в Сухуме как раз 9 Мая, и, прежде чем ритуально прошествовать к типично советскому памятнику солдатам Великой Отечественной, нас ведут к мемориалу войны девяностых. Кругом, ромашкой — плиты с именами погибших в бою (что-то около двух тысяч, всего же из жителей Абхазии жертвами стали тысяч пять или шесть). Над плита-

ми — памятник, анфас как бы крестоцвет, в профиль — окрыленная Ника; и, когда хвалебно обращаемся к министру культуры Леониду Энику, интеллигентнейшему, элегантному, кого, впрочем, легко вообразить в камуфляже — как недавно и было, — он приободряется. Нас, говорит Леонид, в миру — художник, старики поругивают, но мы-то хотим глядеть в будущее.

Недавность потерь даже театрализацию ритуала делает подлинной, и если в родной Москве я, пожалуй, позволил бы себе — слегка, слегка — улыбнуться, оказавшись в армейской палатке-шатре, где командующий российскими миротворцами раскинул российскую же “солдатскую” самобранку: каша из котелка, сало, картошка, неизбежные “фронтовые”, то здесь что-то не иронизируется. Скепсис скепсисом, но слишком свежа рана, и рядом с ветеранами Отечественной войны — черные вдовы этой.

“Воевал”, — скажут вам, почтительно и заглазно, представляя кого бы то ни было — крестьянина, интеллигента, члена правительства; и намозоливший за советские годы глаза бессмысленный транспарант “Миру — да, войне — нет” всерьез задевает на фоне полуразрушенного Сухума, как и заменивший рекламу (напрочь отсутствующую) постер “Мы возродимся!” кажется чем-то вроде нашенского послевоенного “Отстроим!..”. И когда Искандер на встрече со студентами университета говорит им: “Вы — послевоенные дети...” — сердце мое екает. Это

же я — послевоенный, это моя нестыдящаяся бедность сороковых, мое сиротство, разделенное со сверстниками...

Что говорить, принимаемые — во главе с Искандером — на высоком иерархическом уровне, жили мы на “госдаче”, она же “дача Сталина”, она же — резиденция нынешнего президента; нас, однако, больше интересовавшая как “дом отдыха ЦИКа Абхазии”, где, привеченные Нестором Лакобой, кратко гостевали Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна Мандельштамы. Рядом с Ежовым. (А над “госдачей” — раскуроченная гостиница, где постоем стоял “Мхедриони”.)

Резиденция резиденцией, но жить пришлось то без света, то без воды, иногда без того и другого, так что ужин при свечах не означал интима-изыска. Кто-то из нас заметил, что подобное по-своему демократично, а я вспомнил байку про одного нашего стихотворца, женившегося на дочке члена Политбюро и возопившего, когда после пьянки в ЦДЛ ему не сразу прислали машину из кремлевского гаража: “Что за страна! Четырнадцать (или сколько их было? — *Ст. Р.*) семейств обслужить не может!”.

Абхазия — бедна, впрочем (предмет гордости), не имея ни рубля внешнего долга, и если, допустим, не сообщая размер зарплаты министра, то не ради сокрытия доверенной нам коммерчески-номенклатурной тайны: скажу — не поверят. А может, во мне говорит патри-

отический стыд за наших перекормленных чиновников.

Кстати: никогда в жизни я не был и не буду, как по недопущенности, так по плебейской привычке сторониться начальства, в тесном окружении министров, вице-премьеров, мэров, парламентариев. Тем более никогда б не поверил, что они — не поодиночке, не в качестве исключения — могут быть без позы серьезны, без притворства смешливы, интересны, интеллигентны. Только положение члена “деlegation”, располагающее к чопорности, мешало вырваться в застольях, само собой — частых, простецкому по-московски: “Ребята...”, да они, доктора наук, художники, поэты, историки, между собою и рядом с нами выглядели “ребятами”.

Когда, например, министр иностранных дел Сергей Шамба — между прочим, как со значением отметил один из его коллег, видать, наслышанный о страсти к “остепенению” нашего чиновничества, ставший доктором до, — с наслаждением вспоминал о детских походах за соседскими мандаринами и как некто, также наливавшийся за нашим столом, получил в задницу традиционный заряд соли...

Стыдливо ловлю себя на умилении, каковое к тому ж может показаться отнюдь не лестным, а скорее обидным для представителей власти: будто они не люди. В самом деле, не поражаюсь же — только радуюсь, встретив интереснейшего собеседника в поэте, историке, лите-

ратуроведе, блистательном говоруне-энциклопедисте Станиславе Лакобе, “Славике”; в нем, ошарашивающем сверхзнаниями об абхазских связях Каменского, Бурлюка, Евреинова, Мандельштама (розыск сведений о последнем как-то привел Славу к старику Шкловскому, уже слегка заговаривавшемуся, встретившему гостя сообщением: “Я был в Сухуме на ваших похоронах” — спутал с предком Нестором, отравленным Берией, — но, когда прояснился рассудок, вспомнившему нечто действительно прелюбопытное). Принимаю как должное общество немолодых интеллигентов, пьющих свой кофе на сухумской “Брехаловке” и возрадовавшихся при виде Фазиля: народный артист, скульптор, князь-винодел, философствующий отставной полковник...

Нормально! Но вот едем в Очамчирский район — повод печально-торжественный: сороковины, в автокатастрофе погиб свойственник Искандера, двадцатилетний сын директора школы, — и за одним из столов, накрытых на четырехста персон, увлекаюсь беседой с сидящим напротив Баталом (учитель? историк-любитель?..), развивающим идею постановки в горном Чегеме “Пастуха Махаза”, инсценировки главы из романа о Сандро. И уже не воспринимаю как должное, но поражаюсь, узнав, что этот Батал после абхазо-грузинского конфликта (“воевал”) пять лет был министром юстиции. Так же, как экзотикой отдает, когда помянутый вице-премьер “Вова” Зантария цитирует запро-

сто все того ж Мандельштама, Белого, Хлебникова, произнося тост, может вскользь упомянуть Камю или декламировать Пушкина, да какого: “Паситесь, мирные народы!..”.

Что ж? Обогнул ли их процесс отрицательной селекции — процесс общемировой, о чем и Искандер как-то заговорил во время одного из застолий, нередко, вопреки распространенному о них мнению, превращавшихся у нас в живую беседу о наболевшем — исторически и политически?

Дошло до того, что в день приезда, когда мы случайно сошлись за столом с нашим вице-спикером Слиской, Фазиль с неожиданным педагогическим педантизмом изложил ей историю отношений двух своих родин, хронологию вступления Абхазии в состав Российской империи. И он же, для земляков — наивысший авторитет, внушал им, внимающим, что интеллигенция “маленького народа” ответственна перед ним в особенной степени, ибо и он и она как раз по причине своей относительной малочисленности не могут позволить себе — в отличие от “больших”, от “великих” — расслабляться.

Тут, правда, высунуть со своим ревнивым сомнением: может, большие-то тем паче не могут и не должны. Потому что соответственно велики губительные последствия национального безволия...

Если мои наблюдения, сделанные за две абхазские недели, не слишком поверхностны, то

состояние местной “элиты” (понятие, в России испакощенное, отчего и кавычки) имеет логику.

Абхазия проходит романтическую стадию самоутверждения, самозащитной сплоченности, следовательно, и общенародного воодушевления. А вдобавок — говорю без преувеличения, опасаясь, что меня не поймет наш читатель Акунина и Донцовой, который в юбилейный день писателя Искандера, полузабыв про него, массово праздновал совпавший юбилей Жванецкого (а если бы Фазиля угораздило родиться в один день с Пугачевой?), — в общем, не преувеличиваю значения того факта, что вся Абхазия чтит и читает автора “Козлотура” и “Сандро”. Даже начальство — видите, все-таки “даже”, неискоренима российская подозрительность к интеллектуальному уровню собственной власти, но тут ничего не поделаешь: постоянное сопоставление “их” и “нас”, Абхазии и России неизбежно. Особенно в нынешней болезненной ситуации.

“...Он возмутитель спокойствия... Он выпустил книгу, в которой доказывает, что некоторые древние храмы Абхазии, ранее считавшиеся соседского происхождения, на самом деле плод архитектурного творчества аборигенов.

Братья не на шутку обиделись. Смеясь, он мне сам показывал кучу писем, полных возмущения и даже угроз убить искажителя истории... В наше время приятно иметь дело с мужчиной, который, показывая такие письма, хохочет”.

Цитата из “Сандро” (глава “Чегемская Кармен”), а прототип историка Андрея — Юрий Воронов, археолог, кавказовед, “чистый” ученый, волей судьбы, а отчасти и вышеупомянутыми угрозами вытолкнутый в политику. Ставший вице-премьером правительства Абхазии.

Тут прямая портретность: от физической длинноногости до научного бескорыстия и бесстрашия плюс сведения о дворянском роде Вороновых, сосланных в Абхазию еще в декабристские времена; впрочем, там еще и связи пращура с Герценом, и причастность родственников к польскому бунтарству. Одного Искандер не мог угадать, сочиняя роман: что его друг, смеявшийся над угрозами, будет убит автоматной очередью на пороге своей сухумской квартиры. Классически четкая схема заказного убийства.

Я это вот к чему.

Восьмого мая, в день рождения Воронова, чуть не все правительство во главе с премьером Раулем Хаджимбой пришло к могиле-мемориалу у краеведческого музея, и кто-то из нас посетовал: что же, мол, телевидение прохлопало такой торжественный момент? А мне, признаюсь, как раз это понравилось: никакой показухи, никакого официоза — друзья пришли поклониться другу.

В тот день вдова Воронова Светлана (“тургневская женщина” — это опять из “Чегемской Кармен”) подарила мне книгу материалов и воспоминаний о своем муже, и я обнаружил с

досадой, что в час гибели чистейшего человека из России пришло сочувствие только — перечисляю — от Затулина. От Илюхина. От Селезнева. Ни одна “демократическая”... Еле удерживаюсь от словечка, впрочем, угадываемого. Да, ни один “демократ” не пошевелился выразить сострадание вдове и Абхазии по случаю гибели члена Конгресса русских общин, и когда при мне уважительно поминали Бабурина, что я мог возразить?

Это ведь он, говорят, а не... не... не..., помогал эвакуации беженцев. И чувство безвинной вины одолевает меня, когда вице-спикер парламента Александр Страничкин деликатно недоумевает: почему бы России не помочь достроить разрушенную русскую школу? (Чего захотел! Мы лучше будем орать насчет прав русскоязычных в Латвии!) Или — озаботиться нищенским существованием трогательно сохраняемого русского драмтеатра.

Я, упаси меня Боже, не политолог, тем более не политик — мне это не по уму, ну, чтоб не самоуничижаться, не по складу ума, однако что видел, то видел. Что думал, то думаю. Что подозревал, то подозреваю. Или — не подозреваю.

Еще до нашей поездки я то и дело ловил оговорки телеведущих, которые, излагая происходящее в Аджарии, как бы нечаянно (см. эпиграф) произносили: “Абхазия”. После бегства Абашидзе оговорки участились, и мы, пребывая в Сухуме, конечно, судачили на сей счет. Кто-то утверждал: “Проплачено!”. Кто-то, на-

пример я, склонялся к версии обычного бардака. Но и хамская — всего лишь! — небрежность небезопасна, особенно в дни, когда Саакашвили бросает фразу насчет революции роз, которая вот-вот разразится и в Абхазии.

Смешно, но мне, поймавшему эту фразу в дневных теленовостях, пришлось сыграть роль информатора для премьера и для министра иностранных дел, приехавших на прощальный ужин. Их мгновенный вопрос: каков был комментарий российского телевидения? Отвечаю: вроде бы сдержанно недоверчивый. И — их спокойная реакция: все будет в порядке, а задорная фраза — попытка сорвать абхазский курортный сезон, на который у страны вся надежда.

Знаменитый московский абхаз Руслан, для друзей и для половины Сухума — Пуся (домашнее, детское имя, по здешней привычке остающееся на всю жизнь, как Фазиль для племянников — дядя Зюка, как солидный предприниматель Валерий Иванович остался Алябриком), в общем, Пуся-Руслан озадачил меня вопросом: как бы я отнесся к тому, что в моем окружении схлестнулись бы грузин и абхаз? Я было гордо ответил: это немыслимо, своих знакомых я отбираю сам, — но прикусил язык.

Вспомнил: давным-давно в доме моего друга Натана Эйдельмана я встретил Мераба Мамардашвили, не нуждающегося в рекомендациях, который тем не менее явственно поморщился, услышав, что сейчас придет Фазиль Искандер.

(Хорошо — не пришел.) А теперь в “Дневниках Натана Эйдельмана”, героически расшифрованных его женой Юлей, нахожу удивленную запись, сделанную в тот самый день и касающуюся Мераба: “не понимает, почему абхазы не должны подчиняться грузинам”.

Уж не в грудь ли мне себя колотить, уверяя, что не собираюсь принизить грузина-философа? И если не могу отделаться от того воспоминания, то причина — сознание, что, стало быть, и такого высокого уровня достигает разделяющая народы трещина. В том и трагедия, что даже такого.

Мое ощущение: пока — пока! — надежда тбилисских властей на вхождение “самопровозглашенной” республики в состав Грузии бессмысленна. Не радуюсь, ибо грех радоваться любому разобщению, но что вышло, то вышло: роковое “силовое” решение Шеварднадзе — Китовани — Иоселиани совершило то же, что Ельцин — Грачев сделали с отношениями Чечни и России. В Абхазии почти в каждой семье — погибший (иногда добавляют шепотом: и изнасилованная); скоро ли выветрится этакая память?

Тот же Руслан:

— Понимаешь, в моем московском доме я знаю соседей только по нашему подъезду, и то потому, что я такой общительный. В Сухуме я все знал про всех в ста шестидесяти квартирах. У нас вообще все знают про всех. Помнят, кто из местных грузин не надевал камуфляж. Кто

надел, но не взял автомат. Кто взял, но не стрелял. Кто...

И т.д. Кстати, в Абхазии по-прежнему живут пять или шесть тысяч грузин. Как нас уверяли, никто их не обижает. Похоже.

А объединение... Неужто никакого выхода? Есть, есть — и простейший. Тот, который Макаренко как-то дал незадачливым родителям, чей сын отбился от рук и кто воззвал к педагогу: как его вернуть? Этак, ответил Антон Семенович, вы меня спросите, что делать, ежели потерял кошелек. Надо купить новый, заново копить деньги — только всего.

Долгое дело? Но и другого выхода нет, не считая, конечно, — я о кошельке — возможности грабежа.

...Я — абхазофил? А как же! Не больше и не меньше, чем любой русский читатель Искандера, благодаря которому Абхазия, именно она, хоть и преобразенная в страну Утопия (но не в страну Идиллия), вошла в наше сознание как образ гармонии, образец естественного существования.

Но моя “филия” не предполагает никаких фобий. Я и грузинофил, если говорить о стране Бараташвили, Абуладзе и Иоселиани (не Джабы — Отара!), братьев Чиладзе, того же Мамардашвили. Однако сколько б ни накопилось взаимных вин и обид, а сознаю, как много кровоточащего может предъявить и “другая сторона”, — вот, увы, жестко наличествующий факт: все же не Тбилиси порушен воинством

Ардзинбы, а Сухум — усилиями “Мхедриони”.
Увы.

Во время одного из пиров ездившая с нами Наташа Выгон, московский доктор филологии, сказала в заздравном тосте: Абхазия может стать истинно свободной и процветающей страной XXI века... Ох! Даже за кавказским столом — не чересчур ли безумная лесть? Пораздумавши, констатирую: не чересчур.

Показали нам телефильм, снятый молодым и очень талантливым Ибрагимом Чкадуа. Искандер и Абхазия. Абхазия и Искандер. (“Абхазия — это и есть Искандер”, — не раз приходилось слышать, что тоже не было лестью: земляки безмерно благодарны Фазилю за то, что мир узнал о них из его книг.) Фильм — как ключ к пониманию нынешней Абхазии.

Он, снятый на крайне скудные средства, что, между прочим, подтвердило мои сомнения в правоте российских телевизионщиков, уверяющих, будто сумма затраченного прямо пропорциональна качеству; собранный из случайно сохранившихся после погрома студии материалов, но не вызывающий желания делать на это скидку; показанный в единственном на весь Сухум кинозале, где около ста зрительских мест (“Правда, уютный?” — “Правда”. Еще бы ему не быть таковым), словом, фильм — пример преодоления. Победы вынужденно малыми средствами — но победы, не взывающей к снисходительности.

Возвращаясь к “стране XXI века”: в конце-то концов, а поверженные Германия или Япо-

ния?.. Окорачиваю себя: эва, куда хватил! И все же...

Да, да, многое понимаю: не слишком-то психологически приспособленная для рыночной экономики (еще Искандер шутил над чегемцами, заламывавшими на базаре несусветные цены и из гордости предпочитающими увозить свой товар обратно, чем цены снижать), пораженная грехами больших стран и т.д. и т.п., Абхазия, по крайности, еще не потеряла шанс, нами, Россией, бездарно профуканный.

“Счастлива та страна, в которой ничего не сделано”, — писал когда-то великий француз великой немке, она же российская императрица Екатерина. Что говорить, являемое историей количество упущенных шансов может и подавлять, но не вечно же проигрывать.

У Абхазии поистине нет иного выхода, кроме как выжить.

[2004, 31 мая]

А Ленин — опять впереди

В ту пору, когда противостояние в литературе олицетворялось борьбой черносотенно-официозного “Октября” с “Новым миром” Твардовского, в ходу была шутка “Трифоныча”: никакой, дескать, групповщины в помине нету. Просто одни писатели прочли “Капитанскую дочку”, а другие — не одолели.

Выходя из тесных границ этого “мо”, даже в его метафорическом толковании как овладения — или неовладения — хотя бы минимумом культуры, можно сказать: дело и в том, что вычитывали в “Капитанской дочке” и ее, условно говоря, одолевшие. Правоту “революционера” Пугачева? Непреклонность следования правилам чести (Петруша Гринев)? Соблазнительность рабской преданности (Савельич)? Или готовность к “переоценке ценностей”, попрос-

ту — к беззастенчивому переметничеству (Швабрин)?

Сегодня, сдается, вычитываем последнее.

История с Ходорковским, кого так легко продало бизнес-сообщество, или с Леонидом Парфеновым, в устранение коего с телеэкрана вложили-таки личный вклад не столь знаменитые коллеги, — это в конце концов лишь то, что наиболее на виду (олигархи, ТВ!). Дело глубже, вернее, шире: слово “предательство” подменилось невинным — “прагматизм”.

Уже перестали стесняться сотрудничества с жестоко репрессивным КГБ 60-80-х годов, то есть своей стукаческой роли; не говорю о призывах к стукачеству новой формации, когда нам в пример ставят жителей США, добродетельно доносящих на соседа, недоплатившего налог или не там припарковавшего машину (из виду небрежно упускается пустячок — некоторые различия между их и нашим государствами в понимании карательных функций).

А уж что толковать о былом членстве в КПСС! Хотя лично мне ни единого разу, ни в легкомысленные 60-е, ни в циничные 70-е, не удалось повстречать человека, который вступал бы “в ряды”, не испытав дискомфорта.

Последним искренним коммунистом был, возможно, один Хрущев.

Вообще, эта мемуарно-ностальгическая вселенская смазь: “Мы все были в КПСС... Мы все аплодировали Брежневу...” — не род забывчивости. Это даже гораздо хуже, чем сам по себе

возврат к “старым ценностям”, ритуалам и символам вроде михалковского гимна или пущенных на поток бронзовых голов президента. Это попытка возврата к тому старому, которого не было. О котором Брежнев-Андропов-Черненко могли лишь мечтать.

“Мы все...”. Да не все, не все! Не было поголовной глупости, как и поголовного стукачества; было рабство — да, но не добровольное. Далеко не всегда восхищавшее самих поработанных.

“Никто не повинен в том, если он родился рабом; но раб, который не только чуждается стремлений к своей свободе, но оправдывает и прикрашивает свое рабство... такой раб есть вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам”.

Представьте, Ленин. 1914 год. “О национальной гордости великороссов”. Как ни крути — о гордости!

При всей ленинской неискупимой вине перед Россией можно гадать, а то даже и угадать, как бы он воспринял картину... Ладно, оставим народ, который он презирал, интеллигенцию, которую ненавидел. Но — его “старая гвардия”, сперва принявшаяся лизать сталинский зад, а потом, будучи послана этим “Лениным сегодня” на смерть, продолжавшая славить его...

Вопрос на засыпку: коли так, каковы же вскорости будем “мы все”? Во что превратимся мы с вами, то есть общество в целом, если

избираемая нами “элита” хищно высматривает в российском прошлом традицию...

Уж разумеется, не гриневских понятий личной чести и общего долга.

Нет, говорю, тут привлекательна совсем иная традиция, а именно... Впрочем, не умея сказать выразительнее, почтительно и благодарно присоединяюсь к Владимиру Ильичу.

[2004, 19 июля]

Козаков – реваншист

Сегодня, когда он вместе с примкнувшими отмечает свой юбилей (семьдесят!), по ТВ на канале “Культура” пройдет премьера его телеспектакля “Медная бабушка” — по Леониду Зорину. Та самая “Бабушка”, что была им поставлена в ефремовском МХАТе с гениально, как говорили, сыгравшим Пушкина Роланом Быковым, но запрещена. Министром Фурцевой (“Это вы — про Солженицына!”) и, увы, мхатовскими стариками, не смирившимися с Быковым: “Этот урод?! А у вахтанговцев в Пушкине — Лановой!”.

Телеспектакль я уже видел. Это большая работа. И, конечно, рискованная.

“Ты можешь сыграть гения? Ну и играй! Я не могу!” — помнится, нервничал Козаков, играя себя, Козакова, в фильме Романа Балаяна “Храни меня, мой талисман”, — и как раз в связи с

Пушкиным. Но гения не играют и в “Медной бабушке”, даром что замечательный артист Гвоздицкий сперва ошеломляет сходством с ливневским портретом Пушкина, потом заставляет — по крайней мере меня — мучительно привыкать к мысли, кого нам изображают, а вскорости побеждает сомнение. Играют судьбу гения, зависящую от нас; оттого из актеров, превосходно исполняющих роли (Тараторкин — Вяземский, Тюнина — Фикельмон, Александр Яцко — пронзительноглазый Николай I), все-таки выделяю Валентина Смирнитского. Его Соболевский — остро слов, каламбурист, умница, но не гений, человек той среды, где мы все, не гении, обитаем, и потому пронзительно сознающий предрешенность судьбы своего гениального друга.

Все же, значит, Фурцева по-своему, по-куриному, но безошибочно учуяла нечто. На Солженицына не намекали; вообще все наши гении не похожи один на другого, это мы не меняемся.

Продолжая о реваншизме: Козаков всю жизнь спорит с судьбой.

В давнем письме ко мне он перечислял свои роли, к нему не пришедшие: Меркуцио и Тибальд, Яго, Кречинский, Дульчин, Протасов, Астров, Людовик в “Мольере”, Воланд, Коровьев... То есть кое-что, не сыграв, все же как бы сыграл, отдав в своих телефильмах Дульчина Олегу Янковскому, Кречинского — Ефремову-младшему, да и булгаковского “Мастера” не

упустил, недавно блистательно записав на трех дисках моноспектакль. Но для меня Козаков удивителен еще и тем, что спорит не только с судьбой, а и с профессией.

Поясню.

Смешно сказать, но я сострадаю актерам — впрочем, и режиссерам — даже из самых удачливых и знаменитых (почему и смешно). Их зависимости от сиюминутного успеха, от аплодисментов или шиканья, обошедшей в принципе — о, далеко не всегда соблюдаемом, — литератора. Любого. Какого-никакого.

И еще. Их профессия словно бы может вполне обойтись без нагруженности культурой. Неважно ведь, много ли книг прочитали — или не прочитали — Луспекаев или Евстигнеев; разве второму из них его, ну, скажем, не слишком большая начитанность помешала сыграть профессора Преображенского, реликтового интеллигента? Но зато какой возникает соблазн — общий, особенно внятный середнякам! Во-первых, коли мы люди, изначально зависимые от успеха, вали, ребята, все на продажу и на потребу, а во-вторых — чего мудрить-умудряться? Культура... Да кому она, на хрен, нужна в балагане?

Объяснять ли, что в наши “рыночные” времена оный вульгарный соблазн выглядит уж таким обоснованным?..

Вот почему сегодня, почтительно-ретроспективно оглядывая сделанное Козаковым, констатирую: ни одна из форм соблазна не своро-

тила его в сторону. Хотя бы и потому, что он едва ли не больше всего ценил независимость — штуку и вообще нелегко достижимую, а уж на театре...

Был, правда, момент, когда тоже захотелось оглянуться — в час его отчаянного отъезда в Израиль, что, признаюсь, для меня было личным горем (даже не из-за самого по себе расставания, другие были уже времена, не воспрещавшие встреч, просто думалось: не приживется, затоскует). Помню, тогда мы с женой стали прикидывать, сколько же им сделано здесь, хотя бы лишь на ТВ, где он несомненный классик, вслед за Фоменко, Захаровым, Эфросом, рядом с ними. (Не одни же “Покровские ворота”, чья “хитовость” Козакова почти удручает, а — “Безымянная звезда”... “Визит дамы”... “Фауст”... “Это случилось в Виши”... “И свет во тьме светит”... Не говорю о том, что он, слава Богу, вернувшись, поставил еще.) Тогда почудилась некая дыра, образовавшаяся с его отъездом, — горечь разлуки не сразу позволила осознать простейшее: да не дыра, а заполненность, остающаяся с нами.

...Давид Самойлов в одном из дружеских полусерьезных посланий, по числу коих Козаков, кажется, рекордсмен, когда-то писал ему: “Ты, Миша, Фауст и Арбенин, /Был Гамлет, будешь и Полоний...”. К слову, был потом и Полонием, опять же явив независимость нрава, уйдя из не милого ему спектакля Глеба Панфилова; побывал даже Призраком отца Гамлета у Петера

Штайна, родив хорошую и невеселую шутку: дескать, осталось сыграть череп Йорика. Но сыграл — притом потрясающе! — Лира (начав, как известно, юным Гамлетом — какой простор для нехитрой символики!).

И дальше: “...А для меня ты, Миша, ценен / Тем, что всегда не посторонний”. И т.п.; остановимся на том, что — да, “не посторонний”, ни для Самойлова, ни для меня, ни для всей нашей жизни. Что важно, “всегда”.

Когда нынче в “Лире” он выходит в финале с маленькой девочкой на руках (такой его безумный король видит Корделию), зал... Ну понятно, что делается с залом — после Беслана! Но это ведь было и до, будя в нас то, что, пожалуй, уснуло бы, не будь искусства. А, вероятно, только на него и надежда.

[2004, 14 октября]

От моей жены убегал милиционер

Из всех выдающихся зрелищ, которые я за свою жизнь пропустил, жалею не о каком-нибудь легендарном спектакле, а о том, как от моей жены бежал милиционер.

Было это в разгар перестройки на Даниловском рынке, где жена, выбирая овощи, заметила: мент обходит торговцев и велит каждому пополнять его сумку. Жену это возмутило, она попыталась экспроприатора урезонить, а когда тот отмахнулся, продолжив изъятия, пошла за ним следом, громко требуя предъявить служебное удостоверение. Тут он и дал деру, с рыси переходя на галоп!

Моя разбушевавшаяся правозащитница направилась в тамошнее отделение милиции, потребовав от коллег беглеца разъяснений на сей счет. Нынче блюстители правопорядка догадались бы в ответ на такую наглость надеть на-

ручники, сунуть в карман патрон или пакетик с наркотиком, заодно объявив, что гражданка нанесла увечья нескольким сотрудникам. А тогда отделались лениво-издевательским: вам что, делать нечего?

Почему вспомнилось? И почему ностальгически?

Ну вот, скажем, замечаю за собой следующее. Будучи патриотом — уж касательно спорта без сомнения, — в годы, когда наши футбол и хоккей стали падать ниже и ниже, я обнаружил, что радуюсь очередному поражению сборной. Потому что оставалась надежда: устыдятся! Сделают выводы! А сейчас... Продули португальцам 7:1 — и что? Даже злой радости нет, как нет надежды.

Да что спорт! Вот политологи с экранов ТВ рассуждают о политике США или украинских выборах: “Это было бы хорошо для России... А это не в наших интересах...”, и всякий раз изумляюсь, до какой степени в суждениях профессионалов выхолащивается нормальный человеческий смысл. Для какой России? Для чьей? Где, укажите мне, сходятся интересы монетизированной пенсионерки и Зурабова, если верить тому же ТВ, счастливо присмотревшего для поместья неоглядные и бесценные земли?

Не в первый раз говорю: как бы ни был отвратителен лицемер, оголтелый циник много хуже его. Ибо то, что грех лицемерия вынужден существовать, прекрасно: значит, не умерла добродетель, значит, престижно и выгодно

ей подражать. Но сегодня вношу поправку: есть нечто страшнее даже цинизма — апатия.

Хотя и это не совсем так. То и другое сосуществуют, порождая друг друга. Ладно, самокритично ограничусь собой: допустим, что это я тяжело заболел апатией как злободневной формой отечественного недуга — постоянного и глубочайшего разрыва меж властью и нами. Сталина боялись и обожали; Хрущева не любили и насмешничали; над Брежневым хохотали; Черненко, явившись, родил презрение и ту же апатию; а Путин? Его-то, судя по рейтингу, любят?

Но любовь не бывает без страсти и ревности. Страсть старательно имитируют, высылая демонстрантов с казенными лозунгами: “Путин, мы с тобой!”. Ревность... Но к кому ревновать? Разве что к тому гипотетическому преемнику, на чей счет пророчат: мол, нынешний — дзержинец, а вот уже явится вылитый Берия! Так что пусть будет, как есть. 7:1 все-таки не 12:0. Не всеобщий ГУЛАГ...

Коли уж речь почему-то зашла вдруг о спорте, вот еще странность. Вернее, закономерность. Чем и кем гордимся? Россиянином Костей Цзю... Россиянкой Марией Шараповой... Курникова — и та у нас россиянка!.. Произнося это, не краснеем, а стоило бы, потому что им пришлось уехать, бежать из России, дабы получить возможность стать теми, кем стали. А если бы папа Шараповой не увез ее с пресловутыми семью сотнями в российском кармане?

“Как хорошо, что Зворыкин уехал и телевиденье там изобрел! ...Как хорошо, что уехал Набоков...” — писал Окуджава, не отказывая из-за этого России в любви, выражая любовь через боль. Но уж считать Зворыкина и Набокова нашеньскими мы навсегда потеряли право, и если гордимся доблестным Костей и очаровательной Машей, то тем самым жалко самоутверждаемся за чужой счет. За счет тех, благодаря кому они осуществились. Впрочем, гордость как не понять? Хвастать, что всем нам, оставшимся здесь (пока апатичным, завтра — озлобленным?), предоставлена нормальная жизнь, увы, не приходится.

...А что до эпизода, которым я начал, одно мешает мне даже в мыслях насладиться пропущенным зрелищем. Будь я тогда рядом с женой, наверняка удержал бы ее: брось, не стоит. Их не исправишь. Противен я себе в этой роли, особенно потому, что оказался бы прав.

[2005, 20 января]

Ксени фобия

Для начала — сюжет юмористический. Ну почти.

Блистательная карьера С.В. Михалкова началась в момент, когда “Известия” напечатали его стихотворение “Колыбельная”, спешно переименованное автором в “Светлану”. И даже давайте поверим ему, что это событие совершенно случайно совпало с днем рождения Светланы Сталиной, как случайностью было и то, что именно вслед за тем высочайший отец задумал улучшить бытовые условия никому до тех пор не известного стихотворца. И орден Ленина, врученный через три года, также чистое совпадение. Зато вот, кажется, уже из разряда железных закономерностей.

Примерно так же, как ухажер светлейшей Светланы Алексей Каплер попал в лагерь за то, что свой правдинский очерк из воющего Ста-

линграда представил в виде письма к любимой, обитающей в Кремле, Сталин и в довоенном 1933 году не простил покушения на стихи, посвященные дочке. А именно — пародии, сочиненной Николаем Эрдманом и Владимиром Массом и по простодушию, спьяна оглашенной на кремлевском банкете Василием Ивановичем Качаловым.

В самом деле — разве не обидно? Не язвительно? У Михалкова было, к примеру: “Черепаха рядом дремлет, / Слон стоит, закрыв глаза. ...У далекой у заставы / Часовой в лесу не спит”. У пародистов: “Видишь, слон заснул у стула, / Танк забился под кровать... Лишь один товарищ Сталин / Никогда не спит в Кремле”. И т.д. В общем, тот же остролов Эрдман получил возможность подписывать письма к матери: “Твой Мамин-Сибиряк”.

Каков мстительный кремлевский папаша! Но самое любопытное, что — отбой, дорогие читатели. Хотя бы в этом смысле не возведем на Вождя народов напраслины. Эрдману он если и мстил, то за запрещенную им же гениальную комедию “Самоубийца”, что же касается шаржа, тот появился на свет двумя годами раньше столь на него похожих михалковских верноподданнических стихов.

Казус вообще-то не из новых. Пародия нередко обгоняет оригинал, карикатура — то лицо, которое вот-вот явится в сущей реальности, подчас ужасая. На сей раз шарж обогнал... Да не самого Михалкова с его нагляднейшей эволю-

цией, бог с ним совсем, но — стиль лирики соц-реализма. Вернее, стиль советских идеологии и психологии, когда в страшные тридцатые годы невиданно расцвела сентиментальность, теща-палачей и долженствующая умиротворить их жертвы. Стоит вспомнить фильм “Цирк” с его колыбельной (опять!), поистине убаюкивающей народное сознание, — и убаюкали ведь, по сей день отзываясь ностальгией по Светланному отцу...

Но давний казус поучительно вспомнить и потому, что ныне снова живем среди шаржей, карикатур, ярмарочных размалеванных рож.

Примеры? Намеренно беру те, что успели намозолить глаза.

Из сфер госполитики? Да что угодно, хоть наше участие в украинских выборах — с дважды поздравленным неизбранным Януковичем, с Тимошенко, из “уголовной преступницы” мигром обращенной в персону грата.

Из области быта? Да хоть и пресловутый Куршевель, французское местечко, ставшее синонимом хамского разгула, и если когда-то, встречая за границей “наших”, робко кучкующихся, ты испытывал неловкость и нежность при виде плохо одетых мужчин и чересчур броско — женщин, то нынче — стыд, стыд и стыд! Если уж и французы даже перед телекамерой не скрывают презрения к новым “нашим”...

Из разряда персон? Ох! Ну кто же еще, если не та, чье имя произнести — будто признаться в неприличном знакомстве. Но, представьте,

готов считать ее, кого пресса вовсю честит “содержанкой”, фигурой не менее чем исторической. Хотя бы и потому — да, да! — что именно Ксения Собчак может пролить некий свет на характер и эволюцию того явления, которое именуем “российской демократией”.

Во всяком случае, я не могу отделаться от мысли, а как бы Анатолий Собчак отнесся к облику и приключениям дочери.

Мама-сенатор, уже аттестуемая как “мама Ксении Собчак”, та одобряет. Пуще того. “Ваша аристократическая семья”, — говорит на “Эхе Москвы”, уж не знаю, насколько серьезно, ведущая, и мама воспринимает это как должное. “Наш питерский стиль”, — говаривала уже она сама, и возникал вопрос: а может ли — если может, то как скоро — этот стиль, воплощение реликтовых интеллигентности и воспитанности, утвердиться в семье и среде свежих выходцев из Брянска и Харькова?..

Спешу защититься. Заподозрит ли кто меня, пацана с московской окраины, в некоем столичном снобизме? Тем более нежно помню прекрасного прозаика, друга Шварца и Ахматовой с совсем уж не аристократическими ФИО, Израиля Моисеевича Меттера — как нарочно, харьковского еврея, ставшего истинным питерским интеллигентом, от которого лично я кое-что почерпнул относительно воспитанности и даже манер.

Что касается Анатолия Собчака (пусть земля ему будет пухом, а если и его вскоре начнут

поминать как “папу Ксении”, не моя вина), то, возможно, его клетчатый пиджачок плюс говорливость завязного лектора, вероятно, любимца студенток, действительно казались знаками независимости на дуболомных съездах, но потом... Предупреждаю: вспоминается мелочь, сущий пустяк, однако иными личными впечатлениями не располагаю; в общем, как случайно встреченный после какой-то премьеры в кабинете Марка Захарова Собчак обходил присутствующих и первым совал дамам свою пятерню, тем самым являя свой же демократизм.

Но совсем уже не пустяком показалось телевизионное впечатление, когда в передаче “Без галстука” он демонстрировал Ирине Зайцевой свою, по тем временам потрясавшую роскошью, дачу, приговаривая: чтоб занять такое, надо работать! Работать надо! Я вот — книги пишу... Лекции читаю... Вот и заработал!..

Не вторгаюсь в область свидетельств и слухов, как и откуда бралось подобное благосостояние. Мне это даже и неинтересно. Я — о стиле: бытового поведения, самой жизни.

Помянутый Евгений Шварц (тоже, кстати, не из графьев, даже не из Питера, из Казани и Ростова) писал: “Слово “интеллигенция” сейчас, к середине века (XX. — *Ст. Р.*), утратило свой первоначальный, относительно точный смысл. В начале века врачи, адвокаты, инженеры стояли примерно на одной степени развития. Какой — это второстепенно”. Вот это —

целое, это — цельность, если угодно, корпоративность, создавшая стиль поведения, который еще долго казался престижным и образцовым в отечественной реальности. Тут по-особому важно слово “второстепенно”, эту цельность подчеркивающее и заодно исключаящее экзальтированные придыхания: ах, мол, чеховские интеллигенты! Разные были — но были — интеллигенты: сам доктор Чехов, и идеальный доктор Дымов, и спивающийся доктор Астров, и даже доктор Ионыч (предавший себя и среду, но существенный именно как исключение из целого)...

Сегодня единственно корпоративны, потому и являются стилеобразующей силой, они — “элита”, деньги и власть, что, впрочем, одно и то же; завсегдатаи закрытых клубов, хозяева модных курортов.

“Страшно далеки они от народа”? Если бы так. Далеки — своим несусветным благосостоянием, возможностями своими, но эстетику нашей с вами жизни, ее, повторяю, стиль (или бесстилье, учитывая бессмысленность избыточной роскоши, нестыковку намерения казаться со способностью быть) определяют, увы, они.

Они — такие, какими мы их видим даже по нашему оскопленному ТВ. А какое лицо будет у нас, у населения, когда и эта карикатура превратится в портрет? Страшно подумать, потому что, не имея их возможностей, мы, бедные, нищие, усвоим их жизнь как идеал. Недоступный, как все идеалы, но желанный, дразнящий своей

недоступностью, черт-те на что нас толкающий, подобно наркоману в период ломки, — и ничего худшего, чем эта перспектива, я для России не могу представить.

Если Россия останется. А и останется, но вот такой, — разве это будет Россия?

[2005, 3 марта]

Возвращение Эйдельмана

“Он был гений...” — слово, произнесенное не вскользь, не за хмельным застольем, а со сцены Государственного музея Пушкина, на вечере, посвященном семидесятипятилетию Натана Эйдельмана. Произнес Владимир Рецептер, словно преодолевая стеснительность и внушая нам (а среди “нас” — Вячеслав Иванов, Сигурд Шмидт, Александр Городницкий, Мариэтта Чудакова, Владимир Лукин, Вениамин Смехов, Михаил Козаков, Сергей Никитин, Алла Демидова...): хватит, дескать, друзья, недооценивать жившего с нами рядом.

...Признаюсь, меня неизменно бесит тупо повторяемое: история не терпит сослагательного наклонения. Господи! Смерть и та знакома с альтернативой, ежели допустить существование Царства Божьего. А уж история, нами толкуемая, пересматриваемая, перетряхиваемая

мая (вот что уроков не извлекаем, это, увы, так); она, которая не менее, чем искусство, является “второй реальностью”, ибо “первой”, то бишь сущей действительностью, ее не сделают никакие документы...

Эйдельман для меня — само воплощение этого сослагательного наклонения. И не только в том частном смысле, что прикидывал, “если бы да кабы”, например, в книге “Апостол Сергей” воображая Россию в гипотетическом случае декабристской победы (“Не было. Могло быть”).

“Историк, писатель” — говорят о нем словари. Точнее бы: историк-писатель, через дефис. Историк-художник — тип, знакомый по Карамзину, по Ключевскому (не по Сергею Михайловичу Соловьеву), кто фактов не искажал, истории не беллетризовал, но вносил в исследование страсть и своеобразие собственной индивидуальности. Свои надежды. Свои разочарования.

Эйдельман был историческим оптимистом. Выбирал для себя положительных героев родной истории — Пушкина, Герцена, Лунина, Пущина, того же Карамзина; единственное исключение, сказала его вдова Юля, Павел I, а я и тут не то чтобы возражу, но дополню. Ведь и в “русском Гамлете” увидена нереализованная положительность, благие намерения, коим не суждено было осуществиться; очень российская тема.

Не просто люблю — обожаю рассказ Городницкого, как на заре перестройки они с Ната-

ном, естественно, выпивая, обсуждали перспективы страны и, в частности, возможность коммунистического реванша. Да, сказал Эйдельман, это может случиться, но — ненадолго, не надо отчаиваться, на что собеседник возразил: так-то оно так, но нас с тобою за этот период успеют убить.

Эйдельман рассвирепел и поставил на стол рюмку. “Не хочу с тобой пить. Оказывается, Сая, ты шкурник!”.

Разговор, который невольно переосмыслишь заново. А сегодня?! Чувствуя себя немножко садистом-экспериментатором, думаю: доживи Натан Эйдельман до Путина, до реванша уже чекистского, до бесконечной Чечни, до суда над Ходорковским, до страшиноватеньких “Наших”, сохранил бы он свой оптимизм?

Не знаю... Быть может... И это сомнение вызывает во мне новый приступ тоски по другу, которого мне остро не хватает уже полтора десятка лет.

Тем более благодарен издательству “Вагриус”, чохом выпустившему пять томов: “Лунина”, “Апостола Сергея”, “Последнего летописца”, “Грань веков”, “Большого Жанно”. Честно сказать, замечал с ревнивой печалью, что со смертью Натана его... Ну не то чтоб забыли, слава Богу, нет, но вроде бы отодвинули с первого плана памяти; впрочем, оно и понятно, учитывая смену духовных приоритетов да и то, что для многих важно и ощутимо было его физическое присутствие в нашей текущей жизни.

Сейчас он возвращается, и в том, что будет востребован, у меня сомнения нет. Вот уж в этом-то смысле я, ему в подражание, уверенный оптимист.

[2005, 21 апреля]

Цензура моды, или Путин и вопросы языкознания

Между прочим, та бедная, засмеянная женщина, которую некогда угораздило выпалить: “У нас секса нет!”, была не совсем не права. И даже более права, чем могла предположить. Секса действительно не было. Те общеизвестные телодвижения, которые ныне обозначают столь деловито (“хороший секс” — как технологический термин), прежде обозначались кем — в словесности да и в быту — стыдливо-уклончиво, кем — в мужских похвальбах и на дверях общественных туалетов — откровенно похабно. И именно деловитость вне позывов любви да, кажется, и неотвратимой страсти утвердилась словом-термином, на что, скажем, не решился даже — или тем более — чувственный Хемингуэй, не пошедший дальше словечка “это”. Может, как раз потому, что был чувствен.

Рискуя быть поднятым на смех, рассуждая на скользкую тему, но вот случай, когда словоупотребление впрямь нечто переломило в общественной психологии интимных отношений. То есть сперва отразило и выразило, а уж затем утвердило и узаконило.

Слово вообще способно на большее, чем мы, стихийные словотворцы, сами предполагаем.

Например: “модный режиссер... модный писатель...” — этот эпитет, который, наверное, льстит Кириллу Серебренникову или даже умному Григорию Чхартишвили-Акунину, начисто избавился от подозрительного оттенка, когда биограф Мейерхольда А.К. Гладков, цитируя мэтра, считавшего моду признаком лжеискусства, вслед ему комментировал: “...Настоящее искусство всегда... идет впереди моды, которой всегда присущи распространенность и массовый тираж... Мода — это всегда множественность копий...”.

А “актуальное искусство”, что говорится в безусловную похвалу? Прежде-то говорилось: “конъюнктурное”, обозначая объект презрения, и разве эта перемена не отражает поистине тектонический сдвиг опять-таки психологии — на сей раз искусства?

“Слово — полководец человеческой силы”? Но и слабости. И глупости. И пошлости.

Надоело да и, казалось бы, поздно насмешничать над засорившей речь что обывателей, что интеллектуалов сорняковой оговоркой “как бы”; шаржированный вариант: “Я как бы

похоронил как бы родственника”. Из-за чего и Тютчева хотелось судорожно почистить: “Как бы резвяся и играя...”. Так что я, помнится, необдуманно возликовал, когда треклятое “как бы” вдруг вытеснилось рефреном “на самом деле”, — чем черт не шутит, подумалось, может, говорящая масса нюхом почуяла, ну, не опасность, на это мы традиционно не способны, но именно пародийную пошловатость зыбкой картины существования, которую сами себе и рисуем?

Какое там. Само по себе как бы утверждение как бы всамделишности, переведенное на уровень словоблудия, лишь доказало нетвердость нашего существования. В частности, исторического.

Свежее впечатление — прочитанная... Нет, виноват, недочитанная книга; дочитать “Вольтерьянцев и вольтерьянок” Аксенова, каюсь, не хватило терпения, как и талантливейшему автору не достало интереса к русскому XVIII столетию и его языку. Потому устраниюсь от целокупной оценки, позволяя себе даже обрадоваться, что былой друг получил как-никак премию “Букер”. Я — лишь об одном свойстве романа.

Не говорю о всяких там “вельми”, “естьли”, “сиречь”, “понеже”, которые без особенного учета временной прописки должныствуют придать архаичный налет сегодняшнему бойкому говорку; торопею, правда, перед бесперечь повторяемым “уноши” и “унец” — это взамен

“юношей” и “юнца” в повествовании о времени Фонвизина и Державина. Не ропщу — ну, честно признаться, стараюсь унять собственный ропот, когда Сумароков из Александра Петровича будто по оговорке оборачивается Александром Исаевичем, а нынешнее “до лампочки”, словно архаизуясь, превращается в “до свечи”. Что поделать, общепринятые постмодернистские шалости. Волапюк взамен нормативной и дивной речи “столетия безумного и мудрого”. Стеб с его “буттерброттерами”, “романтисизмом”, с “евонной типа супругой”, даже — с “великим члови-экко”.

Дело не в этом. Дело в том, что все мои сомнения и вопросы, едва зародившись, появились бы на корню.

Допустим, спрошу: а чего это Никита Иванович Панин произведен в генерал-аншефы, в то время как таковым был брат его Петр? Почему уже не автор-повествователь, но императрица Екатерина речет о Вольтере: “...от нашего шаловливого старче”? “Старче” — звательный падеж, что талантливому русскому писателю Екатерине Алексеевне было-таки ведомо. И т.д., и т.п. — спрашивать бессмысленно, ибо: “Сдурел? — по своему праву может ответно спросить товарищ моей молодости Вася. — Это ж не твоя монография о Фонвизине, это мой — мой! — игровой и шутейный мир превыше всяческой там скрупулезности. Позабыл, что ли, пушкинские слова, что писателя (А.С. уточнял: драматического, но какая разница?) должно

судить по законам, им самим над собою признанным?”...

И я опущу руки.

Да и опустил — уже давно дезертировав из рядов литературных критиков. Отчего с признательностью воспринимаю тех — немногих, — кто, как Андрей Немзер, Наталья Иванова, Владимир Новиков, до сих пор тщатся наводить порядки в махновском воинстве, в разброде напоминать о критериях, поминутно рискуя, что эти критерии всегда могут быть глумливо отвергнуты с воем: “Гуляй, Вася!”. (В данном случае не Аксенова имею в виду.)

И гуляют. Гуляем...

В разговоре со мной Лидия Борисовна Либединская, в данном случае нелишне напомнить — урожденная графиня Толстая, рассказала, как ребенком, на рубеже 20–30-х, вбежала к бабушке: “Шамать дашь?”. Та глянула: “Выйди из комнаты и приди в себя”. И когда мы с Л.Б. принялись вспоминать, сколько уже в 30–40–50-х было великих чтецов великой прозы, коим был щедро отдаваем радиоэфир, — Яхонтов, Журавлев, Закушняк, Каминка, Ильинский, Антон Шварц, Всеволод Аксенов, Сурен Кочарян, — она добавила: при них, дескать, так говорить было действительно стыдно. Приходилось прийти в себя. Они сохраняли и охраняли русский язык, противостоя даже литераторам с их Земшаром или Пампушем (памятник Пушкина), уступавшим соблазнам советского новояза.

Теперь же... Теперь спикер Госдумы Олег Морозов, восхваляя в интервью красноречие Минтимера Шаймиева, восклицает: “Супер!”, вероятно, желая явить близость к электорату с его языком. А путинские “мочить” или “тырить”?..

При той, еще не разрушенной системе русского языка сама Ахматова, в военный год прямо обозначившая собственный приоритет: “Но мы сохраним тебя, русская речь!..”, — могла восхититься “Звездным билетом” того же Аксенова — и именно его мальчишеским сленгом. Радостно заявив: “Половины слов я не понимаю” (воспоминание С.И. Липкина). Это воспринималось ею как острый перчик, добавлявший пряности заезженной речи, — после того как государственная цензура долгие годы брала под мертвящий присмотр само слово, настолько, что не одни лишь языковые вольности Бабеля или Зощенко, но и диалектизмы верноподданного Шолохова искоренялись при переизданиях “Тихого Дона”. А оговорки и опечатки карались, как лагерные “шаг влево, шаг вправо”. Вот замечательный документ 1943 года — письмо Главлита о контрреволюционных опечатках “Сталингад” и “гавнокомандующий”, что расценивалось как “дело рук врага”.

Дикий диктат? Нелепая крайность идеологизации? Конечно. А нынче, как сказано, Гуляй-поле?

Ах, если бы, хотя и тут — диктат, только тусовки, а не власти и коллектива. Цензура “мо-

ды” и “актуальности”. Но пусть даже и так — Гуляй-поле, идеологическая и языковая махновщина, интеллигентская волюшка сродни той, крестьянской, что поманила Опанаса, героя Багрицкого, пожить наконец на ничейной земле!..

Беда в том, что вправду — ничейной. Ничьей. Никакой. Реально не существующей. Призрак бродит по России, призрак нашей — нашей? — истории, нашего — нашего? — настоящего, нашего — нашего? — языка. И если веселое безразличие “Вольтерьянцев и вольтерьянок” к исторической фактуре можно хоть и не одобрить, не принять, но на худой конец хотя бы понять (так Давид Самойлов, воображая грядущего автора, у которого Пушкин поедет в серебристом автомобиле с крепостным шофером Савельичем во дворец к Петру, почти благодушен, воспринимая подобные сдвиги как неизбежность), то, говоря о сегодняшнем языке, преобладающем на ТВ, в быту да и в книгах, трудно не вспомнить концовку знаменитого рассказа Бредбери. О путешественнике во времени, который отправляется в прошлое из страны, где торжествуют демократия и законы правописания, но, неосторожно нарушив ход былых — мельчайших — событий, их невидимую связь, возвращается туда же — и не туда. По его, выходит, вине переменялась власть, став вульгарно-тиранической, а речь искажилась до уродства...

Такая вот взаимозависимость. И ответственность. Тоже — взаимно...

Выходя за пределы “ихней” фантастики: страна, куда более нам с вами знакомая, где политики говорят на жаргоне блатном или, что, в сущности, то же, “элитном”, тусовочном, где литература рабски подражает той улице, которой сама должна бы давать язык, где телевидение...

Да что толковать! Иммуитета лишается эта страна. Культурного иммунитета. Нравственного, естественно, тоже. И, в точности как юмор Дубовицкой и Петросяна, для начала невинно отбирая среди публики только себе подобных, начинает затем перевоспитывать в своем духе и прочих, тех, кто был как будто бы поразборчивее, опасно расширяя свою аудиторию, образуя дурную бесконечность, — точно так же, говорю, жаргонная, маргинальная, низкопробная речь, для выражения низкопробности только и годная: “супер”, “клево”, “круто”, “типа того”, “бабло” и “мочилов” плюс “разборки” и “стрелки”... Подумать, кому уподобляемся — или играем во что-то и в кого-то, как ненастоящие герои Аксенова в ненастоящем XVIII веке?.. Словом, вот это, такое становится языком народа.

Если только народ, который утратил язык не то что Толстого и Чехова, но своего собственного просторечия, вообще сохранит право называться народом.

[2005, 11 августа]

В отдельно взятой России

Новая картинка из быта высшего (Господи, ведь это уже всерьез про-износят!) света. На глаза мне попалось описание празднества, которое закатил в честь супруги известный единокров и соучастник письма, одобряющего приговор Ходорковскому, Александр Буйнов.

Кстати, никогда не могу понять: подобные хроники — с перечислением ВИП-гостей и их пассий, туалетов, бриллиантовых и иных подношений — плод ли завистливого восхищения или полускрытого сарказма по поводу хамско-плебейского разгула? От последнего подозрения трудно отделаться: вот хотя бы и данный праздник, постаравшийся всех переплюнуть экзотикой в виде верблюдов, пантеры, слони-хи, тигрицы, слишком уж отдает хлыновщи-ной. Понятно, имею в виду одичавшего от сва-лившегося богатства безобразника Хлынова

из “Горячего сердца” с его фейерверками и дорожками, поливаемыми шампанским.

Оговорюсь: Хлынова, но не Хлудова, какой был, говорят, прототипом героя Островского. Ибо онный “Миша” Хлудов, друг генерала Скобелева, хоть и самодурствовал и тоже, представьте, держал при себе ручную тигрицу, но слыл персонажем немелким, колоритным, талантливым. А наши начинают с подражания сразу пародии. Карикатуре...

Впрочем, картинка, говорю, рядовая. Нерядовым оказался патриотический тост, произнесенный членом президентского совета (тоже, значит, фигурой общественного, государственного ранга) Ларисой Долиной: “За Россию!”. “Только в нашей стране можно всего за полторы недели устроить такой грандиозный праздник, только у нас между людьми возможны такие невероятные отношения”.

Да! Соглашаюсь с персоной, приближенной... Чуть не сказал: к императору... Виноват, виноват: к президенту. “Только в нашей стране...”. То есть в их стране. Ну не в той же, где объявляют голодовку Герои Союза.

Да, в конце концов, Бог с ними, с Буйновым и подобными. С них что за спрос?

Есть старый театральный анекдот. Кто-то сказал тенору: “Вы же идиот!”. “А голос?” — возразил-вопросил тот. И крыть действительно стало нечем: голос наличествовал. Правда, это не совсем применимо к нашей попсе, где тостующий (тостующая?) член президентского со-

вета скорее счастливое исключение, в отличие от того же подписанта-единоросса. Но все равно! Они худо-бедно, а легитимны, ибо выбраны своей аудиторией добровольно, в полном соответствии с ее вкусом и готовностью оплачивать хлыновские причуды. Не зря же наша власть так демонстрирует свое дружество с поп-кумирами, тем самым, возможно, выдавая свое тайное знание о собственной недостаточной легитимности. (К слову, порой недоумеваю, отчего бы, коли так, сразу не выбрать Пугачеву президентом, а премьер-министром назначить, скажем, Кобзона. Уж хуже бы не было.)

А политик? В схожей ситуации может ли он ответить: “А голос?”. Разве что: “А голоса?”. Имея в виду свое “народное избранничество”, да и то, кто поумнее, может, постесняется, вспомнив про степень законности выборов и обоснованности рейтингов.

Вообще я не о попсе самой по себе. Как и не о политиках. Я о сращении тех и других, попсовиков и бюрократов, думцев, министров; притом не о сращении политическом, то есть случайном, потому что подобный союз всегда готов распасться при перемене власти. Вернее, властителей. Говорю о сращении имущественном, о сходстве образа жизни и представлений об этом образе, в чем вижу неуклонное превращение России в подобие дворянской империи.

Конечно, опять же в подобие жестко окарикатуренное. Опошленное.

Уже не смешон застрявший в зубах анекдот, как в Думе или на заседании кабинета министров идет будто бы разговор: дескать, все у нас, господа, теперь есть, пора и о народе подумать. “А в самом деле! Хорошо бы каждому — душ хоть по двести”.

Здесь не место историческим экскурсам, достаточно напомнить сущую банальность: настоящее дворянство, лелеявшее свою независимость, имущественную в том числе, именно потому выработало кодекс чести. Выработало, можно сказать, в собственных интересах. Недаром княгиня Дашкова объясняла кому-то из иностранцев, что разорять крепостных значило бы самое себя вести к разорению. Ныне же...

Но стоит ли пересказывать всеочевидное: как народное обнищание, напротив, растет за счет безответственности объединенной новой “элиты”? Что вправду возможно “только в нашей стране”, где множатся президентские резиденции, растут феодальные замки, а гостей забавляют слонами и тиграми...

[2005, 18 августа]

Свобода быть несвободными

В давний брежневский год сижу, помнится, в доме моего соавтора, и вдруг трудовой процесс прерывает неведомый визитер. Принес очередное “письмо протеста” — время было такое, “подписантское”, — где на сей раз “мы” должны были потребовать ни больше ни меньше, как отмены цензуры. Не вообще, а передачи ее функций общественности...

Кстати, вспомнилось это при чтении книги прелестных баек Константина Щербакова “Житье-бытье”. Среди них — такая. К польскому режиссеру-диссиденту радостно являются победившие наконец представители “Солидарности”. “Мастер, свобода! Отныне мы вместе с вами будем определять репертуар, назначать артистов и режиссеров!”. И мастер торжественно обращается к победителям: “Шановни колледзи! Актор ест до гранья...”. (Переводить ли?

“Уважаемые коллеги! Актер существует, чтобы играть...”. Дальше — общепонятнее.) “...Як дупа до сранья”. На чем и предлагает раз и навсегда закончить “теоретичну дискуссию”.

Увы, мы с соавтором столь находчивыми не оказались. Часа три доказывали пришельцу, что, буде такое — неким чудом — случится, диктат домкомов и пенсионеров окажется страшнее государственного. А потом... Потом плюнули и подписались под ахинеей: неудобно же, столько времени бедняга потратил на нас. Да и не покажемся ли (трусливо подумалось) трусами?..

Хотя уже на следующий день, сквозь заглушку поймав по “Свободе” наши гордые имена в числе иных дураков, я испытал... Нет, не страх (скажем, письмо в защиту Синявского — Даниэля сам рвался подписать, трезво предвидя какие-никакие репрессии), но неудовольствие. С каким осознаешь собственную несвободу — пусть не от власти, а от того, что ей противостоит; все мы, считавшие для себя невозможным вступить в КПСС, тоже ведь словно бы состояли в партии невступающих. Где своя дисциплина. Своя цензура.

Так что волей-неволей (волей, похожей на неволю) ты определял свое место в стае.

Тогда вообще торжествовала ясность, большая или меньшая. “Враги — пред тобой, а друзья — за тобой” (Коржавин). Ежели в однородной массе тех, кто подмахивал письма совсем иного характера, проклинающих Сахарова или

Солженицына, обнаруживалось, допустим, славное имя Товстоногова, то он, как рассказывали, в те дни не выходил из дома, не брал телефонную трубку, оправдываясь, что за ним театр и он вынужден думать не только о личной своей репутации. А сегодня...

По сей день не выходит у меня из головы “письмо пятидесяти”, приветствующее государственную расправу над Ходорковским, — до чего же там разные люди! И мною воспринимаемые разно: одних, что скрывать, как презирал, так и презираю, другие отдаленно симпатичны, кое-кого — даже! — душевно люблю, оттого их “подписантство” переживаю болезненно. Что их свело вместе? Понятно: одни рвались подписать, страшась, чтобы не обошли... Кого-то застигли врасплох... Кто-то, говорят, подписал не вчитавшись... И т.д., и т.п. А при том — какая разница между этим и тем временем!

То есть и сходство есть. В страну возвращается страх, утверждается прямая зависимость от ухмылки власти или ее чуть-чуть приподнятой брови. В общем, ребята, если покуда не “суши сухари”, то “суши весла”. О вольной гребле забудьте.

Но я не об этом. Я о множественности причин, дающих ныне возможность (конечно, не всем, а лишь тем, кто в этом еще нуждается) сохранять самоуважение. И даже не заблуждаясь насчет нынешней власти, тем не менее с горделивым сознанием собственной суверенности одобрять акт ее насилия. А что, в самом деле?

Кто обязан любить олигархов? Ходорковский — что он, Сахаров, что ли? Да на что же нам вообще внутренняя свобода — в частности, как право не зависеть от суда “либеральной общественности”?..

Какое из времен хуже? (“Подлей”, — говорил Некрасов.) Прежнее ли — имитация “морально-политического единства”, когда и противостояние оборачивается нежеланной формой партийности? Нынешнее, когда не устаем повторять: “Все сложнее!”? “Враги — пред тобой”, да, эти сменяемы, однако неотменимы, но уж “друзья” утратили иллюзорную целостность. Взаимно ревнуя, ссорясь, подчас ненавидя друг друга (враг врага?), разрешая себе то, чего заранее застыдились бы прежде: переводя Туркменбаши, одаряя респектабельностью графомана-экстремиста Проханова, радуя власть соучастием в ее акциях...

Какое из времен?.. Не знаю. Знаю лишь, что для живущих хуже, “подлей”, мучительнее то, в котором они живут.

[2005, 29 августа]

Урок элитературы

Начну элегическим вздохом. Прошедшим летом мы с женой простились — и навсегда! — с Малеевкой. С легендарным Домом творчества писателей, завсегдатаями коего были, жутко помыслить, аж с 1963-го. С запущенным, траченным, уже несколько раз перепроданным раем.

Говорят (доверчиво питаюсь упорными местными слухами), теперь он куплен Еленой Батуриной. Или ее представителями. Или... Не важно. Говорят, здание “сталинского ампира”, которое экскурсоводы из соседствующих санаториев смело объявляли именем графов Шереметевых (колонны! портик!), снесут — да, наверное, уже сносят — под корень. Говорят, будет воздвигнуто нечто на уровне и по цене пятизвездочного отеля. Говорят... Словом, много чего будет: и крытое поле для гольфа,

чтобы, значит, играть даже зимой, и вертолетный аэродром. Чего только не наговорят...

Так или иначе: “Которые тут временные? Слазь!”. Мы и слезли. Логично.

Хотя той Малеевки все-таки жаль.

Вспоминаю... Вот на этой скамье у пруда, летом, сидим с Сашей Галичем, а из-за поворота выходит, подумать, Николай Эрдман: живя неподалеку, заглянул Галича навестить. На берегу того же пруда, только ноябрьского, изощренно глумлюсь над терпеливым Гришей Гориным: будущая звезда рыболовства только еще учится забрасывать спиннинг, и леска запутывается и запутывается. С этого крыльца сбегая навстречу Булату Окуджаве, нежданно прикатившему на мой — сороковой — день рождения. Под этим дубом, впрочем, уже несколько лет как сгнившим и рухнувшим, тот же Галич и Толя Аграновский хищно дожидаются, когда один из них отпоет свое, чтобы перехватить гитару. Здесь бродим с моим любимым Семеном Израилевичем Липкиным; здесь — со Славой Кондратьевым, не подозревая — ни он, ни тем более я, — что, воротившись в Москву, он пустит в себя пулю... Да что говорить!

Не пою отходную. То есть почему бы не спеть — и нашему раю, и нам, — но не в этом дело. Как и не в размышлениях насчет прав и возможностей тех, кто теперь (навсегда? или всего лишь надолго?) становится постоянным. С ними все ясно. Как и с нами, оказалось, временными, все, извините, просравшими.

Занимает меня совсем малый пустяк. Опять-таки говорят, что будет сохранено название “Дом творчества”, и прежде-то шокировавшее меня своей пышностью. Сохранено — или узурпировано? С одной стороны — номера, может, по тыще баксов за ночь, гольф, вертолеты; с другой — тени Паустовского, Пришвина, Твардовского, Маршака, Гайдара (не того, не того — дедушки). Эффектно. Да пригласи они меня — за хорошие деньги, предупреждаю! — дизайнером, уж я бы... Правда, на большее, чем придумать портретную галерею тех, кто здесь жил, моего дизайнерского таланта уже не хватает.

Зачем? (Я — об имени.)

Обаяние прошлого и знаменитых, подчас великих имен? Возможно; конечно, ежели допустить, что Галич им дорог не меньше Газманова, а Паустовский соразмерен Оксане Робски.

Или — удовлетворенность победителей, напоминающих себе, кого победили и заместили? Нет, это чересчур тонко.

Зато становится ясен характер нынешней преемственности.

Взять хотя бы первое, что всегда приходит на ум: пресловутый михалковский гимн. Говорим — я сам порой говорю — о воскрешаемой традиции сталинизма; отчасти, может, и так, хотя, если подумать, какой сталинизм? Какие традиции, столь же невоскрешаемые, сколь сама фигура тирана, цепенившего народное,

массовое сознание? (Страх возвращается — это да, уже вернулся, но больше страх за карьеру, за благополучие, подчас и за личную свободу; пока не за саму жизнь. Пока — не иррациональный.)

Не традиция, а пародия на нее — как пародийна замена приоритетов: “Нас вырастил Сталин...” на “Хранимая Богом...”.

У пародии есть одна несомненная сила, одно достоинство: она, случается, переживает оригинал, которому не воскреснуть. Кто помнит не такого уж дурного поэта Щербину — а блистательный Прутков на слуху. Но есть и опасное свойство: она разрушает, унижает... Ладно, скажем: снижает красоту и достоинство. Занесся в “святых мечтах земли”? А мы тебя — мордой в грязь!

Пародией можно восхищаться. Жить в спародированном мире нельзя. Дышать нечем, и если обитатели новой Малеевки (понимая ее широко, не уже России) обходятся своим искусно-искусственным миром, радостно не замечая, что помимо прочего и смешны (на здоровье!), то стоило бы подумать о нас, нижестоящих. Каково существовать в обществе, где “элита”, считающая себя таковой без кавычек, живет по законам пародии? Самовоспроизводящегося гротеска?

...Кстати. Интересно бы знать, какую символическую скульптурную группу поставит в центре обновленного рая любимец семьи Цетрели. “От Гайдара до Гайдара”? Или — “При-

дворные гитаристы Галич и Окуджава поют величальную выходящим из вертолета...”? Да кто бы из VIPов ни вышел — кого попало сюда уже не допустят.

[2005, 10 октября]

Приказано выжить. Из памяти

Огорчился, недавно прочтя: “Эпоха тоталитарного театра проходит”. Стоп. Огорчаться, что проходит — да давно уже прошла — эпоха Погодина, Штейна, Софронова? Однако речь не о них: “Никто не трогает великих режиссеров, “священных коров” того театра, но они принадлежат другому времени — тому, в котором вершили перемены. Наступает (вот оно! — *Ст. Р.*) наше время — тридцати-сорокалетних”.

И — чтоб было еще яснее:

“Уходит поколение, которое нуждалось в театре-доме, и возникает новое, стремящееся к свободе, к тому, чтобы объединяться и собираться для определенных проектов. Нам нравится это всем — и мне тоже”.

Нравится и то, что “уходит”?

Когда так радуются “уходу”, становится как-то зябко на душе. Вспоминается, как торопили

уход Булата Окуджавы: когда освободит место? (Ну освободил — стали ли вы счастливее и талантливее?)

А огорчение оттого, что восклицает не тинейджер после концерта Земфиры, а человек зрелый (“тридцати-сорокалетний”, кажется, даже более сорока, чем тридцати). И талантливый. Режиссер Елена Неvejeина. В результате чего возникает мстительная — и потому, сознаю, нехорошая — мысль: до чего же был яростен и нов ее дипломный спектакль по “Идее господина Дома” аккуратно (каламбур?) в “театре-доме”, на курсе Фоменко, — там впервой для меня блистали Инга Оболдина и Полина Агуреева, — и как усреднился невежинский дар в “Сатириконе” и “Табакерке”.

Впрочем, чур меня, чур! Насчет спектаклей могу ошибаться, да и саму стыдную мысль, едва успев высказать, душу в себе.

Итак, “тоталитарный театр”, он же “театр-дом”. Речь ведь не о далеких Станиславском, Вахтангове, Мейерхольде (тот еще был тиран!), но о ефремовском “Современнике”, о Товстоногове, Любимове, Эфросе, Захарове, Додине, наконец, о том же Фоменко с “фоменками” (вот уж где дом так дом!). Надеюсь, учитель-мудрец простит ученице наскок; я, признаюсь, за него оскорбился.

Несколько лет назад я себя спрашивал: отчего, в отличие от словесности, так расцвел театр — лучшее, что есть (было) в нынешней культуре? Сейчас, к сожалению, вопрос устарел, а тогда

казалось: да потому, хоть отчасти, что там невозможны, бессмысленны вульгарные поколенческие разборки. Хочешь не хочешь, а именно общий дом и разновозрастная семья, где не без свар, не без склок и интриг, но топоров друг на дружку не поднимают. Распадется семья, рухнет дом — и что тогда?

Ах, да: “определенные проекты”... Ладно. В конце концов театр — не моя епархия, и я не заикнулся бы именно на Невежиной, если б ее выступление не казалось мне дурным симптомом. В жизни общественной, а не одной театральной.

Неожиданно вспомнилось вот что.

В рабочей тетради, ныне публикуемой “Знаменем”, Твардовский по горячим следам записывал впечатления от заседания Комитета по Ленинским премиям, где обсуждался — и, разумеется, был закрыт — вопрос о присуждении премии Солженицыну за “Ивана Денисовича”.

Ясно, что были категорически против “бездарности или выдохнувшиеся, опустившиеся нравственно” Грибачев, Прокофьев, Тихонов, Марков. “Что говорить о роли чиновников от искусства — министре Романове, Т. Хренникове или постыдной роли бедняги Титова, выступившего “от космонавтов”, как Павлов “от комсомола”. Титов сказал нечто совершенно ужасное... с милой улыбкой “звездного брата”: “Я не знаю, м.б., для старшего поколения память этих беззаконий так жива и больна, но я скажу,

что для меня лично и моих сверстников она такого значения не имеет”.

Не круто ли забираю — от “ужасного” выступления космонавта (с которым тоже все ясно: при своем героизме был он частью отлаженного механизма) до задиристости режиссера, напротив, “стремящегося к свободе”?

Вот вам еще круче.

Когда смотрю на юные, даже славные лица упрятанных в клетку нацболов (в ком нашло свое наивное воплощение общественное отчаяние, не видящее выхода), когда думаю о дикой несоразмерности наказания, — что подделать, не могу позабыть и лозунга, с которым еще недавно они выступали: “Сталин, Берия, ГУЛАГ!”. (Вероятно, придумано или одобрено их прагматичным лидером.)

Ирония истории?

Жаль, жаль ребят, но ведь и власть, будь она откровеннее, могла бы ответить: ах, вот чего вы хотели? Вот кого звали? Так получайте!..

Из всего этого вывод не хитрый, не новый: освобождение от памяти, болевой или благодарной, для тех, от кого освобождаются, конечно, обидно, но ничего — переживут. Фоменко, может, и не обидится, улыбнется¹. Для тех, кто освобождается, — опасно. История любит иронизировать.

[2005, 31 октября]

1 Не угадал. Петр Наумович был потрясен и даже звонил мне, чтоб удостовериться: неужто подобное было?

Звезда Давида

...Подумал император: “Странно,
Что в небе светится звезда...”
...“Звезда? А может, Божий знак?..”

Давид Самойлов. Струфиан.

И так, заканчивается самоеловский год. Не только в прямолинейном смысле: 85 лет со дня рождения, 15 — смерти. Даже не в том, что вослед двухтомнику “Поденных записей” вышло полное собрание поэм, хотя оно-то и наводит на эти мои размышления...

В поэзии Самойлова сосуществуют, подчас противоборствуя, две стихии. Отчетливое пушкинианство (“...Из поздней пушкинской пляды... Мы, послушники ясновидца...”) — и то, что я еще давно, при жизни Самойлова, назвал лирической эксцентрикой. Впрочем, имя Пушкина и здесь уместно. Андрей Немзер (его ста-

тья-комментарий к поэмному тому превосходна и тем, что, не в пример типовому литературоведению, исполнена волнения и страсти) говорит даже: “Под пером Самойлова “Граф Нулин” встретился с “Медным всадником” — хотя, по правде сказать, встречаются не всегда.

Признаюсь, “Снегопад” — поэма, пристрастно любимая самим поэтом, — по-моему, слишком явно зависим от узнаваемой интонации автора “Руслана” и “Онегина”, и, напротив, именно лиризма недостает мне в эксцентрике некоторых иных вещей. Да Бог с нею, с недостатей! Хуже, сдается, что в поэме, например, “Канделябры” лиризм сопереживания, словно бы спохватившись, неосновательно возникает в финальных строчках: “Жалко, жалко, чада Божьи, / Вас, бредущих по земле... / Надо плакать и молиться!..” — но о ком, скажите мне, плакать? Кого жалеть, если в поэме — те самые хулиганы, в кого, по словам самого Самойлова, переродились бывшие славянофилы? Их срам и содом, который как раз и дал повод сарказму, когда Кожин—Палиевский—Куняев устроили в ЦДЛ антисемитский шабаш, благонаравно названный дискуссией “Классика и мы”. Оттого и в “Канделябрах” — не более чем шуты гороховые: “Начал часто черт являться / Валентину Горобцу, / Соблазнял он Валентина, / Перед ним жевал мацу”. И т. п.

Стиль (и характер!) Самойлова образует как раз лирическая эксцентрика (эксцентрика, но лирическая), термин, которым не горжусь, по-

лагая его рабочим и понимая как испытание лирики — иронией, постоянного — переменным, пафоса — скепсисом.

Да у Самойлова в его характернейших, самых “самойловских” вещах одно без другого и не существует, коли он сам сказал, что “искусство — смесь / Небес и балагана! / Высокая потреба / И скомороший гам!..”.

Сказал устами легендарного скульптора Вита Ствоша, создателя гениального алтаря краковского костела Девы Марии, в поэме “Последние каникулы”. Загадочной, сложноструктурной и, к слову, моей любимейшей, самой “моей”, не единожды вызывавшей счастливый трепет при домашнем авторском чтении и оставившей горькое сожаление: отчего Самойлов так ее и не закончил? Не оттого ли, что поэма была самой-самой и для него тоже — недаром Ствош, он же Фейт Штос, немецкий еврей, ушедший по окончании алтаря в Нюренберг и сгинувший по дороге, здесь очевиднейший двойник автора? (Нелишне заметить, по семейной легенде — потомка французского или, не знаю, голландского еврея Фердинанда, будто бы пришедшего маркитантом с войском Наполеона и застрявшего в России. См. стихотворение “Маркитант”).

Вот он, Ствош, и выбран спутником на символическом пути в символический Нюренберг. Понимай: в поиске внутренней свободы — в частности, сколь это ни парадоксально, от самого искусства, которое, конечно, дает худож-

нику свободу как выход из земной тесноты, но ведь и закабаляет! “И отрекись навеки! / И больше не твори!.. / Я волен. Наконец-то / Я больше не артист”.

В общем, “фантастическая хроника артистического бегства из реальности” (снова Немзер) — да, верно, но бегства и из самого по себе “артистизма”. А мир “артиста” — художника — уникален, индивидуален, следовательно, одинок, отчего и свобода его — одинокая.

Потому в “Каникулах” будут тут же отсеяны, едва назовутся в качестве возможных соучастников побега, замышленного новейшим “усталым рабом”, реальные, бытовые знакомцы: “Пересветов” или “Л. Итанский”, “Который был готов / Пойти со мной и с Витом, / Но был заеден бытом / И значит — не готов”. Либо: “Кого б еще сманить? / Петра или Бориса? / Володю, может быть? / Но с ним мы разошлись”. (То есть Петра Горелика, друга всей жизни, Слуцкого, Корнилова; что же до первых двух, то помню слышанный мною вариант, где Феликс Светов и Левитанский назывались впрямую.)

Остается — Ствош, а поскольку он двойник, альтер эго, то, выходит, путешествие совершается в одиночку?

Выходит так. Куда же идут (идет)? Да в смерть, каковая тут образ уж такой свободы, что дальше некуда. Не зря ж единственный, кто сгодился бы в спутники, друг погибший, чем и освободившийся от земных пут: “Один, Леон Тоом, / Пошел бы ты со мною... / Ты, сокруши-

тель стен, / Ниспровергатель окон, / Прозревший острым оком / Убожество систем! / ...Быть может, в Нюренберге / Мы встретимся потом”.

Нюренберг — это загробное существование. Или — несуществование? Вопрос, на который вот именно нет ответа, по крайней мере уверенно доказательного, отчего и старый Дон Жуан в одноименной поэме, являя циническое бесстрашие и ни о чем не намереваясь жалеть, не удерживается, чтобы не спросить своего полужовещего, полукомического визитера, “старый череп Командора”: “...Что там — / За углом, за поворотом?..”. И слышит: “Тьма без времени и воли...”.

Страшно!

Немзер имеет резон заключить: “Нюренберг — эквивалент Элизия”, “блаженной страны”. Но в XX веке уже слабо верилось в бессмертие; во всяком случае, язычески буквальное, и хотя бы отчасти поэтому “Каникулы” все хотят и не могут завершиться, конечный пункт по-прежнему недоступен: “Как далеко, однако, / Преславный Нюренберг! / ...Как далеко, однако, / Преславный городок!.. / У знака: “К Нюренбергу. / Две тысячи км”...

Незакрытый простор. И — открытый трагизм? Подумаем.

“Трагизм”, “трагичность” — слова, которыми пользуются неразборчиво, думая этим польстить писателю, коему, дескать, доступна трагическая высота. Что до Самойлова, то он

перед трагедией, в том числе несуществования, не то чтобы останавливается, но тормозит. Самой по себе, так сказать, безответностью. “И думал Цыганов: / “Зачем я жил? / Зачем я этой жизнью дорожил? / ...Зачем, когда так скоро песня спета? / Зачем?”. / И он не находил ответа”.

А поэма “Сон о Ганнибале”, где изображена семейная драма пушкинского предка, чуть ли не родовой рок, не пощадивший и потомка, тоже закончится сомнением: “А может случится, вовсе я не прав / И случай этот был весьма банальный...” — простор для версий, как на пути в Нюрнберг! “Мне все равно”. Что не авторское безволие-безразличие, а суть самойловского историзма...

Кстати, в “недостоверной повести” “Струфиан” ответы даны-таки. И — на любой вкус!

Начиная с подчеркнутой — и тем контрастно готовящей иронический сюжетный зигзаг — исторической респектабельности: “настоящий” Таганрог декабря 1825 года, “настоящие” предатель Шервуд и барон Дибич, Александр I с его документально зафиксированным безволием перед заговором, о котором знает...

Словом, обезволенный царь — на сцене; деятели-декабристы — за нею. Есть и еще один персонаж, третья сила — “задумчивый казак” Федор Кузьмин, “уездный Сен-Симон” с трактатом “об исправленье империи Российской”: “На нас, как ядовитый чад, / Европа насылает ересь... / Дабы России не остаться / Без колеса

и хомута, / Необходимо наше царство / В глухие увести места...” — пародия на “Письмо вождам” Солженицына с его мыслью об освоении северо-востока как средстве обустройства России.

Пародия, но не карикатура, даром что иные, кажется, и Александр Исаевич, обиделись; Самойлов сам был государственным (слово, узурпированное коммунистами и близкими им, бездарно уступленное супротивникам “демократами”).

Итак, Кузьмин хочет вручить императору свой трактат, дабы вразумить его и спасти Россию. Декабристы спасают и вразумляют по-своему. А в результате первый идет в каземат, вторые — на виселицу и в Сибирь, царь же по озорной воле автора, для этой цели призывавшего НЛЮ, вдруг уносится в космос, ускользая, как случается с властью, от вразумления, выбора и ответственности. “А неопознанный предмет / Летел себе среди комет”. Понимать ли: прилетел “себе”, улетел “себе”, и история тоже идет “себе”?

Во всяком случае, “звезда” (см. эпиграф), чье явление по-разному понято меланхолическим императором и “задумчивым казаком”, сыграла роль скептической проверки упований первого и “конструктивного плана” второго — ту же, что вообще играет ирония у Самойлова.

Так что ж, история самопроизвольна? Надеяться на участие в ней — безнадежное дело?

Но пессимистом — да и фаталистом — Самойлова назвать трудно.

Наше привычное отношение к истории — примерка или оглядка. Уж никак не отношение к простору, на коем случается непредсказуемое и необъяснимое, не годящееся для утилитарного воспроизведения. Как — пример простейший и неотвязный — вышло... Вернее, не вышло, но было задумано со сталинско-брежневско-путинским гимном, этим символом преемственности по-нашенски, то есть не целостной, а совершающей выборочный скачок через головы Горбачева и Ельцина. Как и с Петром I в качестве образца для президента (что, смею предположить, недостаточно осмысленно: главная заслуга “большевика на троне” — пресловутое окно в Европу, которое, едва приоткрывшись при перестройке, ныне объявляется причиной вредоносных сквозняков).

От того, что для кого-то пример — Петр, для кого-то — Грозный, для кого-то — мифологизированный Столыпин, вред — истории, которая опошляется задним числом. И, что еще хуже, нам. Народонаселению.

На пугающем пространстве XXI века нам в любом случае предстоит... Ну, не выбрать дорогу, она худо-бедно выбрана, и мечтать о России как о Евразии (Азиопе) можно, конечно; можно и делать усилия, дабы свернуть с дороги в Европу, в мир. И власть еще будет бездействовать, как Александр I, это в нехудшем случае; будет, что хуже, сопротивляться неотвра-

тимости; и утопии родятся пореакционнее, чем у Кузьмина. Но...

Самойлов не пессимист, как и не оптимист, хоть и был обвинен в последнем Владимиром Корниловым, из-за чего они и “разошлись” (“Поденные записи”, 1973: “Я: “Тебя интересует деструкция жизни, а меня конструкция. Тебя — почему жить нельзя, а меня — почему можно”. Он согласился”). У него, повторяюсь, открытое пространство, на котором личная безвыходность (царя Александра, умирающего Цыганова, несчастной жены Ганнибала...) не перестанет мучить, не станет ничтожно малым, но где, вопреки растреклятой нашей “ментальности”, во многом выдуманной, чтобы оправдывать историческое безволие, сделан выбор самой историей. Идущей “себе”.

Самойлов не был ни диссидентом, ни тем более человеком общепринятого “убожества систем”. Он был (точнее, стал) внутренне свободным государственнымником.

Бывает, значит, и такое, на что, возможно, надежда России.

В этом смысле Самойлов — поэт ХХІ века. Именно он, а не чтимый им Бродский. Тот, выбравший одиночество (или оно его выбрало — как форму независимости от всего, начиная властью и кончая читателем), надменно-самодостаточный, завершил собою минувшее столетие, заставив вспомнить Блока: “Двадцатый век. Еще бездомней...”. Самойлов с его легким дыханием, с его “конструкцией” при жесткой

трезвости “Струфиана” или “Последних каникул”, с его выходом на простор истории, несродным герметичности Бродского, — вот он, настаиваю, поэт...

Одно мешает закончить фразу, одно заставляет осечься: а сможет ли, захочет ли XXI век воспринять эту перспективу?

[2005, 19 декабря]

Как опасен этот миф

Пришлось пережить потрясение. Не преувеличиваю: трясло. То есть — попросту прочел книгу “Музыка как судьба”, дневники блистательного Георгия Свиридова, изданные “Молодой гвардией”. И, казалось бы, мог быть ну не потрясен, но очарован одними лишь меткими или энергичными суждениями выдающегося музыканта, без каковых его и нельзя представить. В отношении меткости стоит вспомнить суждение, отчего нам и французам трудно обрести взаимопонимание: “Вот когда на месте Нотр-Дам де Пари будет зловонная яма с подогретой жижей для небрезгливых купальщиков и купальщиц, тогда мы будем разговаривать, понимая друг друга”.

Крепко! Но мое потрясение, говорю, все же иного рода. К чему приступаю с осторожностью, помня об иерархии, в искусстве — реальной.

Ничуть не удивительно, может, даже не странно, что Свиридову “ненавистен” общепризнанный Бах, а с годами стал мерзок Шостакович. Тем более кто заставит старого и ревнивого мастера полюбить “новых” Шнитке и Губайдуллину? Правда, сказанное о ней: “сухой дамский онанизм” — это уж слишком, но вольно было племяннику-составителю обнародовать дядино дневниковое раздражение...

Но вот Рубинштейны, Николай и Антон, в записях о которых — упор на инородчество. Так что и роль братьев в устройстве музыкальных учебных заведений, думалось, также общепризнанно благородная, выставляется как чуть ли не провокационная...

А уж поближе к нашему времени... Большой театр — “еврейский лабаз”. Патриарх Тихон убит “зубным врачом Гуревичем”; даже сочувствующий родственник-комментатор стыдливо опровергает слух. Педантично указываются как улики вредоносности и неполноценности “настоящие” фамилии, например, Светлова. (Увы, да, Шейнкман, отчего, между прочим, Михаилу Аркадьевичу приписывалась острота: у меня, дескать, мания величия, хочу переименоваться в Евтушейнкмана.) Но и сам Евтушенко, латыш по отцу, представлен как Гангнус. Даже сербская (графская!) фамилия Войновича перекорежена в Войновкер...

Вспоминаются, ну конечно, Солженицер, как советские юдофобы объясняли инакость Александра Исаевича; Сахаров — якобы Цукерман;

Якобсон или Яков Лев (Александр Николаевич Яковлев). И т.п., вплоть до: “Ныне мы свидетели, как этот малый (! — Ст. Р.) и якобы угнетенный народ пожирает одну христианскую империю за другой”. Уровень Шафаревича. Даже, стыдно сказать, Макашова.

Вот попутная и, представьте, все-таки утешительная мысль. Такое не сходит с рук работающим непосредственно со словом: уж как наглядна судьба автора “Привычного дела” и “Плотницких рассказов”. Хотя поди пойми, что тут первичнее в смысле распада: дикая ли помещанность на инородцах или литературное истощение. А музыка... На ином, что ли, уровне подсознания или, лучше сказать, надсознания возникает она? Там, куда нет прямого доступа подобной гнусности...

Так или иначе — в чем дело? В сознании собственной недооцененности? Что ж, причина обычная, вечная, случается, и обоснованная. Сам я разве не писал в “Новой”, что вроде бы неловко вручать премию “Триумф” Борису Гребенщикову, пренебрегши Свиридовым?

Играло свою роль, понятно, и окружение, источавшее постоянную лесть, общественные и эстетические симпатии-антипатии, хотя и тут — что первично: выбор ли окружения или его влияние? Кто неприятен и чужд? Сахаров (“культурный идиот”, “изверг”). Ахматова (“нет творческой тайны... Сама ее премия... как видно, устроенная масонской ложей... Связь с еврейскими поэтами”). Пастернак, “грязноватый

и умильный”. “Говнюк Мандельштам, презренный и бездарный книжный человек Тынянов”. В театре: Покровский, Ефремов, Любимов, Эфрос. Из драматургов: Розов, Арбузов, Горин, Роштин, Володин...

Безоговорочно любы — Куняев, Кожинов.

Да почему бы и нет, тем более вкусовые, пусть и идеологические, предпочтения все же мелки для того, чтобы объяснить превращения личности калибра свиридовской. Тогда — что же?!

Ведь даже сама сила отчаяния от того, что сделано с любимой Россией Лениным — Сталиным (“Истребление нации началось буквально на другой же день после злосчастного Октябрьского переворота”), потом — перестройкой, для которой Свиридов не находит более подходящего слова, как “троцкистская”, даже это отнюдь еще не ведет к выводам вроде: “Революция была не столько социальной, сколько религиозно-национальным переворотом”. “...Воскрешение древних дохристианских идей — религиозного истребления целых народов...”. “Сионисты”. “Сатанисты”. Чья цель — “просто перебить нас, как собак”.

И уж вовсе по-макашовски (как это должно быть лестно генералу!): “Швондер, воцарившийся над всеми народами”. “Золотой Жид”.

Другое — и вот тут, может, действительно главное — дело, что сила отчаяния определялась и тем, что, в отличие от все менее приемлемого Шостаковича, учителя, между прочим,

с его “Леди Макбет”, Свиридов, как он сам сознавал, сам декларировал, тяготел к никогда не существовавшему вымышленному национальному идеалу: “Пишу “Миф о России”.

Что, повторяюсь, чревато опасностью, выходящей из чрева на свет, ежели не для музыки (допускаю), то уж точно для словесных умозаключений. Как не вспомнить того же Белова, которому так хотелось, чтобы деревня пусть хотя бы в прошлом была такой, какова она в его “очерках о народной эстетике” “Лад”. Вызвавших отклик ревнителя “правды жизни” Федора Абрамова, самого “из крестьян”: “Какая прелесть!”.

Еще бы! И тут же: “Хотя Бог знает, в каком подкрашенном виде предстанет крестьянская Русь прошлого. Лад... Да был ли когда-либо лад на Руси? Не в этом ли трагедия России, что она никогда не смогла дойти до лада?”.

А трагедия (мельче мерить не стоит, если говоришь о фигурах значительных) ревнителей “лада” — в том, что они в него поверили?..

Имея дурную привычку читать сразу несколько книг, одновременно со свиридовской листал “Обещание на рассвете” Романа Гари. И вдруг нашел ответ на мучающие меня сомнения.

Ему, выходцу из России, как нельзя не понять, сыну Ивана Мозжухина, мать с младенчества внушала именно миф о Франции. “О далекой стране, где исполняются самые невероятные мечты, где все равны и свободны, артисты

приняты в лучших домах, а Виктор Гюго был президентом Республики...” Бредни! “...Франция в лирических и вдохновенных рассказах моей матери с раннего детства стала для меня сказочным мифом (! — *Ст. Р.*), далеким от реальности, чем-то вроде поэтического шедевра, абсолютно недоступного и недостижимого для простого смертного”.

Трогательно! Прелестно! И — простительно — как для российской еврейки, вымечтавшей такую Францию, так и для русского композитора, сочинившего свой “миф”!

Вернемся к Ромену (Роману). Ему, одному из трехсот выпускников летной школы, не присвоили офицерского звания. (Будущему герою Освобождения и Сопротивления, кавалеру ордена Почетного легиона, награжденному боевым крестом, и т.д.) Причина, вернее, повод — он всего лишь три года как стал натурализованным французским гражданином.

Какова же реакция на несомненное оскорбление?

Признаюсь, и это тоже меня именно потрясло до слез, но в несколько ином смысле: “...Довольно неожиданным следствием моего провала было то, что с этой минуты я действительно почувствовал себя французом...”.

Не перевести ли на язык нашей реальности? Евреем... “Лицом кавказской национальности”... Да и русским в России, черт побери!

Продолжу: “Я по-настоящему ассимилировался. Наконец-то я понял, что французы — не

исключительная раса, что они не лучше меня, что и они могут быть глупыми и смешными — короче, что мы, несомненно, братья”.

Мало того: “...Только в зрелом возрасте мне удалось наконец отделаться от своего франкофильства, только где-то в 1935 году, в разгар событий в Мюнхене, я почувствовал, как меня понемногу стали охватывать ярость, отчаяние, отвращение, вера, цинизм, надежда и желание все разнести, и я окончательно расстался со сказкой кормилицы ради родной и неприглядной действительности”.

Напоминать ли — говорит патриот, герой Франции? (Так что отчасти даже неловко говорить о себе самом, для кого венгерский позор 1956-го и пражский 68-го были не только стыдом за СССР, но и новыми приступами любви к России.)

Замечательному русскому композитору для убедительности рожденного им мифа о России понадобился миф черный — “о малом народе”. Дело не новое, вот что, однако, парадоксально... Или закономерно? Миф, задуманный как наисветлейший, выходит... Но с заключением погодим.

“Саморастворение” — эта основополагающая черта увидена в характере России и русских. Что не расходится, скажем, с христианским сознанием Пастернака: “Я ими всеми побежден,/ И только в том моя победа”. Пока... Но какова агрессия: “Это — русское, идет у нас с Востока, но смешано с православным христи-

анством, с верой, чуждой европейскому сознанию... Самоумаление, самоуничтожение... Страдательная черта, страдательная вера! Таков наш удел”.

По правде ужасно, ежели так. Но допустим. Хуже, что и тут поиск врага — естественно, иудаизма. В отличие от которого у “нас”, у русских, “нет неумолимой, всеобъемлющей жестокости, той, которая — не черта характера того или иного, а входит как главное в сам религиозный характер народа”.

Разумеется, того самого, “малого”.

Впрочем, на этом уровне пока можно спокойно спорить: Ветхий Завет... Новый Завет... Иудаизм... Христианство... Да христианство ли?

“Жестокость же язычества (славянского, нашего! — *Ст. Р.*) — это беззлобное, даже, например, каннибализм. Здесь нет (не то что у “них”. — *Ст. Р.*) всеобъемлющей злобы, а — гедонизм, удовольствие, ощущение сладости человеческого мяса и тому подобные ужасы, не так, однако, опасные для мировой жизни, ибо не стремятся к мировому господству”...

Можно, конечно, черно пошутить: да, дескать, пусть сукин сын, точнее, людоед, но наш людоед. Можно сказать о вопиющем антиисторизме, ибо переход к единобожию был неизбежно связан с идеей личности... Или был возможен скачок от каннибализма прямо ко Христу?

Но сейчас — о другом. Сам утопический, мифологизированный образ Руси, России, чьей

мифологизацией мы и увлечены: у кого Петр, у кого Иван, Александр II (или III), Столыпин, Ленин, Сталин, аж до добряка Брежнева, — этот образ вдруг с особой наглядностью и назидательностью предстал (и ведь не у шпаны, у знаменитого музыканта!) поистине страшным. Бесчеловечным. Вернее, обесчеловеченным. “Каннибализм... Сладость человеческого мяса...” Бр-р!

Что тут закономерно? Мифологизация вообще усилие волевое. Насильственное. А когда реальность противится твоей воле, когда миф не совпадает с тем, что зримо воочию, ты или разочаровываешься, или, что чаще, начинаешь искать супостатов. На чьем злокозненном фоне твой миф, твой лад еще посияет.

Спасибо Свиридову — без иронии. За нагляднейший из уроков.

[2006, 23 января]

Пожалейте стукачей

Нет, нет, никак не намереваюсь воспевать юность своего ущербного поколения. А все же...

Вспоминается, например, мой приятель по университету Б.Р. Сочинявший “под Маяковского”, но — такое: “У нас идиоты нынче в моде. / Пример? А какой же еще вам, / Когда идиотизм написан на морде / Того же Никиты Хрущева”. А в дни “венгерских событий”, когда, как говорили, восставшие казнили работников госбезопасности, узнавая по специфической обуви, являлись строки, угрожавшие уже отечественной партноменклатуре: “Мы вас узнаем не по желтым ботинкам, / А по свиным откормленным рожам”.

Конечно, никакого заговора не было за этой угрозой, тем не менее, понятно, обеспечивавшей сочинителю лагерь. Но что характерно: стихи знали многие на филфаке, однако не стукнул никто.

Выходит, вот когда — и где — действительно было общественное мнение, по коему ныне тоскуем. Вплоть до смешного. Милая сокурсница из южного города, удивляя нас, скрывала профессию отца, среди местных — влиятельного, перед кем заискивали и кто, оказалось, был рубщиком мяса на рынке. Человеком при дефиците. А мы-то решили сочувственно: если, бедняга, стесняется, значит, тот “из органов”. Иначе — чего стесняться?

Не в моде были у нас хозяева жизни.

Смешно? Допускаю. Странно? И это возможно. Хотя по мне странностью кажется то, что питерский мальчик последующего поколения, прочитав “Щит и меч”, сам является в КГБ и просится на службу, в ней и видя романтику. Что ж, другая эпоха. Другое сознание. Которое лучше — решайте сами.

Интеллигенция любила рассказывать, что в дореволюционные годы “порядочные люди не подавали жандармам руки”. Предвижу резонно злорадный возглас: вот и донеподавались! Получили бомбистов, усадьбы в огне, революционную матросню, самого Ильича...

Все верно. И речь веду всего-навсего о “моде”, “престиже”, с осторожностью вспоминая слова Вяземского. Тот был недоволен, что Николай I дал доносчику на декабристов Шервуду дворянство, заодно присовокупив к его фамилии добавку “Верный”. Отнюдь не революционер, князь Петр Андреевич признавал необходимость для государства карательных органов,

даже корпуса осведомителей, но что бы, мол, вы сказали об агрономе, который в благодарность навозу — самонужнейший продукт! — выставил бы его в хрустальной вазе? И заставил гостей к ней прикладываться.

Может ли слово “жандарм” оказаться стилистически и этически реабилитированным в нынешнем “общественном мнении”? Может, конечно, но... Беда нам! Что ни говори, а Александр Христофорович Бенкендорф при его заслугах 1812 года должен остаться в русской памяти фигурой зловещей. Иначе предадим собственную историю с гениями, затравленными жандармерией, и, что скрывать, аналогия напрашивается. Да, нынешние “чекисты”, может, и вправду не “те”, но вот им бы и доказать, что — другие, перво-наперво застыдившись слова “чекист” и убрав портреты Дзержинского, о котором мы уже столько знаем, что знания не стереть.

Утопично? Боюсь, что да. Но, с другой стороны, привычная для интеллигенции безнадежность взгляда на то, возможно ли нечто “свое” внушить власти — да хоть бы и ее грозным “органам”, “лазоревым полковникам”, “голубым мундирам”, которых пропаганда сегодня, так сказать, вводит в моду, наделяет престижным имиджем, объявляя о единстве с народом...

О, эта страшная фраза, страшный опыт, когда не худший из них Микоян (который сегодня ням-ням) говорил: каждый член партии — или, не помню, даже каждый советский че-

ловек — должен чувствовать себя сотрудником ГБ. “Наркомвнудельцем”.

В общем, сама, говорю, эта заведомая апатичная безнадежность есть тоже предательство — как раз по отношению к тем, кого уже ныне вовлекают в “сотрудничество” в разных — прямых и косвенных — формах. К тем, у кого нет сил противиться вернувшемуся в страну страху, а ведь, ежели вдуматься, драма былых стукачей, не в чаянии романтики, но ради спасения жизни доносивших на ближних, эта драма искалеченных судеб, ну, конечно, не столь почтенна, как судьба изгонявшихся и сажаемых, но — соизмерима с ней. Именно по драматизму.

А для судьбы России еще и страшнее. Неизлечимее. Как неизлечим возобновляющийся страх.

[2006, 26 января]

Подсматривающие

Первый театральный анекдот я услышал от своей бабушки — трамвайного кондуктора с сорокалетним стажем, полуграмотной, кажется, ни единого раза не побывавшей на спектакле. Тем не менее:

— Пришли старик со старухой смотреть “На дне”. Посидели, посидели... “Э, — говорит старик, — пошли, старуха, отсюдова. Такой-то рвани у нас и дома хватает”.

Целая эстетическая программа.

Где-то я вычитал, как в тридцатые советские годы, когда шел “призыв ударников в литературу” (или: “В литературу попер читатель!” — лаконично высказался Андрей Платонов), некий шахтер получил путевку в писательский дом творчества, дабы художественно воплотить свой жизненный опыт. Честно трудился, даже в бильярд не играл, а когда представил рукопись,

прочитавшие ахнули. То было сочинение из жизни князей, графьев и баронов. Ибо:

— А кому интересно про нашу шахту читать?

В общем, такими мы и остались.

Оказавшись плохим пророком (что в России, опять повторяю, довольно трудно: у нас предсказывать — плевое дело, во всяком случае, пессимист почти не рискует ошибиться), я был уверен, что появление, скажем, “писателя” Оксаны Робски непременно вызовет у нормальных, “простых” читателей желчную реакцию. Взрыв раздражения. Даже — социальной ненависти. Ошибка. Тиражи, говорят, сродни донцовским, любопытство к новорусским прелестям неиссякаемо — как и к персонам вроде пресловутой Ксюши, как и к сериалам, в которых герои слоняются среди интерьеров никак не скромнее рублевских. Словно это и есть наши квартиры, наш быт, наша жизнь...

Подобрел, что ль, народ? Помягчал к чужому богатству? Если бы. Но, как известно, на селе нет большего удовольствия, чем подпалить удачливого соседа-фермера, а в городе... Чего стоит волна злорадства по поводу осуждения Ходорковского; да зайдите в любой троллейбус — много чего услышите насчет проклятых олигархов и вообще богачей.

Услышите от людей явно не бедствующих, воспроизводящих то, что доморощенно называю синдромом персонажей Достоевского. Не: “Почему я голоден?”, даже не: “Почему он сыт,

в то время как я голоден?” а: “Пусть я сыт, но зачем он сытее меня?”¹.

Как все это сочетается?

В “Одноэтажной Америке” Ильфа и Петрова есть эпизод. Авторы, путешествующие по Штатам, подсаживают в свой автомобиль некоего безработного, который — Шариков! — проповедует идею “отнять все да и поделить”... Впрочем, не все: по пять миллионов, говорит, надобно богачам оставить.

Советские писатели не могут не удивиться: пять миллионов — не много ли? Тот, однако, настаивает на своем: нет, меньше — нельзя. И, едва пассажир покидает машину, сопровождавший Ильфа с Петровым мистер Адамс объясняет его щедрость: дело в том, что и этот безработный еще надеется пробиться в клан миллионеров.

— Это Америка, сэры!

Штука в том, что, при всех существенных оговорках, — сбылось. Число людей в США, имеющих не менее миллиона, астрономическое; “американская мечта”, как над нею ни насмехайся, в принципе сбыточна, не виртуальна, не на уровне нашего любования красивой телекартинкой или жизнеописанием рублевской, простите, “элиты”.

У нас вообще странные отношения с собственностью, не говорю уж — с богатством. Валят на христианскую, тем более православную эти-

1 Помню: и тут повтор. Но надеюсь, подобное забывать не стоит.

ку (дескать, богачу войти в Царствие Небесное — как верблюду сквозь игольное ушко), на ментальность, подпитанную отечественной словесностью (“Бедность не порок”). Плюс советский опыт, приучивший к государственному патернализму, согласно которому все блага нам даются “партией и правительством”, властью.

Да, да. Но есть уже и опыт новейший — то есть, по сути, давний, но сегодня обнажившийся до степени совсем бесстыдной. Есть представление о богатстве — увы, уж настолько небеспочвенное! — как о том, что непременно своровано, отнято у населения, вытянуто у богатых взятодателей, то бишь как раз у воров (“От трудов праведных не наживешь палат каменных”, хотя — было, наживали все эти Рябушинские да Морозовы, превращенные в миф; да, чай, и нынче найдутся подобные?..). И все же речь не о том.

Речь о некоем социальном — не сексуальном — вуайеризме, о нас, подсматривающих, чье любопытствующее благодушие отнюдь не свидетельствует о доброте и широте. Разве что — о пассивности, о безволии, об отсутствии... Нет, не социальных инстинктов (их проявление, говорю, встретишь в любом троллейбусе), но социального сознания.

Что — беда, с которой не знаю, как справиться, имея возможность всего лишь горько констатировать.

[2006, 13 февраля]

Синдром Бобчинского

Напоминать ли общепамятное? “Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным: сенаторам и адмиралам, что вот, ваше сиятельство или превосходительство, живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. Так и скажите: живет Петр Иванович Бобчинский. Да если этак и государю придется, так скажите и государю...”.

Смеемся?

По крайней мере первым читателям-зрителям Гоголя да, пожалуй, и ему самому было смешно. Только смешно. Смешно преимущественно. Это много позже в эфросовской “Женитьбе”, которую режиссер решил “ошине-лить”, Иван Палыч Яичница с лицом Леонида Броневского будет стыдливо корчиться от неблагозвучия собственной фамилии, как бы предугадывая своего рода “пунктик” ущербных геро-

ев Достоевского: “Разве можно жить с фамилией Фердыщенко? А?”. “Я желал бы называться князем де Монбаром, а между тем я только Лебядкин... Почему это?”.

Так что и в простодушном Петре Иваныче Бобчинском для нас неминуемо проглянула за-
таившаяся трогательность...

Любопытно, держал ли в памяти гоголевского чудака автор романа “Обещание на рассвете” Ромен Гари?.. Да что там! Конечно, держал, ассоциировал, сопоставлял — это он-то, выходец из России, смешавший в себе “еврейскую, казачью, татарскую кровь”; он не мог не аукаться с Гоголем, рассказывая в художественной автобиографии, как в двадцатых годах XX века, в Вильно, его мать бешено самоутверждалась перед соседями, крича, что ее сын будет французским посланником.

Как, между прочим, и вышло: стал, в частности, генеральным консулом Франции в Лос-Анджелесе.

Короче, неприметнейший из соседей говорит мальчику Роману — еще не Ромену, — задабривая его рахат-лукумом: “Когда ты станешь... всем тем, о чем говорила твоя мать... Когда ты будешь встречаться с влиятельными и выдающимися людьми, пообещай, что скажешь им...”.

Ну конечно!

“...В Вильно, на улице Большая Погулянка, в доме шестнадцать, жил господин Пекельный...”.

Смешно? Черта с два! Во всяком случае, я не сдержал слез, а уж когда читал это вслух жене, ослабевшей от своей последней болезни, заревел в голос.

Плакать не обязательно, но ведь и сам Гари, войдя в возраст, вспомнил об этом синдроме Бобчинского более чем всерьез — в конце войны взял да и выполнил странную просьбу соседа при встрече с английской королевой-матерью, когда та производила смотр французской эскадрильи, в которой он служил.

Больше того. “На трибунах ООН и во французском посольстве в Лондоне, в Федеральном Дворце в Берне и на Елисейских Полях, перед Шарлем де Голлем и Вышинским, перед высокими сановниками и сильными мира сего... выступая по многим каналам американского телевидения, неоднократно сообщал... что в доме шестнадцать по улице Большая Погулянка...”. И т.д.

Последнее — вероятно, да просто наверняка гипербола. Домысел. Как и предположение (тут, правда, риск ошибиться ничтожен — и это контекст XX века, Гоголю неведомый), что господин Пекельный был сожжен в нацистском концлагере и “кости маленького человека, переработанные после сжигания на мыло, долгое время служили утолению чистоплотности немцев”.

Простейший вывод: помянутый синдром в одних условиях может быть только смешон, в других — подспудно или открыто трагичен, но

всегда естествен. Как любые попытки наделить смыслом свое заурядное существование — каким удастся, какой окажется по твоим духовным потребностям и возможностям.

“На фоне Пушкина снимается семейство” — разве в песне Окуджавы не та же надежда приклониться к “государю” русской поэзии, стать частью его царственной ауры? А Давид Самойлов в ненароком перекликающемся стихотворении — о мании “фотографировать себя” на любом, предпочтительно возвышающем фоне — попросту дал объясняющую формулу: “Он пишет, бедный человек, / Свою историю простую”.

Пишет — свою как часть общей. Пишет — именно потому, что “бедный”. Малый, частный. Отдельный. Но...

“А если в партию сгрудились малые...”? Вот тут — держись.

Тут уже не до трогательности, разве что до смеха, и то горького, саркастического, чаще — запоздалого и бессильного. В масштабе общем, общественном наша самонедостаточность может быть и страшна. Возможно, даже не может не быть страшной — понятно, при целеустремленном внешнем использовании.

Хотя и сама человеческая природа тому, увы, потакает.

Цитата из “Иосифа и его братьев” Томаса Манна — о фараоне Хуфу, который в течение тридцати лет заставлял свой народ строить ему пирамиду-гробницу, “не жалуя никому ни од-

ного часа на собственную жизнь”, а когда все-таки не хватило денег, то родную дочь, фараончку, превратил в проститутку, отдававшуюся за плату.

И что ж?

“...В народе осталась лишь смешанная со страхом благодарность (!!!) покойнику за то, что тот, выжав из него все, что в нем было, и еще больше, заставил его совершить невозможное”.

А мы еще не перестаем удивляться неуходящей — не возрастающей ли? — популярности Сталина...

И она, и — скакнув через эпохи — ошеломляющие рейтинги Путина, которые нам так хотелось бы оспорить и преуменьшить, — из одного и того же источника, в начале своем ничуть не вредоносного.

То и другое — продолжение наших... Ну не достоинств, но, снова скажу, естественных свойств (как, между прочим, злобная неприязнь к Ельцину главной причиной имела не тяжесть реформ, не репутацию пьяницы, а то, что незлопамятно позволял себя кусать, ослаблял поводок; кто ж удержится от того, чтобы не пустить в ход природой данные зубы?).

Власть магически завораживает только тогда, когда постоянно напоминает, что — власть, что имеет карательные ресурсы; на нашем уровне нам хватает магии Путина, как великому Булгакову соответственно на его уровне, дабы ощутить обаяние властной силы,

нужно было... Нет, не написать “Батум”, то была уже сдача обессиленного писателя, падение до угождения грузинскому пахану, — но, словно готовясь к сдаче, нужно было выдумать величавого Воланда. Коему и доверено покарать врагов Мастера — то бишь самого Михаила Александровича — хотя бы в романе, в его “второй реальности”.

Так, стало быть, неизлечимы — мы с вами и даже лучшие наши писатели?

Не знаю. Думаю только, что сегодня поистине “как никогда” стал прозрачно явствен механизм того, как и зачем “в партию сгрудились малые”. Кстати, выразительнейшая проговорка Маяковского; выразительны и “малые”, совсем по-бобчински страшась остаться немеченными властью, и нечаянно язвительный глагол “сгрудились”. Как овцы при пожаре.

На сей раз — в какую именно партию? Наподобие КПСС, как у нас, по счастливому выражению красноречивого Черномырдина, заканчивается любое партстроительство? А вот и нет. В некотором — и очень определенном — смысле хуже.

Родилась действительно “партия нового типа”, хоть и эксплуатирующая очень старый со-блазн.

Тот, что много сильнее, неотразимее, ибо таинственнее по вторжению в человеческую душевную глубину, чем у “меньшого брата”, пародийных “Идущих вместе”, они же “Наши”, куда зазывали материальными цацками, пейд-

жерами или дармовой дискотекой (такой простодушный детсадовский бартер: на тебе жвачки, только дружи со мной, а не с Васей).

А КПСС... Ее брендом был давно покойный, бесстыдно мифологизированный Ленин; ну пусть Ленин и К°. В “Единую Россию” увлекают не бестелесным символом, этим эрзацем идеи, а вполне наглядной, наличной фигурой цветущего государя. Олицетворенной мечтой Петра Ивановича (и Марьи Петровны).

Значит, вот такой совершил я скачок в своей статье: от размышлений о причудах человеческой природы до пахучей партийной кухни? Да не я, и, наверное, стоит почтительно восхититься психологическим даром господ, уж не знаю, Павловского либо Суркова, которые:

а) удовлетворили мечту Петра Ивановича Бобчинского;

б) одновременно запакоствовав тот источник, из которого возникла и возникает мечта.

...Нация бобчинских. История бобчинских, ими же и творимая, по их разумению и подобию. Злонамеренно? Нет! Кто вообще сказал, что они (мы) плохие? Мы — хорошие. Добрые и доверчивые. Вот только...

[2006, 23 марта]

Образ жизни как образ врага

Наконец-то решаюсь рассказать нечто, давным-давно, аж в шестидесятые годы прошлого века, меня не менее чем потрясшее.

Впрочем, сенсации не получится. Она бы, пожалуй, была, назови я имена участников той истории. Но — не назову. Зашифрую. Надежно.

Да дело уже и не в именах, а во временах. Прошедшем и нынешнем.

В общем, в пору, четко памятную диким гонением Никиты Хрущева на художников, в целом — на интеллигенцию, мой друг-поэт в нашу с ним хмельную минутку открыл мне тайну. Не свою. Как его приятель-живописец, уже тогда успевший громко прославиться — отчасти как раз в роли гонимого властью, — разоткровенничался с ним. Спьяну, конечно. Признался, что послал письмо в ЦК — или, не помню, прямо в Политбюро, где заявил следующее. Вот вы,

дескать, опубликовали Твардовского, “Теркина на том свете”, а ведь это и есть прямая злостная антисоветчина, выпад против политики партии, в то время как мы, молодые художники, ругаемые вами за формализм и абстракцию (знаменитое хрущевское: “Пидорасы!”), этой самой партии как есть всей душой преданы...

В таком малопочтенном роде.

Когда мой друг, по его словам, протрезвевши наутро, осознал суть признания, то позвонил... Вот тут могу назвать имя, ибо данный персонаж в этой истории чист как стеклышко, — словом, позвонил Евгению Евтушенко, и они дуэтом заявили к живописцу (не мудрствуя, назову его по традиции Иксом), дабы вытрясти из него, правду ли он сказал или наговорил на себя. Была такая надежда.

— Правду, — не стал отпираться Икс, приводя какие-то свои резоны, пересказ которых я слушать не стал, спросив своего друга:

— И после этого ты не перестал с этим Иксом общаться?

— Понимаешь, Стасик, — сказал мне друг, — Икс — гений...

— Ну, в этом я как раз не уверен. Но допустим — гений. И что?

— Понимаешь, для него его искусство — это все. И если б ему сказали: “Икс, давай мы загоним весь народ в лагерь, чтобы он тер тебе краски, зато лично тебе позволим рисовать все, что захочется”, он бы согласился.

— Спасибо. Ты замечательно его защитил, — попробовал я съязвить, впрочем, еще не имея тогда возможности осознать данный поступок в контексте времени.

Тут, конечно, большой соблазн поразмышлять над тем, как толкуются понятия “гений” или хотя бы “талант”, воспринимаемые в качестве права на избранность, равную вседозволенности, — сегодня это прозвучало бы злободневно. И все-таки говорю о другом.

Свежее впечатление: некие авторы, честные и одаренные (подчеркиваю — особенно первое, иначе и говорить бы не стоило), в небезынтересной книге трактуют ныне конфликт интеллигентов и власти — аккуратно в те шестьдесятые годы. “...Чтобы контролировать это явление (то есть “появление в обществе реальной оппозиции власти”. — *См. Р.*), КГБ организовал управляемую оппозицию — номенклатурных диссидентов, известных как “шестидесятники”. ...Спектакль — “борьба нанайских мальчиков”. Так, номенклатурным диссидентам разрешалось поклевывать власть. Чтобы все было “по-честному”, власти в ответ разрешалось...”. Минуточку! Разрешалось — кому? Хрущеву с его Ильичевыми и Сусловыми? И кем — “в ответ”? Этими самими диссидентами?.. Ладно, продолжим: “...разрешалось немножко тиранить “оппозицию” — заставлять по десять раз сдавать спектакли, поругивать в печати, ограничивать в комфорте и т.п.

...КГБ вполне успешно создавал иллюзию революционности номенклатурных диссидентов”.

Значит, так. Любимов, Ефремов, Эфрос, “по десять раз сдававшие спектакли”. Примкнувшие к ним Зорин, Володин, Рошин. “Номенклатурные” Трифонов, Искандер, Окуджава, Галич, Коржавин, Чухонцев, Войнович... А не пора ли вам, то бишь тем из вас, кому удалось дотянуть до нашего странного времени странных концепций, наконец расколоться? Признаться, что — да, были-таки... Чем и кем? Агентами влияния, как теперь выражаются? Или просто купленными сексотами? Ну расколитесь на радость прохановым!

(Простите, сверстники и друзья, за пахучую шутку.)

Господи! Да не нужно было никакой спецоперации! Не говоря уж о том, что принцип “цель оправдывает средства” родился задолго не только до злосчастного Икса, но и до самого Игнатия Лойолы (и умрет вместе с человеком и человечеством), ведь даже наш Икс, сознательно делая подлость, работал не на госбезопасность, а на себя самого. На свою “гениальность”. На свою “свободу”. И, совершая то, что совершил, находился, подчеркиваю, в твердом сознании, кто есть кто; где враги, которых так хочется обмануть, прикинувшись их союзником, где друзья, которых отчего бы ради собственной пользы не заложить.

Мерзость — но какая понятная!

“Поэзия — не мирная молельня, / Поэзия — жестокая война, / В ней есть свои обманные маневры. / Война — она войною быть долж-

на”. Что говорить, тот же Евтушенко имел в виду маневры совсем иного рода, ведя наступательные и арьергардные бои с цензурой, орудием власти. Противоестественно? Но противоестественно была сама реальность, когда “номенклатурный” Искандер публиковал искореженные фрагменты великого романа “Сандро из Чегема”, получив рискованную возможность напечатать его целиком только в США. А “номенклатурный” Чухонцев со скромным вызовом озаглавливал свою первую выпущенную и запоздалую книжку “Из трех тетрадей”: именно из трех написанных книг ему позволили нащипать сколько-то относительно приемлемых стихотворений.

“Враги — пред тобой, а друзья — за тобой” (цитированный Коржавин), вот — конечно, за вычетом нюансов и оговорок — схема тех лет. (Оговаривать ли, что не идеализирую их — да и кто меня заподозрит в этом, коли начал статью с факта постыдного?) Война поистине классовая, с четкостью разделения на “них” и на “нас”. Даже — или именно — в случае, когда, говоря условно, один из “нас”, по крайней мере — из “наших”, пишет донос, угождая “им”. Что ж, как раз на войне и бывают перебежчики и предатели.

А нынче... “И вдруг я оказался в прошлом / со всей эпохой своей. / Я молодым шакалам брошен, / как черносотенцам еврей”. Естественно, опять-таки Евтушенко, и потрясённость его, прежде уж так готовно настроенно-

го на “войну”, — оттого, что оскал вдруг показывают те, кого он был готов считать своими. Долгожданными. Оправдывающими и его жизнь тоже.

Но о литературе самой по себе, о ее вульгарных разборках и шакальей грызне (да не шакальей даже — те все же знают свою стаю, своих “друзей” и “врагов”, не кусая неразборчиво кого попало за что попало), — словом, о литературе сейчас не буду. Неинтересно. Как (простите или не прощайте мою субъективность) неинтересна по большей части сама эта литература, по-моему, еще не воспрянувшая из затянувшегося обморока.

Тем более что она-то в своем нынешнем состоянии как раз в точности отражает, почти копирует происходящее с обществом, что, увы, лишь по наивности можно счесть комплиментом. Так бывает только с искусством, еще не вошедшим в степень самостоятельности и самооценности. Тот же пресловутый постмодернизм при всей сомнительности художественного результата есть тем не менее органическое порождение времени — как и он, эклектичного и растерянного, утратившего и не ищущего прочных критериев, спасающегося подхихикиванием над всем на свете.

Что до критериев, мы смирились с их понижением. Говорим, например: каково, мол, все общество, такова и Дума (в то время как Дума обязана думать — в отличие от толпы); каково общество, такова и армия (а что же это за ар-

мия, воспринявшая уголовный обычай?). Вот и словесность пока не умнее, не лучше, не выше нас всех скопом.

Потому — прямо о нас. Об обществе.

Боюсь (вправду боюсь, пугаюсь, прихожу в состояние ужаса), что — об обществе, находящемся в состоянии перманентной и тотальной войны.

Не “классовой” (хотя, понятно, есть и ее приметы: злорадство по поводу судьбы Ходорковского, сочувствие покушению на Чубайса). Не поколенческой (даже в литературе она уже отошла, выдохлась). Войны — гражданской. Слава Богу, пока холодной (относительно).

Которая имеет утешительный псевдоним: стабильность.

Не остро. Такое впечатление, что все ненавидят всех, все против всех воюют. Не говоря даже о каких-нибудь “Наших”, кого расчетливо заставляют путать ориентиры (“фашисты” — кто? Каспаров, Хакамада, Рыжков? Не Квачков и Борис Миронов?), — налицо и злоба против завсегдатаев Куршевеля; и подогреваемое антизападничество; и провинциальная зависть к “зажравшимся” москвичам; и — заодно — нововозникшая нелюбовь к “питерским”; и презрение к той же сервильной Думе; и боязливое отвращение к бюрократии; ужас перед ментами и армией с ее дедовщиной; уж конечно, ксенофобия обывателя, агрессия по отношению к “черным”, казалось (казалось!), было задвинувшая на второй или третий план антисеми-

тизм... Да много, много чего, далеко не всегда неосновательного. И когда поражаемся, как это одни и те же доброхоты шлют вспомоществование матерям не только несчастного Сычева, но и киллера-юдофоба Копцева (тоже, впрочем, несчастного дурака, вдобавок имеющего шанс — вот уж истинное несчастье — стать знаменем или искупительной жертвой), то ничего удивительного тут нет. Как разобратся обитателю нашего бестолкового мира в объектах, достойных сострадания или неприязни?..

В общем, такая вот многовекторность ненависти и войны, особенно страшная, как страшны немотивированные преступления, чью первопричину даже и не всегда нащупаешь. И как, говоря о дворе царя-президента Ельцина, поминали его византийскую “систему сдержек и противовесов”, не выходит ли, что нынче она же возникает стихийно, помимо расчета, создавая для власти, да и для нас для всех, иллюзию именно что стабильности? По крайней мере, уравновешенной и неопасной качательности. Туда-сюда.

На деле — опасной смертельно, тем паче что убаюканная и убаюкивающая власть так вяло-безвольна по отношению, например, к “хулиганам” — не “шалунам” ли? — просто так, без всякой там национальной вражды убивающим узкоглазых и темнокожих детей. (Ребенка — ножом?!) И тешит себя байками о вражеских заговорах (как видели, заразив попутно и ум-

ных авторов любопытной книги), то есть инстинктивно — ибо разум тут ни при чем — восстанавливает схему невозвратных шестидесятих. “Враги — пред тобой...”.

Неужели и вправду — меняем ментальность (только не так, как планировали “младореформаторы”: еще, мол, чуток — и из евроазиата вылупится европеец)? И то состояние гражданской (не для красного же словца повторяюсь) войны уже не в одной атмосфере, но и в крови? Что оно — экзистенциально? И отныне пребудет на генном уровне?

...Имею счастье читать сейчас “Дневники” протопресвитера отца Александра Шмемана (составители — Ульяна Шмеман, Никита Струве, Елена Дорман) — кто постарше, помнит его духовные беседы по радио “Свобода”, пробиравшиеся к нам сквозь заглушку. Мягко увещевая собеседника, Владимира Максимова, редактора “Континента”, который (Максимов) при всех своих несомненных заслугах люто насаждал в эмигрантской среде именно психологию войны, отец Александр приходил к печальному выводу: “Неспособен понять, что в каком-то смысле за все “левое” всегда несут ответственность “правые” и за “правое” — “левые”, что сама эта диалектика безнадежна и что дело христиан — поднять ее и тем самым разрешить, экзорцировать, сублимировать...”.

Кто споткнется на мудреном глаголе “экзорцировать”, пусть вспомнит хотя бы фильм Уильяма Фридкина “Экзорцист” — “Изгоняющий

дьявола”. Шире — дьявольское. Греховное. Темное. И если отец Александр возлагает эту обязанность (долг) на истинно верующих в Христа, то в нашем пестром и разделенном обществе нету иной надежды, как на усилия, идущие снизу, от нас (но — не получается), и, уж извините за утопизм, на верховную власть. Да-да, впадаю в утопию, но, ежели у “них” не хватает сердца, любви к своему народу, элементарное чувство самосохранения должно бы натолкнуть на необходимость “экзорцизма”. Все силы, какие уж есть, направив на достижение гражданского мира, на устранение атмосферы взаимного недоброжелательства — дабы война холодная не превратилась в...

Замолкаю, чтоб не накликать.

[2006, 4 апреля]

При поддержке хора

“**П**о холодной золе / Оpoznают следы человека. / На сибирской земле / Остается от прошлого века / Незалеченный шов / Бесплезно гниющего БАМа. / Век гитары прошел — / Начинается век барабана”.

И т. д. — сплошное *sic transit*. “Век поэтов прошел — / Начинается век графоманов”. То же — с веком книги. Наконец: “Век солистов истек — / Начинается время для хора”. И сама книга Александра Городницкого (издательство “Радуга”) озаглавлена: “Время для хора”.

Хотя в некотором и даже весьма определенном смысле, может быть, скорее не “прошел”, не “истек” — продолжается? А то и — кончается, исчерпывается? (Честно сказать, хорошо бы, пора, надоели — и в унисон дующий “хор”, и его лукавые дирижеры.)

Так или иначе, поэт точен — не в глаголах,

так в сути. Наши поистине “знаковые” фигуры П. или С. (язык устал выговаривать их фамилии), ободряемые как неожиданной акцией каких-нибудь “Идущих вместе”, так и принципиальным постоянством интеллигентного канала “Культура”, остановившего на них свой эстетический выбор, они ведь, как известно, и вправду выбрали ориентиром “хор” и “графоманство” — как творчество безликой массы, толпы. Вернее, их представление о том, что́ есть творчество.

Не бранюсь, даже на сей раз не полемизирую, всего лишь констатирую ситуацию “времени для хора” — заодно, впрочем, кое-что вдруг вспомнив. Как полагается эгоцентрику, связанное со мною лично.

Несколько лет назад мой товарищ, которому в руки попал какой-то стихотворческий альманах, позвонил мне и, давясь от смеха, прочел однострочное стихотворение в привычном для постмодерна “центонном” роде:

“Подлец Рассадин нас заметил”.

Расхохотался и я, однако почувствовав несколькими секундами позже, что, как ни глупо, задет. Чем? “Подлецом”? Конечно, нет — эка невидаль, а вот этим самым “заметил”. Как будто меня опустили до некоего уровня, которого чужаюсь. Ибо уж кого-кого, а данного стихотворца, чье имя тут же забыл, я отнюдь не “замечал” в легионе ему подобных, — но, прикинем, тем характернее отчаянное стремление литературного, будем прямы, ничтожества

(понимая “ничтожество” по-пушкински — как “ничто”, нуль, небытие) высунуться из третьего или пятого ряда хористов. Не имея ни ума, ни способностей, ни воли (а что есть, то есть) тех же П. или С., заявить о своей якобы тоже “замеченности” — на худой конец с фантомной помощью не самого, увы, знаменитого из наличествующих “подлецов”.

И вот тут — проблема, открывшаяся для меня при чтении книги Городницкого.

Все-таки не вспомнился бы мне тщеславный “центон”, не будь в ней стихотворения “Державинская лира”, касающегося как раз “замеченности”.

Почему-то решив не верить прозаической записи Пушкина о потрясении, которое испытал “старик Державин”, слушая юного лицеиста, Городницкий заключает: “Забудем же про детские игрушки / Над золотыми россыпями строк. / Нуждались ли в благословеньи Пушкин, / И Лермонтов, и Анненский, и Блок?”. Вплоть до: “Поэт свою единственную лиру / Передавать не может никому”.

Категоричность утверждения такова, что и в стихах “Евгению Рейну” происходит — ради нее же — попираание очевидного факта: “Он не учитель Бродского — напротив, / Навряд ли вы у Бродского найдете / Хоть пару на него похожих строк”. (А ведь достаточно положить рядом “Школьную антологию” Бродского и рейновскую “Нинель” — зеркально!) Но нет: “Жуковский, Пушкин, надпись на портрете — / Пора

уже оспорить притчи эти: / Учителем бывает только Бог”.

Это — позиция. И невольное объяснение собственного феномена. Собственной традиции — не индивидуально-личностной, когда конкретная лира передается в конкретные руки (бывает ли такое?), но очень определенной. Соборного “учителя”.

...О “Времени для хора” я впервые услышал от нашей общей знакомой: “Знаешь, про Саню настолько привыкли говорить: “бард, бард”, что теперь, может, удивятся и увидят: он еще и замечательный поэт!”.

С последним согласен. Но вот это деление — “бард”, “поэт”, этот контраст ипостасей, эта взаимозависимость...

Не то чтоб деление было неверным. Напротив! “И песня, и стих — это бомба и знамя...” — даже в пылу “агитации и пропаганды” поэт Маяковский не упустил напомнить об иерархии. “Стих” — одно. “Песня” — другое.

Песня — всегда лирика коллектива (будь то КПСС, уголовный мир, поездные инвалиды или Грушинский фестиваль — у кого какой коллектив). И поэтика песни, какой бы авторской она ни была, не может не быть в той или иной степени обобществленной; мой любимый пример — неизбежность, с какой поющая масса, “народ”, отобрав для пения сугубо личное, автобиографическое стихотворение Федора Глинки “Не слышно шуму городского...”, в строчках: “И на штыке у часового / Горит дву-

рогая луна” меняет “двурогую” на “полночную”. Убирает самое “авторское” словцо.

Да. Песне, рассчитанной на то, что ее подхватят, дозволена, да нет, просто предписана стертость. Что, к слову сказать, обычно развращает поэтов-песенников, продолжающих писать и “свое”...

“Ванинский порт, Салехард, Игарка, / Магаданское небо, темное и рябое. / Песня с годами обкатывается, как галька, / Голосами поющих, словно волной прибоя” (естественно, Городницкий). Что, при всей ясности сознания, небезопасно для книги, имеющей подзаголовок: “Стихи и песни”. (“И песня, и стих...”.) Отчего состав “Времени для хора” явственно и досадно неровен: не говоря уж о качественном разном, заставляющем ностальгически пожалеть о “Вите Фогельсоне”, легендарном “совпиновском” редакторе, чью придирчивость Городницкий помянул теплым стихотворением, попадаются и чисто песенная размытость образа, и его “обобщественность”, и языковые небрежности, например, произвольные ударения. Понятно — соседство с собственно песнями, в которых все это можно — именно при пении — исправить, вытянуть; пел же Высоцкий: “На полке у самого краешка...”, не взяв на себя труд правильно просклонять банный “полок”.

Но, называя опасность опасностью, небрежность — небрежностью, говорю тем не менее совсем о другом. О том, что и сам Городницкий

договорил в только что цитированном стихотворении: да, “песня с годами обкатывается, как галька” (а возможно, обкатана уже загодя — ибо песня), но и: “В ней срезаются лишние выступы и детали...” (ставшие лишними, слишком личными), “Остается лишь главное — только первооснова”.

Вот!

Вот случай, не скажу уникальный, но глубоко индивидуальный — без сомнения, когда именно “хор” дает поэзии особую структурную четкость. “Первооснову”. Формируется, крепнет, если заимствовать заголовок знаменитой книги, голос из хора. А потому, что “хор” — живой, следовательно, животворящий. При всей своей многоименности — что, в общем, почти равно безымянности, как в “настоящем” фольклоре, — не безликий. Не такой, как... См. выше.

Занятно выходит! Городницкий был среди первых и главных создателей этой организованной стихии, поведя за собою сотни продолжателей-подражателей, которые закрепляли традицию, да пусть и стереотипы, и вот сейчас в самых “непесенных”, самых личных стихотворениях получает из своего “хора” поддержку. В сущности, равнозначную символической передаче лиры, только уж тут все реальнее.

Конечно, книга разнообразнее, чем можно судить по избранным мною цитатам. Но и совсем не случайно краски, запахи, звуки по преимуществу есть дань памяти, сохранившей, что

даже бадаевские склады, надежда блокадного Питера, горели красиво: “Красивым пламенем зеленым / Пылает сахарный песок. / Вскипая, вспыхивает масло, / Фонтан выбрасывая вверх”. Да и “рыжеволосые женщины художника Данте Россетти”, навсегда вошедшие в чувственные сны, поразили когда-то, некогда, там, за чертой.

Не то чтобы с возрастом пришел черно-белый аскетизм восприятия, но освобождение от “выступов и деталей” дало обостренную ясность — поэтики, миропонимания, характера, судьбы.

“Начинается с пьяного пира / И плетенья венок из лоз, / А кончается драмой Шекспира, / Где актер погибает всерьез. / Начинается с пляски по кругу, / Возлияний на белой скале, / А кончается зимнею вьюгой / И свечой, что горит на столе”.

Любопытно, что называется — “Поэзия”. Жанр — “песня”.

[2006, 1 июня]

Время предательства

Есть какая-то закономерность (или придумываем ее задним числом?) в том, что историки-архивисты в нужный момент собственной современности умудряются сыскать некий старинный документ, который вдруг возьмет да и выразит akurat самую суть — или потребность — момента.

Конечно, я не о фальсификациях вроде “Протоколов сионских мудрецов”, чье злонамеренное “открытие” провоцировало разгул антисемитизма в России начала XX века. Но вот, к примеру, много раньше, в 1790-х, на свет извлекается “Слово о полку Игореве” (оно-то, все же надеюсь, вопреки ученым сомнениям, не фальсификат) — незагаданно, но также ко времени. К самой поре, когда век Екатерины астматически задыхается, русская государственность устала, как сама государыня, жалко цеп-

ляющаяся за юных безмозглых любовников, насмерть запуганная “маркизом де Пугачевым” и революцией во Франции (подгадил дружок Вольтер), карающая свободное слово, коему прежде так потакала: в крепости Новиков, в ссылке Радищев, в опале Фонвизин, чудом избег ареста Крылов...

И вот вам “Песнь о полку”, о высоте русского духа, будь он в беде, в поражении, в плену!

Сегодня — и тоже вовремя? — возникло из нетей “Евангелие от Иуды”, вот-вот готовое выйти и у нас. Как выйдет, прочтем: “Ты станешь тринадцатым и будешь проклят другими родами, — говорит апокрифический Иисус предателю-ученику, — и придешь властвовать над ними”.

Но ведь было! Было, по крайней мере в России, время Иуды, была мода на Иуду, был Иудин бум.

Не только какой-нибудь Александр Рославлев, глупый, напыщенный стихотворец, поспешал, как поспешают ему подобные, причаститься к моде: “Пусть гнусы о предательстве кричат... Постичь ли им твой царственный закат?”. Не только с другой, однако же и не совсем с другой стороны, талантливейший Леонид Андреев в повести “Иуда Искарriot и другие” (1907 г.) реабилитировал само олицетворение предательства, во всяком случае, по-нашенски, по-русийски: “понять — значит простить”. Шла лавина сочинений на тему, ставшую животрепещущей: стоило — многие-многие годы

спустя — нашему с вами Юрию Давыдову в работе над “Бестселлером”, книгой о провокаторах и провокации, о Евно Азефе и его уловителе Бурцеве, стоило ему походя поведать о своих разысканиях переделкинскому соседу Ярославу Голованову, как — готово! Сосед, заскочив на дачу, мигом вынес опус собственного деда под заглавием “Искарriot”, вышедший двумя годами раньше андреевского.

В общем-то все понятно: духовная сумятица тех лет, переоценка так называемых ценностей — аж до обратного знака, разноречивой в понимании даже таких, казалось, неколебимых слов, как “предательство”:

“Андреев думал об Иуде. Бурцев — об иудах. А Азеф вопрос ребром поставил: Иуда был, но был ли он иудой?” (“Бестселлер”).

Вопрос, между прочим, который ставит ребром и “Евангелие от Иуды”; впрочем, вспоминая, еще задолго до его появления в свете вполне либеральный и светский критик грубо язвил того же Давыдова как раз в связи с “Бестселлером”: как же, мол, тому не хватило ума или историзма понять, что проклятый всеми, казалось бы, навсегда Азеф Евно Фишелевич есть как раз образец русского патриота? Иуда — но не из иуд!..

Все, повторяю, понятно — более или менее, — исходя и из исторических реалий: большевики-пораженцы (государственная измена!), эти кровные дети провокации (как известно, Ленин держал в кумирах Сергея Нечаева, прототи-

па старшóго из бесов Петра Верховенского, Достоевским, пожалуй, отчасти еще и сглаженного, как часто утепляет уродство реальной натуры художественный шарж). А уж дальше тем более памятное: пресловутые “немецкие деньги”, понимай: те самые тридцать сребреников, не менее пресловутый “пломбированный вагон”, всероссийская бесовщина, азефовщина, ставшая законом ЧК (все эти “Операции “Трест” и т.п.).

Но чтобы соблазн стать Иудой коснулся не одного лишь Азефа, кому льстила роль сверхчеловека, вершителя судеб, — чтобы соблазн оказался по крайней мере внятен лукаво двоякой, однако незауряднейшей русской душе Василия Васильевича Розанова, заметившего: “С великих измен начинаются великие возрождения” (заметим, 1915, “наканунный” год!), вот для этого общество — снизу и доверху — должно было дозреть до нравственного вырождения. Нравственной катастрофы.

Что и свершилось.

“С Россией кончено. На последях / Ее мы прогалдели, проболтали, / Пролузгали, пропили, проплевали, / Замызгали на грязных площадях”. Строки, которые цитирую по памяти, куда они врезались еще в мои студенческие годы, — эти строки не выговорит, а выкричит с неузнаваемой истошностью парнасец Волошин, криком не ограничившись, возжелав покаяния и возмездия: “О Господи! Развей и размечи, / Пошли на нас огонь, язвы и бичи! / Гер-

манцев с Севера, монгол с Востока! / Отдай нас в рабство раз и навсегда...”. Страшно? Что ж, поэт, в отличие от политика, имеет право и на такую крайность отчаянья и жестокости. “...Чтоб искупить смиренно и глубоко / Иудин грех до Страшного суда!”.

Иудин...

Чем, каким таким “звоном щита” встречает сегодняшний мир “Евангелие от Иуды”?

Но мир — Бог с ним; я даже по родному пейзажу скользну, ну не то чтоб совсем поверхностным взглядом, но не хочу, если б и мог, быть приметливее любого из нас, довольствующегося СМИ и ТВ. Тем более все так наглядно в своей разнообразности: хочешь, вот вечный Жириновский, отпирающийся от отца-еврея (как в двадцатые годы прошлого века отрекались — через газету — от родителей, нэпманов или дворян); бизнес-сообщество, “проиудившее” (словцо Маяковского) владельца “ЮКОСа”, — тоже не ново, так, при всей разнозначимости имен, академики предавали Сахарова, писатели — Пастернака и Солженицына, заодно продав и разрушив идею благородной корпоративности. Дальше? Преданные нордостовцы и бесланцы; депутаты из “демократических” партий, перебегающие в партию власти (и это старо, как стары корысть и стадность, вот только отметим, насколько усовершенствовался язык демагогии: не говорят — “предательство”, “перебежничество”, “дезертирство”, говорят — “разумный прагматизм”).

Еще дальше? Те же “оборотни” — в погонах и без, но сколь невинно-наивны они в заботе о персональном кармане, в то время как цельная, целеустремленная политика верховной власти (монетизация, реформа ЖКХ, расправа над образованием, теперь, кажется, и над театром) точь-в-точь подобна деяниям “тринадцатого” героя новопубликуемого апокрифа: ради — якобы — отдаленного блага крепко рискуя народным расположением, ухитряться сохранять и крепить свою власть. “...Будешь проклят другими родами и придешь властвовать над ними”.

Все так, но я-то, в сущности, об одном, для меня самом кровоточащем. Мы предали — и предаем ежедневно — свою великую русскую литературу.

(Оговариваться ли, что вопрос не отдельный, не частный, однако не только лишь эстетический?)

Она была — да-да, выбираю слова самые заскорузлые, уж стерпи, дорогой читатель, старомодность от “Стародума”, ты не на передаче “Апокриф”, — была учебником жизни. Воплощением (не кривись) духовности. Нравственности. Да попросту образцом и образом русского человека, который ею аукался от Питера до Владивостока, таким образом собираясь в единый народ; образом, быть может, даже наверняка, обманным, но как хотелось (а порой получалось) обманываться, видя свое сродство... С кем? С Безуховыми и Болконскими, ко-

нечно, и с Карамазовыми, но ведь не со Смердяковыми!

(Время Смердяковых наступит позже.)

...Нечасто приходилось так хохотать, как над письмами Демьяна Бедного Сталину (составленный Л. Максименковым сборник “Большая цензура. Писатели и журналисты в Стране Советов”). Над эволюцией от фамильярного хамства до подобоострастия пса, знающего, в чем провинился; от обращений “Родной!”, “Дорогой мой, хороший друг!” до общеофициального “Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович!”.

Но в любом случае просьбы, жалобы: то лишили личного железнодорожного вагона — будто бы борьба с привилегиями, а на деле — уже не по чину; то выселяют из Кремля — то же самое, да к тому ж надоело вождю, живя с баснописцем в одном коридоре, вникать в его бытовые скандалы; недовольство новой квартирой; хлопоты насчет дачи, причем ради нее копает — а это нешуточный 1935-й — под уже обреченного Енукидзе, владеющего роскошным дворцом; жалуется и на соседа Буденного, не разрешающего проезжать по его участку...

Хапуга, склочник, сутяжник. И вот — шедевр:

“Дорогой Иосиф Виссарионович, я был бы удручен, если б Вы на секунду подумали, что мое письмо диктуется хоть тенью “личного” интереса. ...Это, если хотите, у поэта чисто профессиональная потребность, чуя приток

вдохновения, поэт — по Пушкину — “Бежит он, дикий и суровый, / И звуков и смятенья полн, / На берега пустынных волн, / В широкошумные дубровы...”. Надо ли законность этого доказывать?”

(Кстати, прибежав, “почуя приток”, сочиняет, к примеру: “Мы выявить должны — и покарать — и этих, / Покамест числящихся в нетях, / Всех — потакавших им и помогавших им / Блудливо-пакостных лжецов, хамелеонов, / Скрывавших замыслы бандитов и шпионов”. 1936-й, о вождях II Интернационала, протестовавших против жестокости приговоров троцкисто-зиновьевцам.)

Тайная пушкинская свобода, священное одиночество, целомудренное свидание с музой хамски узурпированы — так же, как свою уникальную библиотеку Демьян пополнял за счет книг, реквизированных у “бывших” и у “врагов народа”. Материализованы в номенклатурном поместье под боком у неуступчивого Буденного.

Не смеяться действительно трудно — в точности как над строчками еще одного узурпатора, Безыменского: “Да здравствует Ленин, да здравствует Сталин, / Да здравствует солнце, да скроется тьма!”. И это смешно до тех самых пор, пока не осознаешь леденящего ужаса посягательств на тайную свободу реальных, живых (выживших, слава богу) Ахматовой, Булгакова, Пастернака, Платонова. И на “просто” свободу — в буквальном, физическом плане

(на свободу — и жизнь) — Мандельштама, Бабеля, Пильняка.

Демьян — смешон, но и страшен в своем сознании хозяина, не настолько могущественного, чтобы не дать себя выселить из квартиры в Кремле по соседству с “дорогим, хорошим другом”, но захватившего право приравнять себя к “солнцу русской поэзии”. Тем самым — предает ли он Пушкина? Ни Боже мой! Зачем? Захватчик, узурпатор, убийца или подручный убийц (тип большевика, облюбованный Бедным) предателем тех, кого захватил, быть не может...

Так складывались отношения советской власти с классикой, каковой надлежало обслуживать победителей — пусть не так предметно, как Пушкин — Демьяна Бедного.

Ничего нового тут опять не скажу. Даже у благородного Тынянова (вариант полуопозиционный) “Вазир-Мухтар”, интеллигент Грибоедов, по чьему поводу восхитившийся Горький высказался двусмысленно: дескать, если он таковым и не был, теперь — будет (должен быть?), выбирает путь вынужденного союза с чуждой ему властью. А, допустим, беллетризованные, романые Радищевы, Чернышевские, Добролюбовы, включая “одекабриченного” Пушкина, кинематографические Белинский, Стасов (как и собраты из других искусств — например, Глинка и Мусоргский, в политически нужный момент представшие в виде борцов с “иностранщиной”, с “космополитизмом”) не-

укоśnieительно служили делу пролетариата, предугадав его идеологию.

Волевая эта традиция отмирала без охоты, но время ее уходило, и, признаться, несколько лет назад я испытал радостное облегчение, узнав, что Никита Михалков после многообещающих интервью отказался-таки от постановки фильма о Грибоедове (да еще в одиозной компании, заставлявшей уверенно предполагать, что умнейший человек России предстанет союзником Скалозуба и Фамусова как опоры государственности и супротивником “беса” Чацкого). Так что одиноким нонсенсом и курьезом остался фильм Бурляева “Лермонтов”, где оный поручик предстал проглотившим указку резонером и выразителем режиссерских ксенофобских взглядов.

Кончилось время захвата. Началось — и длится — время предательства, этой смердяковской формы благодатной свободы выбора и долгожданного равенства.

Мы не отреклись в испуге или растерянности от отечественной классики, как апостол Петр от Христа (испуг ушел вместе с тоталитаризмом, на смену пришло фамиллярное панибратство); мы, в соответствии со своим переменчивым нравом, именно предали ее. Себе же на посмеяние.

Любой третьестепенный телеведущий не упустит случая ернически помянуть “два главных вопроса” русской действительности и литературы — естественно, “Что делать?” и “Кто ви-

новат?"; причем неизменно с таким видом, будто замечательная шутка озарила его экспромтом и до него ее уже не проскрипели тридцать восемь попугаев. Высокомерие дворни, холопьев, принимающихся хихикать над господином, едва почуяв, что он утрачивает власть и не высечет остроумцев на конюшне, — а ведь, не говоря о том, что, коли на то пошло, был действительно главный вопрос нашей словесности и тоже воплощенный в заглавии не самой известной повести Льва Толстого — “За что?”, — какое жульничество выбрать для характеристики великой литературы названия двух слабых книг! Будто она (да, в части своей учительная до назойливости, но пекущаяся-то о нравственности, о духовном воскресении человека, общества и народа) была — вся! — столь прагматически озабочена, впадала в склочные счеты: “что?.. кто?..”. Подать сюда виноватого!

Высокомерие самоутверждающихся ничтожеств — в частности, от слабой начитанности, я бы даже сказал: принципиально слабой, внимая, как, допустим, молодые модные режиссеры театра, спроста перекраивающие классику, чуть не хвастаются, что мало читают (недосуг, недосуг!). Смелость неофитов, веселая свобода дилетантов, бесшабашие неучей...

И вот сами классики — отметим, с особой помощью “глянца”, который, показывая, что и он не чуждается “культурки”, преимущественно подглядывает то же самое, что у поп-звезд: кто кого, с кем, каким способом, — сами клас-

стики предстают... “Морально нестойкий” Пушкин, — впрочем, для кого, напротив, суровый православный фундаменталист, для кого — и юдофоб, навсегда узаконивший для будущих макашовых словечко “жид”... Толстой, скряга и лицемер... Шулер Некрасов... Гоголь и Достоевский — ну, те попросту воплощение всех патологий... Врунишка и трус Тургенев... Убийца и клятвопреступник Кобылин... Стукачи — Григорович и даже Денис Давыдов... Болезненный эротоман Чехов со своею “немецкой сукой” (последнее — джентльменский привет О.Л. Книппер от Виктора Ерофеева...).

Да и писали-то — худо!

Кто-то радостно обнаруживает, что Тургенев, в сущности, графоман; что Пушкин — дутая величина, сама банальность, уворованный Байрон; а, к примеру, известный Б.Г., Борис Гребенщиков, отложив для такого дела гитару, сообщает, что все герои Толстого ему невыносимо скучны — не то что у Бориса Акунина, придумавшего нам такую красивую историю (в смысле — наше прошлое).

В конце концов, почему бы рок-знаменитости так не думать? А кто захочет подкрепить аргументами его вкусовую прихоть, может — даже не без резона — посожалеть, что русская литература не заимела своих Гюго и Дюма. Вот что, однако, занятно: когда тот же Акунин предлагает свою версию чеховской “Чайки”, все персонажи пьесы, независимо от степени благородства, оказываются (понимаю, детектив!)

способными на убийство Треплева. А в перелопаченном Акуниным “Гамлете” безупречный Горацио предстает... Ну, конечно, Иудой-предателем, кем же еще!

Таковыми они — то бишь классики — нам ближе? Еще бы. Ибо, переиначивая слова Пушкина из зацитированного письма, малы, как мы, мерзки, как мы... Вот только некому по-пушкински же одернуть: “Врете, подлецы!.. Иначе”.

Некому — уж очень мы собою довольны. Очень себе по нраву. И не ждем катастрофы от такой картинки:

“В саду заплещет пламя факелов, к Христу приблизится Иуда и губы вытянет для поцелуя” (Юрий Давыдов. “Бестселлер”).

Просмеем, проболтаем, проиудим литературу — вместе с ней и Россию. Потому что они, в сущности, — одно и то же.

[2006, 5 июня]

Берегите недовольных

А начать можно и со смешного. Мой знаменитый приятель Борис Заходер много лет назад рассказал, как некие младшеклассники — важно отметить: из школы для детей с замедленным развитием — “проходили” басню “Лебедь, Щука и Рак”. Дабы подтолкнуть их к той “морали”, какую извлек из своей притчи Крылов, учительница дала трем ребятишкам в руки одну тетрадку и велела каждому тянуть в свою сторону.

— Вот ты, Васенька, будешь у нас Лебедь... Ты, Милочка, — Щука... Ну?! Поняли, почему воз и ныне там?

Впустую. Пока над одной из парт не поднялась ручонка:

— ЛОСАДОК НЕ БЫЛО.

Это вам почище “голового короля”. И ведь — а это действительно важно — не нужно снисходительных скидок на слаборазвитость. Наоборот!

Басня, аллегория, притча с ее условностью и моралью, воплощающей устоявшийся взрослый опыт (так называемую житейскую мудрость), как правило (исключения редки), не детское чтение. Критерии и сам опыт не совпадают; вспоминается, как Вадим Васильевич Шверубович, сын великого Качалова, в своих замечательных мемуарах рассказывал, что они, актерские дети, с негодованием отказывались присоединяться к осуждению “попрыгуньи Стрекозы”, для них — своей танцорки, актрисы, богемы, а расчетливый протагонист басни, Муравей, казался им жадным, безжалостным буржуем. Да и Эдмон Ростан, чутко переняв детский взгляд, вознес хвалу своему петуху Шантеклеру вопреки той же житейской мудрости Лафонтена: “Ты, ты, что предпочел жемчужине когда-то чистейшее зерно!..”.

А и вправду, на хрена настоящему петуху жемчуг?

“Лосадок не было”...

Вот химически чистая ситуация. Одна сторона, то есть в данном случае взрослые, намудрившие, додумавшиеся впрячь в одну телегу крылатую птицу, рыбу с жабрами и еще неведь что, — и другая, дети (настойчиво повторяю: то, что задержавшиеся на стадии инфантильности, лишь добавляет наглядности), возражающие: “Так не бывает! Абсурд!”. (Если бы знали такое слово.)

Понятно ли, что речь не о том, чья сторона права? (Каждая по-своему.) Речь о границе

между здравым смыслом; в данном случае человеческой первоначальностью, неискушенностью, если угодно, в некотором отношении “неиспорченностью” — и тем, что он не приемлет. Речь о значении этой границы и — как увидим дальше — ее подвижности. Речь, наконец, о том, что именно эта граница, за которой начинается (или хотя бы предполагается) абсурд, определяет характер того-то и того-то. Человека, общества, государства... Что скрывать, в том числе и прежде всего нашего человека, нашего общества, нашего государства; разве иначе стоило бы пускаться в сомнительные психологические экзерсисы?

Уже до оскомины процитирована история, радостно обнаруженная впервые в изданной в хрущевские годы книге фельетонов Власа Дорошевича и воспринимавшаяся подобием антисоветского анекдота. Как некий итальянский журналист, возмущившись появлением Шаляпина в “Ла Скала”, заявил, что, дескать, ввозить в Италию голоса — такая же нелепость, как в Россию ввозить пшеницу. То и другое в равной степени казалось нарушением азбуки здравого смысла, невозможным торжеством абсурда.

Из менее известного: в автобиографическом романе Ромена Гари пилот-француз, приятель и коллега автора-летчика, возмущен абсурдностью ситуации, когда (дело в начале Второй мировой) Франция терпит поражение, а им, молодым летунам, не дают возможности всту-

пить в бой: “Это то же самое, если бы Корнелю и Расину не давали писать, а потом сказали бы, что во Франции нет трагических поэтов”.

Представить — французу! — что кто-то может “не дать”, не хватает воображения, и найдется ли что-нибудь еще, столь явно выражающее веками воспитанные чувства достоинства и свободы?

Вот она, граница, о которой толкую, дающая хоть частичное представление о понятии “французский национальный характер”. (Не наш, не наш, увы!)

Граница, пролегла раз навсегда? Нет, разумеется. Как, в посрамление заносчивому итальяшке и, что много сквернее, всей черноземной России, в сладкоголосую Италию законно наладились ездить Паата Бурчуладзе или Хворостовский (хорошо!); как Россия (стыдно!) по сей день зависит не только от заморского хлеба, так и гордый галл со временем, глядишь, поумерил бы свою культурологическую категоричность. Конечно, сравнительно с нами, чей “литпроцесс” преотличнейше протекал без Булгакова и Платонова, без Ахматовой и Мандельштама, зато при участии Софронова и Грибачева, жареный петух не клевал французов в мягкое место, но и у них же будет цензура — хоть не нашей чета и всего лишь на время фашистской оккупации. Расина не тронут, конечно, чего не сказать о Мальро и Камю.

То есть и там, у них, граница меж областью абсурда (запрещать и травить писателей, да

еще лучших, — из его наипервейших признаков) и здравого смысла, случалось, сдвигалась-таки — и не в сторону здравомыслия. А сдвигаясь, она не всегда охотно возвращается восвояси... Правда, тут уж во мне говорит отечественный опыт.

Так или иначе то, что кажется до дикости невозможным, архинелепым (в Россию, европейскую житницу, завозить хлеб?.. “Закрывать” Расина — ну, хорошо, не Расина, так того ж Мандельштама — тоже нелепость, как был уверен и сам Мандельштам, возопивший в молодости, оказавшись в кутузке: “Выпустите меня! Я не создан для тюрьмы!”), именно это, невообразимое, тем не менее то и дело оказывается сбывшейся реальностью. (Не говорю уж: реальностью привычной и обыденной, чья нелепость бывает открыта только стороннему взгляду, — вон те же французы, рассказывают, даже простодушного данелиевского “Афоню” сочли кинематографом абсурда. Не может же быть такого, чтобы целый микрорайон зависел от забуддыги-сантехника!)

И вот наконец едва ли не главное.

Абсурд как противостояние норме, как безумие, как отказ допустить, что дважды два — ровно четыре, приходит, надвигается со стороны, извне; не изнутри человеческой натуры, сколь бы несовершенной она ни была. Так всюду, всегда, всякий раз, от тех же трогательных “лосадок” (чем едва начавший ориентироваться разум ребенка, отстаивая освоенный

мир, сопротивлялся агрессии взрослой логики) до совсем не трогательной цензуры.

А извне — это в частности или прежде всего власть (в том, заходеровском случае пусть всего только невраждебная власть взрослых). Плохая власть? Да всякая, даже самая наилучшая, то есть оказывающая на своих подданных самое наименьшее из возможных давлений. Беда, правда, в том, что, уменьшаясь в масштабе, но возрастая в амбициях, дробясь, множась, власть превращается в бюрократию, а идея власти, естественная для исторического процесса, нередко способная хотеть блага (почему нет?), — в многообразии форм насилия над конкретными проявлениями здравого смысла.

Каковые, то бишь проявления, кстати сказать, бывают весьма приземленными, вплоть до примитивности: как желание набить брюхо, иметь жилье, вовремя получать зарплату. И регулярность этих настойчивых требований, этих желудочно-кишечных позывов, конечно, не может не удручать власть, видящую перед собою куда более привлекательные, глобальные цели. “Когда ему выдали сахар и мыло, /Он стал домогаться селедок с крупой. /Обычная пошлость царила/ В его голове небольшой” (Николай Олейников. “Неблагодарный пайщик”).

...Как бы то ни было, сознаюсь и каюсь: в том, что́ сейчас говорю, не ищите диссидентской непримиримости или хотя бы сарказма. Ну, разве чуть-чуть. Я тут скорее умеренный

конформист-государственник, входящий в положение власти и даже понимающий природу ее раздражения против неблагодарного, ненасытного обывателя. (Каков и я сам.) Я не иду дальше банального понимания, что неизбежная функция власти (столь же неизбежно подвергаемая бюрократией опохабливанию) есть давление. Синонимы: упорядочение, регулирование; впрочем, и подавление.

Но коли так, не меньшей и не большей банальностью является то, что функция народа, как и его части, интеллигенции (в том смысле, который надеюсь здесь выявить, да и вообще необязательно их разделять), — сопротивление давлению власти. Законное сопротивление законному давлению. О незаконных речь не идет: со стороны власти это было бы тиранией, со стороны народа — бунтом.

Недоверие к государству — наше нормальное состояние, как температура 36,6. Мы — до единого — обязаны следовать потребностям своего простейшего здравого смысла: хотеть от властей большего, чем имеем. Льгот, зарплат, свободы.

Обязаны — ради самого государства. Ради его — его! — разумности и здоровья. То есть недоверие (к государству, к власти, к президенту) есть доверие. Надежда. По крайней мере небезнадежность.

Население, всем довольное (то есть, конечно, имитирующее довольство), — это карабасовы куклы или горожане из шварцевского

“Дракона”. То есть как раз тот самый победивший — хотя бы внешне — абсурд, которому не противостоит как оппозиция здравый смысл.

Что-что, а ум и холодный расчет за Владимиром Путиным необходимо признать, — и вот я, нисколько не придураясь, искренне не могу понять, как он способен (не говоря о “Единой России”, по крайней мере понадобившейся для победы на выборах) пестовать “Идущих” и прочих “Наших”, потакать этой имитации единомыслия (а если это не имитация? Если это уже прочно усвоенный стереотип, то бишь атрофия способности мыслить?).

КПСС? Не то. Не хуже, конечно (что может быть хуже?); просто там — да еще вкупе с “блоком беспартийных” — была организованная толпа, масса, орава, плазма, сравнительно безболезненно — как не имевшая костяка — умершая с переменой обстановки. Здесь — пострашнее, во всяком случае в перспективе. “Наши”, условно так называя всех подобных, — инъекция абсурда в тело общества, еще живое, но теряющее иммунитет. Концентрация единомышленников власти (по крайней мере в унисон повторяющих ее постулаты и заклинания) — симптом тяжелейшего заболевания общества.

Вдобавок и неуверенности самой власти, которой, видать, страшновато без хора подголосков.

Все та же пресловутая граница наползает, оставляя здравому смыслу все меньшую территорию, — и вскоре...

Вот неожиданный поворот моих размышлений, отчасти неожиданный и для меня самого.

Если не ошибаюсь — а кажется, нет, — не существует ни единого бранного слова, способного в один миг преобразить с виду цивилизованного — ну, полуцивилизованного — господина в брызжущее слюною животное, готовое в натуре пасть порвать, — не существует, кроме слова “козел”. Не “идиот”, “хам”, “придурок” — это так, трамвайные любезности.

Косвенно, но все-таки представляя себе как среду обитания, где это слово обрело статус смертельного оскорбления, так и его локальное значение (что-то вроде “опущенный”, не так ли?), я по общей привычке невольно прикидывал: обзови меня кто-нибудь так в уличной толчее, как среагирую?

Нет, как сказано в знаменитой книге, “я — не Иисус Христос”. И не булгаковский Иешуа, который, помнится, отказался перед Пилатом считать оскорблением сравнение с собакой — ибо не видел ничего дурного в разумном и добром существе. Конечно, дернусь обиженно, огрызнусь, но чтобы так...

Что ж заставляет уважаемого владельца дорогой иномарки, рывком покинув ее салон (сам видел), враз потерять — или выявить — лицо, возжелав небескровного возмездия? Не само же по себе слово, которое — вне социального контекста — есть звук пустой, а именно этот контекст, поглотивший обидчика и обиженного. Связавший их обоих (и многих, мно-

гих подобных; не слишком преувеличив, можно сказать “нас”) жесткими правилами отдельного мира, где козел — это вам не бешка с рогами и бородой, а метафора, за которую убивают; часть и признак наоборотной, зазеркальной реальности, где живут не по “человеческим” законам, а по закону “жюльнической крови” (исследован Варламом Шаламовым). Реальности, в которую мы, сидевшие и не сидевшие, как оказалось, равно психологически погружены, зависимы от нее.

Пустяк? Нет, симптом того, что нашей эмоциональной сферой если не завладел, так завладевает противоестественнейший из видов абсурда. Уголовный вызов цивилизации — своего рода чрезвычайное положение.

То, что общество усваивает блатной жаргон, — полбеда или совсем не беда, учитывая, как выразительно входят в словарь делового общения “разборки” и “беспредел”. Язык никогда не брезговал обогащаться за счет отбросов, а кошку следует называть кошкой. Не в лексике дело — в перекривленном сознании, не сопротивляющемся перекривленной реальности, где отныне, скажем, “проститутка”, как профессия — прежде не афишируемая, как оскорбление — несмыслимое, “опрестижена” прибавлением “валютная”. Где уже не убивают (еще сравнительно недавно — эмоционально страшный глагол), но хладнокровно мочат, и существительное, от него производное, — “убийца”, “убивец” (к тому ж с наиболееотягчающей ви-

ной — убийца наемный, мочащий за деньги, не какой-нибудь там романтизированный кровник-абрек), смягчающе преобразено в “киллера”, вошедшего в детские игры взамен Чапаева.

Абсурд не просто оттягал у здравого смысла его территорию; он сам занял его место.

Несколько номеров назад “Новая” потрясла — не меня одного — публикацией расшифровки “заседания Совета фракций Законодательного собрания” Санкт-Петербурга — на предмет отпора тем, в частности омбудсмену Владимиру Лукину, кто озаботился “участившимися в городе преступлениями на международной почве”.

Текст забываем, однако ж напомним:

“В Москве вот замочили какого-то пацана, и тишина полная... Полный Сорос! Там полный Сорос! А если взглянуть на его (Лукина. — *Ст. Р.*) происхождение, все абсолютно понятно... Ну, ребята, ведь понятно ж, откуда ветер дует и на какие деньги вся эта истерия раздувается... Сейчас, на следующей неделе, цены вообще за восемьдесят долларов уйдут за баррель черной нефти, и они совсем нас целовать начнут во все места... И пройдем мы нормально саммит, и забудем про всех тут негров удушенных, удушенных и утопленных... Вот я считаю так: из Сенегала ты, с Южного полюса ты, пингвин ты или еще кто-нибудь — ты обязан выполнять Административный кодекс Российской Федерации... А я давно говорю: хохлов бить надо!”.

И т. п.

Первая мысль — сдержанно-укоризненная: ай-ай, мол, родичи Блока, соседи Ахматовой, “культурная столица”, “питерский стиль” (на чей счет любили высказываться харьковчанин Собчак и уроженка Брянщины Нарусова, произведшие вкупе... ну, то, что произвели), как же, чопорные вы наши, пропустили в элиту, судя по одной только лексике, шпану и братков?.. То есть, возможно, и впрямь пропустили, прохлопали. Но скорее тут все же не то.

Ксенофобия, хамство, жаргон — это все, к сожалению, бытует и в низах общества. Несмотря на это, пусть с неохотой, внутренне сопротивляясь, не откажу в здравом смысле как причастности к первоосновам жизни какому-нибудь дяде Васе, который тоже не любит “чурок” и “черножопых”, полагая, что они все места заняли, не продохнуть.

Да, не откажу: здравый смысл — не медаль за отличие, не панацея от дурных чувств и поступков. Его несхожесть с абсурдом — не столько нравственного порядка, сколько ощущение реальности как реальности (что, правда, порою способствует вразумлению, но — не часто). Вообще он уж никак не признак зрелости и мудрости, не желая считаться даже со многими небезрезонными притязаниями власти и неизбежными сложностями жизни (опять и опять тот невинный и наглядный пример, для наглядности и понадобившийся: младенческий робкий протест против несуразной, а на деле художественной системы дедушки Крылова. Давай “лосадок” — и никаких!).

Тем более: “Когда ему выдали сахар и мыло, / Он стал домогаться селедок с крупой...”. Ну а вдруг в государстве с крупой как раз напряженка? Потерпеть не можешь, неблагодарный?..

Дядя Вася трагически заблуждается, думая, что его неудачливость исходит от тех, что “понаехали тут”, и я не уверен, будто его можно, тем паче просто, переубедить. Да пуще того! “Ежели что”, то с кистенем или с чем-нибудь поновее на “черных” пойдет именно дядя Вася, а не депутат Корякин (который узрел в физиономии Лукина признаки инородства): тот не рискнет своим теплым местом. Но дядя Вася, что бы там ни было, сам достоин сочувствия, сам обделен, сам остро нуждается в помощи и пособии.

А эти... Как ведут себя, как говорят!

Лексика лексикой, ее-то они, конечно, принесли в парламент из своего прошлого, но вот это высокомерие черни, оказавшейся в господских креслах... Эта важность государственных людей, от которых будто бы что-то всерьез зависит... Это (знакомо!) желание говорить в унисон с властью, демонстрируя ту же озабоченность, что она (“доллары... баррели...”)... Эта имитация на грани звукоподражания (так и есть: смысл слов несуществен, остаются звук, интонация кичливости и угрозы)... Все это не принесено с улиц, а обретено тут, на элитном верху. Где сформировался отдельный мир, сопоставимый с тем, где за “козла” убивают, пардон, мочат, — сопоставимый по степени на-

оборотности, не имеющей отношения к жизни реальной, которая худо-бедно соображается со здравым смыслом, пусть в элементарных его проявлениях.

Фантомы, исполненные значительности. Цахесы. Теневой театр абсурда, пародирующий тех, кому рвется подражать...

Вывод?

Да, дядя Вася — “плохой” и при таких верховодах обречен не становиться лучше, но — обращаюсь: любимая наша власть! Дорожи им, его недовольством, причин которого он сам не поймет, но которое есть признак присутствия здравого смысла. Дорожи не меньше — но и не больше, — чем самым красноречивым твоим оппонентом — правозащитником (конечно, тебе ненавистным). Береги недовольных тобою — чтобы самой не превратиться в... См. выше.

В недовольных — во всех, во всяких — твоя нереализованная сила, твой невостребованный ум, твое еще возможное спасение.

И наше тоже — но это уж так, заодно. К слову.

[2006, 26 июня]

Блаженны изгнанные...

А мы?

Звучит, понимаю, смешно, но перенос праха императрицы Марии Федоровны я воспринял с каким-то уж очень личным (что как раз и смешно) чувством.

Потому ли, что нежно люблю Данию? (Где бывал не раз, даже подолгу.) Люблю ревниво, отчего, помнится, с личной опять-таки оскорбленностью — большей, чем обычно бывает при встрече с высокомерием и невежеством, — воспринял слова Никиты Михалкова. Дескать, в Дании прекрасное масло, а искусство? “В прошлом веке — сказочник, в этом — кинорежиссер”. Все. (А, вскинулся я, Торвальдсен? А Кьеркегор? Бурнонвиль? Карен Бликсен?..)

К слову, имперский синдром на уровне беспризорников Антона Макаренко: “Вот Дания, и Швеция, и Швейцария. Я читал, что там совсем нет воров”. — “А что ж хорошего?.. Зато они,

Дания и Швейцария, мелочь”. Но это именно к слову.

Итак, Дания... Вспоминаю и Роскильде, древнюю столицу, где прямо у собора — огромное пшеничное поле, ведущее к фьордам; то есть от собора, где и хранился прах царицы Марии-Дагмары. Некая общая нежность, датская и российская, русская, смыкалась вокруг ее имени, и когда моя жена, купив на развале серебряный крест (с которым не расставалась до конца жизни), радовалась, что он именуется: “крест Дагмары” — мне жаль было ее разубеждать. Объяснив, что Дагмара — не та, а полуполюгендарная, из двенадцатого-тринадцатого веков...

И — достаточно сантиментов.

Святое дело — исполнить волю Дагмары-Марии, пожелавшей упокоиться рядом с супругом. Тем более если воля и вправду была высказана; если вдовствующая царица, умирая, могла представить, что Россия спасется от большевистской напасти, как чудом удалось спастись ей самой. (Правда, неизбежный вопрос: мы-то — спаслись ли, и весьма понимаю наследников Анны Павловой в их сомнении насчет передачи праха в страну, каковая, по завещанию балерины, сперва непременно должна избавиться от коммунистов-чекистов.) Словом, плебейски сочувствую ритуальному торжеству потомков Романовых — да и вообще мое ли это дело? Порою, однако, кажется, что и ты имеешь право на голос.

Я очень любил Александра, Сашу Галича. Дружил (потом враждовал) с Максимовым. Знал Виктора Некрасова, выпивал с ним. И, казалось бы, по велению причастности и приязни должен хотеть, чтоб и они переселились со своего Сен-Женевьев.

Не хочу! Не хочу, понимая, что с моим одиноким возгласом никто при случае не посчитается. Не хочу всего-навсего как человек, художбно думающий о родной истории; как сознательный обыватель.

“История не знает сослагательного наклонения” — формула, застрявшая в зубах. Да знает, знает, мы только и занимаемся тем, что, включая историков-профессионалов, перетряхиваем ее¹. Хорошая шутка: Россия, мол, страна с непредсказуемым прошлым — да одна ли Россия? У нас — “сослагательные” Петр, Грозный, Столыпин, а уж Ленин, Сталин, даже, глядишь, Брежнев; “у них” — взять хоть Ричарда III. Дело обычное и всеобщее, так что речь не о тех, кого переоцениваем, а о самих переоценивающих. О нас, жаждущих занять лъстящее зеркало.

Нет уж, по мне, оставаться бы нашим изгнанникам там, где легли, чтобы хоть мы с вами помнили, кто изгонял, кто приютил.

Переселение мертвецов — это для нас вроде как обряд покаяния? Но даже в перестроечной эйфории, когда с легкой руки и с позиции необремененной совести Д.С. Лихачева звучал при-

1 Простите, опять повторяюсь: любимая мысль.

зыв ко всеобщему покаянию, думалось: да, покаяние облегчает душу, но вот именно облегчает от сознания исторической греховности. Дает отпущение грехов — даже смертных.

Блаженны изгнанные правды ради — как известно, надпись на Галичевой плите. А мы, изгонявшие (ну, пусть лишь присутствовавшие, сочувствуя, плача при изгнании, что, понятно, не одно и то же)? Каратели-то как раз никогда не покаются, а для нас спасение — не исправлять историю задним числом. (А то — как мерзкий курьез вспоминается, как Высоцкому, самолюбиво страдавшему от того, что его даже в Союз советских писателей не принимают, по-смертно — бац! Сталинскую, то бишь, простите, Госпремию!) И, не слишком бия себя в грудь — в чем как раз опасность доступного покаяния, если не сладострастие мазохизма, — надо всего только помнить. Не убирая улик.

[2006, 9 октября]

Против засилья черных мыслей

Запись в “Дневнике последнего сценариста” Анатолия Гребнева, сделанная ровно тридцать лет назад:

“Лева Е.: “У меня кавказское лицо. Очень помогает. Номер в гостинице, какие-нибудь билеты, шмутки, все что угодно, пожалуйста. Почему? Кавказское лицо. К нам доверие...”

Смешно? Если и да, то в контексте сегодняшнем черноватый получается юмор.

Хотя улыбнуться не зазорно — не в этом случае, так в других. К примеру, вспомнив стихотворение Ярослава Смелякова 50-х годов, названное ни меньше ни больше как “Маленький праздник”; а праздник свелся к тому, что “замеченный сразу же всеми китаец вошел в “Гастроном”. Просто — вошел, и “губы у всех подобрали, и стали глаза веселей”. Сантимент на грани слезливой умиленности, а между тем —

не фантазия. По крайней мере московская публика в те годы и впрямь с нежностью воспринимала появление на своих улицах китайских “братьев”.

Или — на моей личной памяти, уже много позже: как в близлежащем магазине “Варна” темнокожие обитатели соседнего “дипломатического” дома с полным сознанием своего права нарушают очередь за болгарской брынзой и венгерскими курами. И мы, обычно по подобному поводу вздорящие, безмолвствуем. Гости. Да еще черные, где-то там, стало быть, угнетаемые.

Да что там! Все ли сегодня знают, что в уже совсем далекие 20-е годы XX века быть евреем (!) значило тем самым являть социальную благонадежность? Почти как быть “из крестьян”. Еврей — значит, не из графьев. Не дворянин.

Так что ж? Мы были лучше? Нет. Всякий раз подобное предпочтение диагностировало форму очередного общественного заболевания.

О евреях. То была пора обостренной, обостряемой сверхху классовой ненависти — в частности и в особенности к недобиткам из дворян, то есть “белым”. Заодно и к больно умным интеллигентишкам (это потом, старанием Сталина с соратниками и последышами, каждого интеллигента начнут проверять на “жидовство”, а тогда... Не инородчество находилось под подозрением, а инородность).

Впрочем, сильнее, реальнее ненависти, действительно поощряемой верхами, был владев-

ший низами рабский страх оказаться уличенными в причастности к социально сомнительным, классово чуждым; через газеты потоком шли отречения от “неправильных” родителей.

Вам по душе этакий интернационализм?

Китайцы... О, то был период “великой дружбы”, оставивший след в названии плавленных сырков, легендарной закуски студентов и тех, что “на троих”. Два тирана имитировали любовный союз; масса подхватывала: “Сталин и Мао слушают нас!”.

Негры... Скажем политкорректнее: афроамериканцы, афроазиаты. Символика холодной войны с традиционным “а у вас негров линчуют”. Любовь-страсть без разбору — что к “агенту влияния”, отличному басу Робсону (который со слезой — возможно, искренней — выпевал: “Ньет для нас ни черных, ни цветных”), что к террористке Анджеле Дэвис.

Наконец, “лицо кавказской национальности”... Виноват: “кавказское лицо”, вызывающее доверие.

Кто не забыл, подтвердит: да, любовь к ним — при хамстве “своим” — со стороны obsługi разного уровня (щедрь, бросають, не считая, купюрь; анекдот тех лет: “Палто не надо!”), доверие московских блондинок. Кепки-аэродромы на ступенях Центрального телеграфа, победно оглядывающие проходящих женщин... Помню, однако, как стыдились этого имиджа мои тбилисские друзья-интеллигенты, блистательные литераторы.

Надеюсь, читатель заметил: во всем, что вспоминаю, нет ни единого — ну, почти, почти — упрека “им”, “гостям”. Зато уж мы с вами...

Понимая это “мы” исторически широко, надо бы помнить, что несомненный наш гений, Достоевский, обнародовавший в знаменитой речи всемирную отзывчивость русской души, без чего она — не русская, был не менее несомненным антисемитом и полонофобом. Как уживалось? Во всяком случае, это противоречие нечаянно — то есть нечаянно по отношению именно к Достоевскому — выразил советский поэт, к слову, кавказец: “Легко любить все человечество, / Соседа полюбить трудней”.

Анатолий Смелянский в книге “Уходящая натура” вспоминает, как Олег Ефремов вычитал у Толстого фразу: “Еврея любить трудно, но надо”. И неделями донимал окружающих этой фразой, заслужив у иных из “либералов” репутацию антисемита. “Он, — толкует Смелянский ефремовское понимание, — обнаружил настоящую христианскую мудрость в этом парадоксе: преодолевай предрассудок, преодолевай дикость свою, еврея так же трудно любить, как русского, татарина или немца. Трудно любить человека, но надо”.

Хотя, коли на то пошло, и любить не обязательно.

Николай Семенович Лесков, “из перерусских русский”, повторяя пушкинские слова о полунемце Фонвизине (рискну присоединиться: я сам в книге “Русские, или Из дворян в интелли-

генты”, где есть “русский изгой”, “русский провидец”, “русский лентяй” и т.д., и т.п., Лескова обозначил как “русский русский”), так вот, он мог высказаться: “Я за равноправие, а не за евреев”. И объяснять ли — дело, сознаю, щекотливое, — что “не за” не означает “против”? Что формула вообще многозначнее пресловутого “еврейского вопроса”? Что существует разница между личной и неподконтрольной, что поделаешь, антипатией — лучше сказать: отсутствием симпатии — и человеконенавистничеством?

Отметим, что сказано человеком, сполна заслужившим слова своего биографа: “Лесков очень боялся патриотического пустохвальства и (даже! — *Ст. Р.*) национальной гордости”.

Возвращаясь в нашу злободневность, к нынешней грузинофобии: все не так просто. Правда, сентенция эта пригодна для всех случаев жизни.

Кто создавал миф, прекрасный, как почти все мифы, и столь же утопический, как они, о Грузии — земном рае, похоже, рае до грехопадения? О стране, где все поголовно рыцарски благородны, бескорыстны, широки душевно? Миф, утопию, что опасно для самих мифотворцев — тем, что когда-нибудь неизбежно грянет разочарование.

Мы, мы создавали, не исключая самих грузин; в частности, грешен и я среди многих и многих, небезосновательно влюбившийся в страну, ко мне — как опять-таки ко многим и

многим — добрую, и в людей, которых числю своими друзьями. А потом моей личной болью оказалось, к несчастью, разное и, пожалуй, острее всего, даже гамсахурдистского кошмара, то, как в дни армянской беды, страшного землетрясения, соседствующие с железной дорогой села — в том числе и грузинские — шли грабить составы с гуманитарным грузом. “Шагали мужчины и женщины, мамы с детьми, старики со старухами” (выписка из прессы 90-х годов).

Никогда после этого Грузия не станет прежней — бессильно сетовал я, не понимая, что “прежняя” тоже во многом выдумана (как выдумана идеально-патриархальная Русь). Никто здесь ни лучше, ни хуже никого; как говаривал Зоценко, в хорошие времена люди хороши, в плохие — плохи, в ужасные — ужасны.

С той оговоркой, что если не в силах людей, то есть нас, создавать хорошие времена, то вполне в силах плохие превратить в ужасные...

Вряд ли мне надобно каяться в империалистическом сознании; скорее уж это мой своеобразный грузинский патриотизм плюс остатки утопизма заставляли с обидой встречать статистику, согласно которой чуть не 80% воров в законе — грузины. (Так ли?) Возникала даже вполне дурацкая мысль: чего ж “они” сообща, соборно не исправят данного стыдного положения? Ведь малые нации, прикидывал я, сплочены куда прочнее огромных; не мною замечено, что, случайно встретивши земляка за

границей, грузин к нему радостно кинется, а русский пройдет мимо...

Впрочем, готов найти повод для покаяния.

Когда сегодня — по мановению президентской руки — берутся за рынки, освобождая от власти “черных” (кстати, если не ошибаюсь, в наименьшей степени это относится именно к грузинам — с тех пор как Шеварднадзе под волевым лозунгом: “Мы нация Руставели, а не торговцев!” — перекрыл пути на московский базар и тот, помнится, победил на время, пока не явились кавказские конкуренты), короче, вот вам двойственность ситуации. А может, и раздвоенность моего сознания: как покупатель со стажем могу ли встретить запоздалый призыв только с неодобрением? Ведь не могу же, черт меня подери!

Во-первых, когда еще было ясно, что продажность московских чиновников и московской милиции все это и образовала, вытесняя так называемых отечественных производителей. А во-вторых...

Да нет никакого “во-вторых”. Все у нас — и всегда — во-первых, имея первопричиной коренную нашу несправимость. Приговаривая: “Мы не против грузинского народа... одна вера... одна культура...” (в другой ситуации будем себя заклинять: не против азербайджанского... латышского... туркменского), на лексическом уровне выдаем то, что некогда было защитительной формулой юдофобства: “Какой же я антисемит? Да у меня друг — еврей!”.

Даже юдофоб номер один — или хотя бы из самых первых — Софронов имел при себе Бальтерманца.

Что добавить?

В конце концов пишу все это не затем, чтобы посострадать “им”. У “них”, слава Богу, есть своя родина, куда они могут вернуться и художественно строить свою жизнь. Мы — останемся на своей с надолго перекорезанным сознанием. Нас — жалко.

[2006, 16 октября]

Интеллигент – имя прилагательное

Расхожее суждение: интеллигенция прогнулась под властью... В самом деле? Ах, Боже мой! Интеллигенция — и вдруг прогнулась?

Говоря чуть серьезнее, что ж это: худо-бедно выдержали испытание застоем, в значительной своей части сохраняя достоинство, и растерялись перед “рынком” и “регулируемой демократией”? Или не в этом дело? Просто — выдохлись? Наедине со “свободой” затосковали о пресловутой кухне, о резервации, что ни говори, уютно ограничивавшей сами по себе притязания?.. И т.д.

Подумаем. Повспоминаем.

...Само слово “интеллигент”, как уверяют (я лично не проверял), спроста пустил беллетрист Боборыкин в шестидесятые годы позапрошлого века. Это — слово, понятие, а когда возникло явление?

Николай Бердяев говорил, что Пушкин и декабристы, сами еще не являясь интеллигентами, не образуя интеллигенцию, предваряли ее появление, имели в зачатке ее черты, обозначившиеся в Толстом и Достоевском (добавлю: идеально воплотившиеся в Чехове). “Великие русские писатели XIX века будут творить не от радостного творческого избытка (как, мол, творил Пушкин, “ренессанская”, согласно Бердяеву, так он писал это слово, фигура. — *Ст. Р.*), а от жажды спасения мира, от печалования и сострадания...”.

Хотя я-то думаю: именно в Пушкине запечатлелся этот процесс, случилось преображение, чудо: на протяжении одной творческой судьбы пройден путь от “избытка”, от “ренессанскости”, от Парни и Вольтера, от эпикуреизма и “Гавриилиады” — к “Борису Годунову”, к “Каменному гостю”, к “Пиру во время чумы”. И вот умный и сильный царь раздавлен сознанием своего греха; беспечный соблазнитель, истинный герой Ренессанса, вдруг ощущает неведомую прежде зависимость от любви; “чумный председатель”, опять-таки словно выходец из возрожденческого “Декамерона”, перестает упиваться своей цинической свободой, сражен и пленен состраданием...

Впрочем, и до Пушкина — разве Державин, певший не на пространстве свободы, а в золотой клетке, не лелеял по-своему свойство, без коего немислим традиционный интеллигент: личное достоинство?

Увы. Как печальный каламбур это славное имя не могло не всплыть из глубин памяти, когда недавно Державин, Михаил Михайлович, хороший артист и, насколько знаю, милый человек, получая из рук президента награду, попросил его от имени народа (и как это я проморгал всенародный референдум?) остаться на третий срок.

Вот ведь, казалось бы, странность: сам заявил и, наверное, искренне (ну устал человек, надобно отдохнуть или хоть малость передохнуть), что уступит свои полномочия в 2008-м, а эти... Виноват, но и тут вспоминается Пушкин: “Сам государь такого доброхотства / Не захотел улыбкой наградить: / Лстецы, лстецы! старайтесь сохранить/ И в подлости осанку благородства”.

А Державин — нет, на сей раз уже не наш, а тот, льстивший, казалось, безудержно, как почти все сочинители восемнадцатого столетия, вдруг — да не вдруг, в том-то и дело! — ответит решительным отказом бывшему статс-секретарю покойной Екатерины Храповицкому, который посоветует ему отречься от былых восхвалений, например, Потемкина: “...Днесь скрывать мне тех бесчестно, / Раз кого я похвалял”. И раньше, при жизни императрицы, когда все тот же статс-секретарь призовет Гаврилу Романовича бросить писание сатир и вернуться к воспеванию власти: “...Воспой еще, воспой Фелицу, / Хвалы к хвалам ее прибавь”, откажет и тут. Понимай: вдохновение на сей счет иссякло.

Даром что и сама “Фелица”, по слову Державина, “прашивала” его о новых хвалах...

Итак, Пушкин — начало. А знаменитый сборник “Вехи”, этот акт интеллигентского самообличения (как сверхинтеллигент Чехов имел право — именно по зову безупречной интеллигентности, понимаемой как “печалование и сострадание”, свойств, в сущности, христианских, — честить собратьев по “прослойке” слизняками и мокрицами), “Вехи” — конец. Надгробное слово, вернее, вопль.

Разумеется, понимая “Вехи” широко, вкупе с общественной атмосферой, породившей сборник. Напомню, 1909 года.

Что делать, уже проходила эпоха земских врачей и учителей, подвижников, которых всегда меньше, чем хочется и чем кажется, но которые и образуют стержень эпохи или хотя бы явления, эпоху характеризующего...

Да и в подвижничестве ли дело, в том, что не способно претендовать на множественность, что слишком идеалистически-экзальтировано? Наблюдательный Евгений Шварц писал, что “в начале века (естественно, двадцатого, в эпоху позднего Чехова и “Вех”. — *Ст. Р.*) врачи, адвокаты, инженеры стояли примерно на одной ступени развития. Какой — это второстепенно”¹.

Именно так! Второстепенно! (Добавлю, сознавая даже не второстепенность, но третьесте-

1 Опять повторяюсь и опять о том же жалею: уж больно важна — для меня — мысль.

пенность, что и выглядели, и одевались, и брились, точнее, не брились, сохраняя обязательные бородки, однотипно. И мода, значит, была определенной, если не “классовой”, то “прослоечной”?)

А Сергей Дягилев, отвечая журналисту, берущему у него интервью, на какую публику он рассчитывает со своими “экспериментами”, говорит нечто на нынешний взгляд престранное:

“— Думаю, что мне надо рассчитывать на средний (! — *Ст. Р.*) класс, то есть на интеллигенцию, ту самую, которая создала успех Московскому Художественному театру”.

Не сказал ведь: на духовную, дескать, элиту. На средний класс.

Так или иначе, полагаю, даже Октябрь 1917-го, который грубо приблизил финал, начав и продолжив расправу над интеллигентами, под интеллигенцией как под чем-то соборным всего лишь подвел черту.

“Социальная база” уже истощалась, была обречена — не революцией, а эволюцией, бесповоротно начавшейся в быстро капитализирующейся России. Идеализм уступал место уверенному прагматизму: в общем, история, еще сохраняя интеллигентов, интеллигенцию хоронила.

“Интеллигенция”... Да уже одно то, что возникли — пусть демагогически продиктованные новой властью — оттенки: “техническая” или “гуманитарная”, наконец, “советская”, “ра-

бочая”, “колхозная”, одним словом, “трудовая” (плюс политически-эмоциональные: “размагниченная”, “гнилая”, “паршивая”), то есть само слово “интеллигент” как бы перестало быть существительным, воплощающим существо, стало прилагательным, уступив смысловую значимость оценке, — одно это, говорю, свидетельствует: целого — нет. Оно — фикция.

Хотя совсем не фиктивна была и антиинтеллигентская политика молодых Советов, включая расстрелы тех, кого Ленин списал в “г...”, и “философский пароход”, вернее, пароходы, увозившие — как надеялись ленинцы, в никуда, в забвенье — гордость русской науки и мысли...

В общем, думаю, по правде, не слишком боясь ошибиться, в нынешнем нашем обществе — тянет добавить: тем более — интеллигенции попросту нет; притом все же не в распространенном уничижительном смысле, что, мол, куда уж нам, недотягиваем, рылом не вышли. Нет, дотягивающие особи, полноценные интеллигенты — есть, их даже немало. Но интеллигенция — кончилась, и давно, как кончилось в свое время дворянство, так неуклюже ныне реанимируемое.

Стоит ли, однако, самоуничижаться? Или спешить отречься, как многие и порою не худшие: “Я не интеллигент!.. Не хочу быть интеллигентом!”, теряя нравственное чутье, как у битой по носу собаки. (Либо, что, в сущности, разновидность подобного, являя высокомерие.

Помню, как, выступая по ТВ, Никита Михалков заявил: я не интеллигент, я — аристократ. После добавив, что считает истинным аристократом и своего отца. Ну-ну.)

Снова и снова: интеллигенции как соборного понятия нет, она отыграла свою роль, на пороге умирания была подтолкнута к гибели, вытеснена, уничтожена, оставив нам — вот самое главное! — интеллигентность. Подобно тому как дворянство, также уйдя, оставило понятие духовного аристократизма — не в михалковском, понятно, духе.

Интеллигентность не как принадлежность, а как свойство, вернее, как систему запретов: интеллигент не может себе позволить того-то, того-то, того-то.

Интеллигентность как то, что сегодня труднее взрастить в себе и, взрастив, сохранить, чем в былую и канувшую эпоху, — опять же в точности так, как сохранившихся (то есть сохранивших себя) аристократов духа уже не поднимает на свои сплоченные плечи сословие: и помянутый аристократизм, и интеллигентность приходится добывать только собственными усилиями.

А то и те, с чего и с кого я начал статью, которые то есть “прогнулись”... Что ж, попробуем их не обидеть. У нас ведь сейчас поветрие — объявлять, что хватит нам (им?) быть старорусскими интеллигентами, надо скорей становиться — по-европейски — интеллектуалами. Разумными то есть прагматиками.

На этом и остановимся. Будем считать, что они европеизировались. Правда, как-то уж очень знакомо, как раз по-русски. Зато звучит не обидно.

[2006, 30 октября]

Страна Чекистия

Давным-давно, будучи молодым членом Союза писателей (самым молодым из сословия критиков) и, соответственно, любопытствующим, я посещал профессиональные собрания. Смутно помню аккуратную, благостную старушку Ольгу Войтинскую, но воспоминание мгновенно обрело резкость, едва прочел кое-что в сборнике документов “Большая цензура”.

И. о. редактора “Литературной газеты” Войтинская пишет Сталину в январе 1938 года. Кажется: не выступила против тех, кто попал или мог попасть во “враги народа”. Против Михаила Кольцова, будто бы готовившего убийство Горького, Веры Инбер (!)... Ну ладно, она-то (Инбер), племянница Троцкого, всю жизнь старательно искупала этот грех, но Войтинская называет еще и Панферова, графомана-соцреалиста... Короче: “Как редактор я обязана была вы-

ступать...”, но: “Мне было трудно потому, что одновременно я вела разведывательную работу по заданию органов НКВД... Я к работе в разведке отношусь, как к чему-то священному...”.

Хотя чего удивляться, ежели Микоян, напомним, заявлял с партийной трибуны (кадры кинохроники), что каждый член партии — нет, поправился он, каждый советский человек должен быть сотрудником “органов”. Отметим: не сочувствовать, а сотрудничать.

Таким должно было быть и общество в целом. Где единственное оправдание в недоносительстве, вернее, в отсутствии рвения стать доносителем, — то, что недоноситель сам был занят провокаторским выслеживанием неблагонадежных. “Священной разведкой”...

Переход, может быть, неожиданный. Отличнейше понимая, что окажусь в сугубом меньшинстве, признаюсь, что не люблю писателя Богомолова. В частности и в особенности — знаменитый роман “Момент истины”, имея в виду прежде всего заключительный, ключевой эпизод, к слову, превосходно написанный. Тот, где поисковая группа наконец-то обнаруживает опаснейших врагов-диверсантов.

Обнаруживают, обезвреживают — вопреки тому, кто не желает им помогать. Невольно играя роль того, кого раньше называли “пособником врага”.

Читатель, конечно, помнит: речь о помощнике военного коменданта.

Что мы знаем о нем?

Независим: “Даже со старшими по званию капитан разговаривал без выражения почтительности...”. Писатель вообще объективен по отношению к персонажу: сообщает, что тот воевал — и воевал хорошо; был ранен и лишь по ранению назначен на полуштатскую должность, каковая его тяготит. Тоскуя по своему батальону, рвется на фронт. Талантливый певец, он приходит в истинный ужас, когда его пробуют “спрятать” во фронтовом ансамбле песни и пляски.

Поведение интеллигента в военный период; не сказать “типичного”, напротив, с особенно ярко выраженными свойствами этой породы — с независимостью, совестью, повышенным чувством долга.

Каковы же причины неадекватного поведения во время захвата? Как ни странно — впрочем, странно ли? — те же самые.

“Особистов капитан не любил, считая их привилегированными бездельниками... Кантуются по тылам... да еще героями себя чувствуют”. И если бы лишь кантовались — он помнит, как “брали” на фронте его бойцов, разумеется, ни за что. И когда те, кого ему велено сопровождать, потребляют свой спецпак, выданный им в виде исключения, — что знают читатели, но не он, от кого смысл операции скрыт, — как тут не возмутиться?

“Белый хлеб и другие деликатесные по военному времени продукты, которые были положены и выдавались строго по норме, кроме

летнего состава ВВС, только раненым в госпиталях, особисты потребляли до отвала — кто сколько хотел”. Вот и сейчас, на его глазах, “старшина торопливо и шумно сожрал полбуханки белого хлеба и целую банку нежнейших консервированных сосисок”.

Да, он не знает, повторю, что эти “особисты” выполняют реальнейшее задание и, будучи высококлассными специалистами, лишь прикидываются особистским жлобьем, терзая тупой подозрительностью таких с виду фронтовых работяг, но в основе-то — опыт советского интеллигента, нет, просто интеллигента, “чеховского”, как говорим с толком и чаще без толку; опыт наблюдения и собственного общения с чекистской заразой, опоганившей его родную страну. И секретность, которая справедливо, по необходимости соблюдается в данной ситуации, кажется ему — ведь неизбежно — отражением той сверхсекретности, которая устрашающе внедрена в ежедневный быт советских людей.

Он не прав? Да, да, но кто же внушил интеллигенту отвращение к “чекистскому” жизнепорядку?

Словом, он не хочет слушать указаний поисковиков — и в результате гибнет, бедняга.

Бедняга? Или злорадное “сам виноват”? Во всяком случае, читательская реакция — в свое время я проверял — бывала такой: идиот! Чуть не сорвал операцию! Шпионов из-за него едва-едва не упустили!.. Да что там “прове-

рял”! Читая, разве и я не досадовал невольно, что — как раз из-за своей интеллигентщины, своего чистоплюйства — он так сплюховал?

Иную реакцию — во всяком случае, непосредственно эмоциональную — и трудно предположить. Богомолов для этого слишком мастер. Слишком профессионал.

Однако тут взгляд профессионала не только в чисто писательском смысле (о чем, между прочим, подумалось, когда при появлении романа Владимова “Генерал и его армия” Богомолов выступил с такими разоблачениями, уж поистине не писательского характера!..). Взгляд, включающий иные прочие, очень определенный: “Пароли, явки, имена!”.

Прав я или не прав, но для меня вся эта история — вроде как притча. При всей конкретности описанной ситуации. Читатель, ангажированный, завербованный (как в принципе и должно быть) талантливым автором, обязан быть раздражен непонятливым, недисциплинированным, занесшимся интеллигентишкой. Доходя, может быть, до обобщения: “Все вы такие... Путаетесь под ногами!”.

И разве он не прав — по-своему? От Ленина, напоминая вновь и настырно, объявившего, что интеллигенция — не мозг нации, а г..., до нынешнего времени нам намекают или говорят прямо: мешаете. (Конечно, почти крайний случай — странное сожаление о гибели Политковской, совавшей нос не в свое дело, наносящей своими статьями вред стране.)

Впрочем, какое там — “от Ленина”. И тут отечественная традиция, уходящая вглубь Бог знает куда. А Екатерина Вторая? “Худо мне жить приходит! Уж и господин Фонвизин учит меня царствовать!”. Она же — ему же на вопрос, отчего “в век законодательный” столь мало отличающихся на этом поприще: “Оттого, что сие не есть дело всякого”.

Знай, сверчок, свой шесток...

Итак, мы — мешаем. Наше существование нецелесообразно. Мы — это в лучшем, безобиднейшем, ненаказуемом смысле — лохи.

И — вопрос на засыпку.

Помните депутата, кажется, бывшего — что-то он перестал мелькать? В общем, такого забавного коммуниста-агрия, чью фамилию я уже успел позабыть, а проверять лень да и незачем. Помните, как на заседании Государственной Думы вдруг объявили, что его повышают в чине и присваивают звание полковника госбезопасности? Как потешались кругом над этим рассекречиванием, подозревая даже издевку, и сами его коллеги-однопартийцы не очень скрывали кривую ухмылку?

Так вот. Представляете ли вы, что, случись такое сегодня, смех был бы точно таким же?..

Опасливо оговариваюсь: не в том дело, что все *они* поголовно плохи. Совсем не в том! Наверняка не так! Но их профессионализм, их жестко подозрительный, то бишь как раз профессиональный, взгляд на историю, на общественное устройство, тем паче на нас, мешаю-

щих, плохо соотносим с тем, ради чего некогда возникло и долгие годы существовало единое понятие “российский интеллигент”.

По крайней мере в ближайшие годы, извините за пессимизм, иного не жду. Интеллигентам, если, понятно, они хотят оставаться такими, надо готовиться к долгой зимовке. Вновь — выживать.

[2006, 2 ноября]

Мифология

Есть две легенды, очень распространенные и очень красивые. Соблазнительные.

О датском короле, вышедшем на улицу оккупированного Копенгагена с желтой звездой. И об огромном кресте, который Франко поставил в Долине павших будто бы в память всех погибших в гражданской войне.

Любопытнее всего, что легенды — нашенские, российские; датчане и испанцы знают, как оно было. Сам от них слышал не раз. Например: генералиссимус вовсе не думал чтить заодно память убитых врагов; наоборот, возводил крест в честь себя самого (там и покоится) и сподвижников; воздвигал вполне по-гулаговски, руками эзков, массово умиравших, как наши на Потье и в Колыме.

Словом, мифы, как обычно, характеризуют нас, мифотворцев.

Свидетельствуют, чего нам хочется.

Чего же?

Ну хотя бы — увидеть в злодее (Франко), прямо по Станиславскому, “где он добрый”. Гуманизировать. Или все свалить, точнее, взвалить на одну-единственную личность, давая себе пример освобождения от ответственности. А ведь в той же Дании в действительности было иначе, и, признаю, мне действительность нравится больше легенды.

Когда оккупантами тайно готовилось “окончательное решение еврейского вопроса”, кто-то из высших немецких чинов допустил намеренную утечку информации, и Кристиан X сказал в сердцах кому-то из приближенных: коли, мол, так, и он готов надеть знак причастности к уничтожаемым подданным. Не пришлось, слава Богу. Поскольку акция назначалась через три или четыре дня и аккуратные немцы строго соблюдали сроки, датчане успели на своих суденышках перевезти почти всех евреев в нейтральную Швецию, из Хельсингёра, он же Эльсинор, в близлежащий Мальмё.

(Не удержусь добавить, что после войны, когда спасенные принялись возвращаться, кое-кто из спасителей вознамерился оттягать у них мзду за подвиг спасения, — но ведь и это не в укор спохватившимся корыстолюбцам. Означая лишь то, что пострадали и рисковали не избранные герои, а, по Воланду, люди как люди, и сама проснувшаяся корысть — свидетельство их обыкновенности. Массовости. Вот что чудесно.)

Так что же все-таки говорит о нас с вами вышеозначенное мифотворчество? О зараженности тоталитаристским мышлением?.. Впрочем, вернее — инфантильно-патерналистским (Путин еще долго может не беспокоиться).

Ладно. Допустим, не переставший волновать сердца Сталин — понятно: не говоря о ностальгии уходящего поколения, тут, как говорится, еще и протестное голосование. Хотя все же телесериал “Сталин Live”, полагаю, чрезмерно постыдная попытка реанимации любимого трупа, увы, выражающая тенденцию; символично и то, что актер, сыгравший в “Покаянии” Тенгиза Абуладзе жертву, с удовольствием романтизирует палача. И Боже, что он нес по “Эху Москвы” о Богородице, указавшей на Джугашвили как на спасителя. Уж не Спасителя ли?

Дальше: Брежнев — еще понятнее. Тридцать лет назад солнце было ярче, девушки — ласковее, мускулы — тверже. Но что нам ихние — “хороший” Пиночет? Несгибаемый Фидель? Саддам, которого ужас как жалко? Сербское их подобие? “Когда Милошевич, как мученик святой. / Покинул Карлы дьявольской берлогу...” — цитирую, извините, по памяти. Ей-богу, умей Анпилов с Зюгановым стихотворствовать, и то вышло бы не столь прочувствованно, но это, шутка сказать, сама Юнна Мориц.

Итак, что они — нам? А все то же.

Понимаю, как я банален, но в том-то и дело, что дальше старых стереотипов мы не идем. Даже пятимся назад.

“Возможно, мы с народом ошибаемся, но...”. Думаю, решая вопрос о гимне, Путин в свое время произнес фразу историческую. Дав понять, что протестовавшие Ростропович с Плисецкой — не народ. Что народ — это большинство без меньшинства, каковое, то бишь меньшинство, как полагали когда-то, как раз и имеет способность выражать суть народного сознания. И, значит, завидный процент голозовавших (верю, что так) за Ниязова или Лукашенко доказывает: туркмены и белорусы куда больше, чем мы (пока), заслужили право именоваться народом.

А что? Не только для власти, но и для нас так удобнее. Существование и сознание наше разъяты: надежный президентский рейтинг при недоверии к его правительству, привычка твердить: “интересы России”, “приоритеты России”, не задумываясь, чьи интересы и приоритеты, чьей России — Абрамовича, Грефа, Грызлова со Сливской? Да даже у этих у всех Россия — разная. Что ж, тем утешительнее врать себе и другим, творя легенды и мифы — о других, о себе, о своих богах и героях. Чужих — тоже.

[2007, 29 января]

Пушкинисты, вперед!

Недавно мой друг Михаил Козаков очаровал меня своей идеей-мечтой: вот бы создать, говорит, телеканал “Пушкин”! Где будет только Он, только о Нем, с Ним связанное — всё-всё. Чтецкие программы, рассказы “вокруг Пушкина”, разумеется, театр, фильмы, оперы, балеты, романсы... Целая отдельная цивилизация. Вдруг всплывшая Атлантида, как оказалось — а непременно окажется, — нам в лучшем случае полужнакомая.

Жаль, что идея не то что невоплотима реально, технически, денежно, “рыночно” (“да кто ж ему дать?”), но в принципе может показаться безумной. Хотя как раз сосредоточенное обращение к тому, кого именуем “нашим всем” (давно уже ерничая, насмешливо тиражируя эту формулу Аполлона Григорьева: “Пугачева — наше все”, “Путин — наше все”, да мало ли что

еще: футбол, Петросян, само по себе ТВ), в частности, помогло бы нащупать путь к культурному, духовному — ни много, ни мало — спасению. Чтоб мы опамятавались. Очнулись.

Экзальтированно преувеличиваю? Вряд ли. Больше того: может быть, Пушкин и есть тщетно искомая общенациональная идея.

Между прочим, ведь и в вышеупомянутой формулировке, безобразно заболтанной (не меньше, чем “мир спасет красота”, что приложимо хоть к конкурсу “самый пышный бюст”), ударение скорее надо бы делать не на “всём”, а на “нашем”. У Григорьева: “...Пушкин — представитель всего нашего душевного, особенного... Только контурами набросанный образ народной нашей сущности...”. В этом смысле и гоголевское предвидение, будто Пушкин — это “русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет”, подтолкнет не к дежурному сарказму (прикинем, дескать, сколько нам еще остается, дабы успеть принять идеальный образ), а к вполне серьезному (как теперь говорим, “конструктивному”) осознанию распада, произошедшего с нами вопреки надеждам наивного национального гения. Чтобы “контур” обрел смысл злободневный до неотложности.

Когда-то, страшно подумать, в середине шестидесятых прошлого (!) века я напечатал в “Вопросах литературы” статью под задорным названием “Вперед к Пушкину!” — сравнительно специальную, литературоведческую,

связанную с проблемами поэтики. Но речь не о ней самой. Помню, как меня ужаснула неожиданно возникшая популярность заглавия-лозунга: мгновенно явилось несколько статей, плагиаторски названных точно так же; даже одна книга. И — Боже, как, оказалось, можно истолковать его: националистически-мессиански, почти черносотенно, когда “вперед” воспринимается как “назад”, в тупик, в национальное чванство.

А “наше все” — оно (он) вовсе не повод для гордости; гордиться, куда ни шло, еще можно тем, что усвоено, понято, что поистине стало органически “нашим”. Пушкин, напротив, укор нам, настолько постыдно не оправдавшим надежду Гоголя. Превратившим “контур” в карикатуру.

Уж на этот раз имею в виду не поэтику, даже, пожалуй, и не поэзию, не словесность, а... Вот пример, по-газетному вынужденно простейший.

“Что такое дворянство?” — тезисно записывал Пушкин в свои тридцатые годы (а мы вполне можем подставить сегодняшнее слово “элита”, имея в виду не Жанну Фриске или Ксюшу Собчак, даже не сановитого Н.С. Михалкова, но реально главенствующую прослойку). И отвечал сам себе (кое-что сокращаю для ясности): “...Сословие высшее, т.е. награжденное большими преимуществами касательно собственности и частной свободы”.

Ну, тут не обойтись без поправок, на сей раз заслуженно юмористических. “Собствен-

ность” — о да! Но “частная свобода”... Когда бесперечь сажают или могут посадить олигархов, сенаторов, губернаторов!

Дальше: “Кем?”. Понимай — кем награжденное. “Народом или его представителями”. Это о наших-то выборах?

Наконец: “С какой целью? с целью иметь мощных защитников или близких ко властям и непосредственных предстателей. Какие люди составляют сие сословие? люди, которые имеют время заниматься чужими делами... Чему учится дворянство? Независимости, храбрости, благородству (чести вообще)”.

Вот вам опять-таки “контур”. Плюс предостережение: “Чем кончится дворянство?”. В смысле: если наступит конец *такого* дворянства, носителя “чести вообще”; применительно к нам — если не возникнет *такая* элита? Ответ: “Рабством народа”.

...Нет, повторю: отчаянно жаль, что мечта Козакова безнадежно утопична.

[2007, 22 марта]

Страшная сила контекста

Когда-то давно я хотел написать (не написал) статью о влиянии литературного контекста. О пользе... нет, даже не среднего, а низшего уровня словесности. Не о том, как по-своему подпирали гениев — Достоевского, Толстого, Чехова — “средние” или относительно “средние” (кавычки необходимы), допустим, Боборыкин, Потапенко, Златовратский, Шеллер-Михайлов. Тем более речь не зашла бы, скажем, о Слепцове или забытом, но потрясающем Николае Успенском (с братом Глебом, понятно, не путать); подразумевались, опять же к примеру, Благовещенский, Бажин, позже — Салиас, Авенариус, “Урениус и Упрудиус”, как смешно фантазировал тот же Чехов, изобретая фамилии для несметной литературной мелочи. Не говоря о Фаддее Булгарине, в свое, то есть в его, время куда более популярном, чем поздний Пушкин.

Никак не сказать, чтобы гении возникали из этого контекста, будто Афродита из пены, однако хотя бы и полемически, по контрасту (взять хоть отношения Пушкин — Булгарин), странно выговорить, отчасти зависели от него как от того, на что ориентировался, на чем возрастал массовый читатель. От того, что контекст не был полным дерьмом.

Эстетически, я имею в виду. Политически, нравственно — бывал.

Охотно соглашаясь считать себя ностальгирующим брюзгой, вспомню напор имен, одно за другим возникавших в “мой” пятидесятишестидесятые. Ахмадулина... Евтушенко... Вознесенский... Аксенов... Войнович... Владимов... Искандер... Чухонцев... Не говорю: внезапно запевший более возрастной (фронтовик!) Окуджава, до того неизвестный и, не поверите, посредственный стихотворец. Или вдруг начавший сочинять великие песни ходовой драматург Галич... Кто еще? Хватит и этих. Словом, когда вспоминаю их — практически одновременное — возникновение, думаю именно о контексте, словно вытолкнувшем их наверх. О контексте, повторю, эстетическом, добавив: и общественном.

Пестрое было время. Вообще: “Кто пустил в оборот эту байку про либеральные шестидесятые годы?” — спрашивал мой покойный товарищ, замечательный киносценарист Анатолий Гребнев, понахлебавшийся от тогдашней цензуры, а все-таки — время. Не безвременье.

Только поэтому и ностальгирую.

А сейчас? Может быть, не совсем прав, с сожалением полагая, что слишком редки истинно хорошие книги (хотя, разумеется, есть, есть — из самых недавних, к моей неожиданной радости, быковский “Пастернак”, Славникова, возможно, Шишкин, без сомнения, Алексей Иванов, а все-таки мало, мало!).

И сама эта малочисленность, почти исключительность — не результат ли чудовищного уровня помянутого контекста, когда... Нет, Бог упаси заново повторять наиболее “рейтинговые” имена, где-то там уже впечатанные в асфальт попсовыми звездами и именно в качестве звездных являющиеся, думаю, общенациональным позором.

Банально до скуловоротности повторять: дескать, критерии пали и не могли не упасть (те же рейтинги, рынок, тотальное торжество поппсы!), но ведь постыдный контекст здесь не только понижает уровень искусства, дезориентируя читателя и, бывает, художника, вопиющего: коли так, для кого и зачем писать? (Да пиши для себя, сукин ты сын!) Этот самый чертов контекст вдобавок и поглощает противостоящих ему. Или надеющихся противостоять.

Поясню на примере наипростейшем, выходя ради наглядности за пределы словесности (да и пора уже выйти).

Ежесубботно общие — и, конечно, мои — любимицы Ирина Петровская и Ксения Ларина изумляются на “Эхе Москвы” телеведущему

Максиму Шевченко (“Судите сами”, Первый канал); тому, как тенденциозно-вульгарно он затыкает рты всем, кто не соответствует его примитивной, услужливой официозности. А я изумляюсь еще и тем умнейшим людям, кто, наперед зная шевченковскую повадку, все же соглашается возникать в этом — согласен, надоевшее слово — контексте. Да откажитесь, забастуйте, пусть он навсегда останется тет-а-тет со своим Кургиняном! Разве это зрелище — жаль, вообразенное — не стоит того?

Или еще пример “поглощения”, несколько иного характера, но также почти юмористический.

Как известно, у нас сейчас торжество гламура. (Что не скажешь: нормально, но неизбежно.) Однако смотрите, как и он поглотил (правда, с помощью глупых “Идущих вместе”, какие тем самым тоже оказались как бы частью гламура) Сорокина с его принципиальным говноедением. Что, считаю, по-своему погубило этого сочинителя, даже если способствовало его материальному процветанию. Был ну прямо ниспровергатель, революционер, даже если со своеобразным, простите за каламбур, запахом. Стал фигурой вполне буржуазной. Прикормленной.

Как и уж такой весь из себя радикальный Проханов. Признаюсь, сперва меня раздражало, с какой небрежливостью либеральный бомонд принялся ласкать этого графомана-сверхпатриота (раздражало значительно больше,

чем когда то же “Эхо” позволило ему на своей вольнолюбивой волне нести то, что он только и может нести, — ничего не поделаешь, “плюрализм”!). А после я, кажется, понял: и он приручен, куплен тусовкой, стал подобием госпожи Робски, и сами его фанфаронады на “Эхе” столь же страшны, как ритуальный оскал одомашненного хищника.

Ну вроде как обстоит дело с вечно орущим по ТВ раскормленным плеябоем Митрофановым. Одно обидно: режим, коли уж он режим, зачем унижает свою суровую авторитарность, нуждаясь в таких выпускателях пара?

Все это, впрочем, достаточно очевидно. И вот что меня единственно — и даже болезненно — занимает.

Почему в “застой”, в эпоху, не заслуживающую этого вялого названия, так как, конечно, на деле медленно, но двигались вспять, к сталинизму, хотя бы и нас, литераторов, в лучшем — отчасти моем — случае не печатали или мало печатали, в худшем — высылали, сажали... Тут опять имена истинно громкие: Даниэль, Синявский, Виктор Некрасов, те же Галич, Войнович, Владимов. Так почему ж, спрашиваю, именно тогда могло возникнуть как восхищающий символ и как объект исступленной начальственной ненависти имя — Сахаров?

Время, что ль, было получше? Да смешно говорить.

Проще всего отделаться некрасовским: “Бывали хуже времена, / Но не было подлей”. Од-

нако и этот приговор применим к временам слишком многим и разным, отчего он — отговора.

Что до времени нашего... Еще и еще раз — присмотримся к себе самим: контекст! Это почти литературоведческое понятие! Тогда, в пресловутый “застой”, было по меньшей мере почти поголовное презрение к окончательно маразмизовавшей брежневщине (именно поголовное — у всякого на его разноступенчатом уровне). Мне вдруг даже — не впервые — взбрело на ум: а вдруг тогда-то и было подобие общественного мнения, о котором ныне тоскуем, — пусть на простейшем уровне отвращения?..

Да. Презрение, отвращение, безразличность, то, что готово было перейти, но не перешло во всеобщую апатию, этот аналог общественной смерти.

То, что было, кончилось перестройкой, которая, как к ней ни относиться (оговорка привычная, но не пустая: я, подобно многим, отношусь, как говорится, “сложно”), меняла, старалась нас изменить, очеловечить. Сперва, понятно, придав нам социалистическое лицо... Или наоборот? Где социализм, где в нем человеческое, да и само лицо — было ли? Стало ли? Не разобрать.

А сегодня?

Глухо, друзья мои. Глухо.

[2007, 26 марта]

Как Пушкин читал Достоевского

Мелкий факт моей личной жизни: прочел роман Томаса Манна “Иосиф и его братья”. То есть, конечно, перечел, но в молодые мои годы я — вернее, мы, что проверено, сверено, — читал “Иосифа” главным образом ради того, чтоб узнать, “как оно было на самом деле”. (Цитирую общеизвестные слова переписчицы романа, сказанные ею автору.)

Читал, серьезнее говоря, как замену недоступной тогда для нас “настоящей” Библии; я ведь даже похабную “Библию для неверующих” главного безбожника СССР Емельяна Ярославского покупал, чтобы ознакомиться хотя бы с выдержками из Священного Писания. Плевать было на глумливый комментарий.

Так вот. Сперва — из моей копилки курьезов. Когда известный — кому-то да, а кому-то нет, — литератор Лев Рубинштейн сообщает:

ему эстетически интересны единственно люди его тусовки, знаемые в лицо, а как раз Томаса Манна, говорит, “ни за какие деньги не надо”, — представьте, этому верю!

(Давай ему хоть миллиард — не возьмет. А я бы, стыдно признаться, взял.)

Нормально. Пожалуй, обиднее, когда не Рубинштейн, а Иосиф Бродский примерно так же трактует того же Томаса Манна. “Крайне неприятный тип...”. Возможно. Не знаю. Но: “Вне пределов искусства... Изготовитель романов”.

Допущу: не в таком ли брезгливом снобизме причина того, что, скажем, Твардовский скупен и чужд нобелевскому лауреату? Да это — ладно. Большие поэты, как водится, не уживаются в одной, даже безразмерной, берлоге.

Необязательно, но с печалью предположу: не с помощью ли авторитета Бродского, капризного и переменчивого в оценках, утверждалась псевдоэстетика последышей, тех, кто, несравнимый с ним по таланту, радостно освобождался от *непременных* (словарь XVIII столетия) законов?

Это, однако, тема особая.

А пока — вот он вам, Томас Манн.

Выхватываю лишь атом макрокосма “Иосифа и его братьев”.

Библейский Иаков, полагающий, что его сын Иосиф безвозвратно погиб, хочет его, говоря по-современному пошло, клонировать. Кроме шуток. “...Я порожу его заново! Разве это невозможно — родить его еще раз, точно таким же,

как прежде, Иосифом?.. Покуда я жив, я не дам ему погибнуть”. (Перевод — замечательный — С. Апта.)

Пожалуй, и в самом деле — был бы специфический интерес — соблазнительно поднять модную тему клонирования, его возможностей (пока, предполагаю, скорее гипотетических) и противоестественности (уверенно говорю, очевидной). Тем более что в романе мудрый Елиезер Иакову возражает: “Зачинающий есть лишь орудие творения, он слеп и сам не знает, что делает... Когда ты его (конечно, Иосифа. — *Ст. Р.*) зачинал, ты его не знал. Ибо человек зачинает лишь то, чего он не знает. А если бы он стал зачинать по определенному замыслу, это было бы творенье, и человек возомнил бы себя Богом”.

По-моему, потрясающе!

Оставим модные темы, каковые, наверное, и не стоило затрагивать. Тут ведь дело даже и не в предосудительной гордыне Иакова, который, глядишь, “клонирова”, присвоил бы себе прерогативы Творца. Я-то, плавающая мельче, думаю, что, вольно или невольно, Томас Манн, сказав: “Человек зачинает лишь то, чего не знает”, выразил самую сущность искусства. Творчества. Вообще — культуры...

Стоп. Перечтем цитату. А может быть, все-таки знает? Вот сюжет почти юмористический. Сергей Довлатов и Александр Генис вспоминают дуэтом шутку, которую оба приписывают художнику-остряку Бахчаняну.

Будто бы родитель — чуть ли не сам Саша Генис — жалуется: отпрыск не хочет читать Достоевского! Как же без этого жить?

А Бахчанян — якобы — отвечает: “Пушкин жил — и ничего!”.

Остроумно. С той, однако, уже не шутейной поправкой, что Пушкин Достоевского читал. Говоря не столь метафорически, Достоевский в Пушкине, пусть зачаточно, был. Содержался. Например (но примеры могу множить и множить), в сострадательном анализе души убийцы Сальери, что предваряло анализ души убийцы Раскольникова, — ну, об этом я и, уж конечно, не только я писали, пишем... Тема опять же особая и специальная.

Чтобы стало совсем смешно: когда-то один советский стихотворец, не из самых мудрых, выступая на каком-то собрании, возгласил: современный молодой человек умнее Чацкого! Почему?! А потому, что Чацкий “Горе от ума” не читал, а наш — прочел!

Напрасные вздохи: а читает ли гениальное “Горе...” молодняк постсоветский? Но и прежний — читал ли комедию, которую, в сущности, Пушкин разом приговорил, сказав, что половина стихов “должны войти в пословицу”?

И все-таки, все-таки: речь — никак не скажу, о менее серьезном, но о другом. Наболевшем. Болящем.

Критерии, критерии, критерии... Пожизненные, жизнью траченные, вовсе утраченные... Можно скрипеть это сколько угодно — и ведь

справедливо! — не очень понимая, что это слово, “критерии”, значит.

Я — тоже не совсем понимаю. Потому обращаюсь к примеру сугубо конкретному и относительно свежему.

Вышла книга, уже прославившаяся, Дмитрия Быкова “Пастернак”. Полукритика-полупроза. И когда я ее мельком похвалил в “Новой”, одна милая женщина (да, по правде, одна ли?) удивилась моему, с позволения сказать, благородству: “Он же вас так поносил!”.

Поносил, не могу отрицать. Даже целый памфлет написал, а может, на этом не остановится? Не чересчур углубляясь в эту, в общем, внутрилитературную и, следовательно, малоинтересную тему, все же скажу: да, бывало, и я ядовито отзывался о неких его проявлениях, в частности, на страницах той же “Новой”; а уж он-то...

Неважно. И не вспомнил бы наши дразги, если бы загадочно для меня, да, как знаю, для многих, не вышла вот эта книга, “Пастернак”. Обольстившая меня... Чем? Да прежде и помимо всего широтой культурного кругозора, почти уникальной для того, кто пишет, рассчитывая на нормальных людей, попросту говоря — на читателей. (Филологи ведь обычно аукаются с себе подобными, словно масоны с масонами; то, что они, как правило, пишут, читателю читать незачем, а писателю, о ком писано, — вредно.)

Словом, книга Быкова — радость; как всякая радость, редкая, и пусть он (слышал по “Эху

Москвы” в передаче Петровской — Лариной) объясняет свое упорное участие в телевизионном “Новом времечке”: надо, чтоб тебя узнавали!

Наверное, надо. Не знаю. (Хотя — зачем?)

В любом случае робко предполагаю, может быть, пользуясь опытом отжитых поколений: автору книги “Пастернак” предстоит — придется! — расти. Соответственно — меняться.

Надо ли добавлять: не изменяя себе, напротив, себя обретая?

Да как оно там, у великого героя быковской книги? То, что он перевел, а по сути, разумеется, написал, самовыразившись: “Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут меня...”. И т. д.

Не много ли о книге “Пастернак”, пусть очень хорошей? Не много. Хотя бы и потому, что в частной быковской эволюции, вряд ли мне просто привидевшейся (ох, не хотелось бы!), мелькнул для меня и некий общекультурный процесс.

Как бы то ни было, при “современном” (?) сознании, когда не обойтись без самоутверждения и эпатажа, культура, уж так отодвинутая, задвинутая в какой-то мусорный угол, превращенная в нечто, чего впору стесняться, прорастает. Произрастает. Поистине: “Человек зачинает то, чего он не знает”.

Переиначивая товарища Сталина — или то, что вложил в устатые уста писатель Рыбаков, — есть человек, есть проблема. А проблема, то бишь культура, нуждается в человеках. Зовет. Пробуждает. Даже, случается, преобразует.

Ошибаюсь? Возможно. Но — жаль...

Так или иначе: есть ли основания для надежды, что судьба клонов, даже самых обаятельных и мастеровитых, типа Акунина, будет... Опять-таки — как бы поделikatнее выразиться? Обречена? Слишком надгробно. Но — урезана, поставлена на свое (достойное!) место, побеждена в честной, подчеркиваю, борьбе...

Если культура совместима с борьбой. Раньше этого вроде бы не было. Теперь... Теперь — как теперь.

Словом, что ж, остается надеяться на время, когда (когда?!) в литературе восторжествует непроектируемое?..

Моя надежда — на это. В этом мой скромный, оглядывающийся, оговаривающийся, а все-таки оптимизм.

[2007, 10 мая]

Невидимый боец, или Культ вычитания

В.В. Путин как эстетическая проблема

Подчеркиваю: проблема — исключительно эстетическая. Следовательно, речь не о политике как таковой: эстетика должна быть не то чтоб лояльна, но безразлична к ней. По причине несоприродности.

...Давнее воспоминание. Я, маленький, смотрю фильм “Падение Берлина”, который мне, разумеется, очень нравится, — интересно ж узнать, “как оно было на самом деле”. Одно гложет — обида за товарища Сталина. Как Он решил изобразить себя вот таким? Знай я тогда эти слова, сказал бы: помпезным, надмирным.

Как мальчик, выраставший в атмосфере обожания вождя, правда, не экстатического, а обыденно-привычного, мог испытать еретическое сомнение? Вступить с Ним в эстетические пререкания?

А все от той же любви. “Мы так вам верили, товарищ Сталин, / Как, может быть, не верили себе”. Но и любили больше, чем Он любил себя сам; во всяком случае, шире, щедрее, за то, чего в Нем в помине не было.

“Я старая мать из Руана, — выводило радийное меццо-сопрано. — Ослепла я после войны. / Два сына мои, партизаны, / Погибли во славу страны”... Боже, сколько мусора в моей голове. Что делать, терпите.

“Но я обращаюсь к вам, Сталин, / Не в скорби душевной своей. / Я знаю, что вы потеряли / Милльоны своих сыновей”... Дальше, понятно, мольба крепить мир на Земле, но каков адресат? Родитель, терявший и терявший детей, причем боль за каждого из них, кого он клал штабелями, отзывалась в многострадальном сердце...

Сталин был абсолютно, гениально прав, превратив себя в монумент, считанные разы являя публике божественный облик. (Тем более не было ТВ, то есть самого соблазна публичности.) Народу, который соглашался быть быдлом при Хозяине, это, конечно, льстило, отчего ему же не полюбился слишком “свой”, говорливый Хрущев.

Собственно, Сталин дал урок будущим создателям культов. Урок своеобразного развоплощения. Быть одновременно Гением Всех Времен и Народов, Величайшим Полководцем, Корифеем Наук, Лучшим Другом всех поголовно — чекистов, ткачих, колхозников, физкуль-

турников, пионеров — означало восприниматься в качестве непостижимого (как сам Господь Бог, Коего, что бы там ни велела церковь, всякий лепит по-своему). В нашем случае — осиротевшим отцом, что было так понятно в стране им же обезмуженных вдов.

Занятно (сегодня — почти забавно), что это раздробление образа даже стало бытовой поведенкой. Константин Симонов вспоминал, как мучительно уставали допущенные, слушая трехчасовые сталинские монологи. Когда вождь “говорил, то приближаясь, то удаляясь, то громче, то тише, иногда оказываясь спиной к слушателям... Не очень заботясь о том, хорошо ли слышат его...”.

Осмелюсь воскликнуть: черта с два — не заботясь! Напротив, держа избранных слушателей, как всю страну, в напряжении: попробуй не расслышь! Точнее, попробуй в этом признаться, а уж там твоя воля-неволя из недослышанного творить восторженную легенду...

Известно же: любой культ прежде всего говорит о состоянии, о надеждах, о “комплексах” тех, кто его культивирует.

Прочность власти Сталина, добытой коварством и кровью, была и в том, что его — по крайней мере в конце концов — захотели. Узнав в нем царя-самодержца со многими признаками тех царей, против которых было взбрыкнули; заново полюбив сакральность власти.

Перепрыгивая через годы: а “царственность” Ельцина, у многих бывшая на устах, но не спо-

собная восприниматься без кавычек? Само выражение “царь Борис”, без иронии пущенное в ход (Немцовым?), было уже только литературой, вдобавок компрометируя саму по себе царственность. Ассоциируясь с Годуновым, царем-захватчиком.

Хорошо. А — Путин?

Уж точно не император. Не царь. Тогда кто — фюрер?

Боже меня упаси подразумевать одиозную аналогию, тем паче немецкое *fuehrer* — и вождь, и руководитель, и просто водитель, рулевой, летчик, шофер, машинист.

Любопытно другое. В XX веке принялись возникать какие-то новые варианты авторитаризма, может быть, в силу своей лексической новизны или скорее применительно к меняющимся условиям (демократия, черт ее побери, пусть социалистическая или национал-социалистическая) привлекавшие “электорат”: дуче, каудильо, команданте. Чтоб опять-таки не увидели тенденциозности (вот как страхуюсь), добавлю: Черчилль, де Голль. Как те, чье место с их уходом никто не способен занять; как исторические амплуа “де Голль”, “Черчилль”, несомненные авторитаристы — естественно, в рамках, ограничивающих их авторитаризм.

(В результате чего, как знаем, сэр Уинстон в ореоле “выигравшего войну” терпит крушение на выборах, а когда уходит его французский союзник... Прочитирую исследователя-биографа:

“Государство, возглавляемое де Голлем, обнаружило свою роковую слабость из-за того, что все традиционные предохранительные клапаны, то есть партии, парламент, министры, правительство, не действовали. Лишенные какой-либо самостоятельности, они не несли и ответственности”.

Неизбежное в финале поражение авторитариста — даже великого.)

Итак, Путин. Его амплуа, кажется, уже окончательно определено: “национальный лидер”. Что само по себе предполагает создание (или уже наличие?) единоличного культа.

На сей раз — какого?

Существование ТВ, повторю, исключает загадочность а ля Сталин. Нет возможности фантазировать безоглядно.

Сталин, сколько б его ни изучали историки, неслучайно такой разный даже у тех писателей, для кого он безоговорочно отвратителен: у Солженицына, Искандера, Рыбакова. С Путиным у будущих беллетристов такой вольный субъективизм не пройдет. Путин весь на виду.

Но даже это не самое главное.

Вот он, глядите: свободно говорящий на вполне литературном русском с хорошо обдуманым вкраплением жаргонизмов. Образцово спортивный. Ну и т.д. Но любят его не за это.

Фон, на котором возник этот корректный господин, для него, разумеется, выгоден. Дирижирующий “Калинкой” Ельцин, Немцов в белых штанах, Хакамада, за честь почитавшая

явиться на постерах в компании со “стильной” Конеген, Новодворские-Боровые... Путина любят за то, что он не такой.

Если не воспринять нижеследующее за оскорбление (а не надо) — за то, что он никакой.

Культ Путина — это культ вычитания.

Действительно: все надоели или скомпрометированы. От Сталина, сколь бы ностальгически он ни воскрешался в позывах “протестности”, от Хрущева до трагически непонятого (в том числе, кажется, им самим) Горбачева и чересчур наглядного Ельцина. И вот пришел он. “Человек без свойств”, воспроизводя название знаменитой книги.

То есть свойств личных, частных, разумно скрытых от жадно любопытствующей прессы, наверняка навалом (исключения, приоткрывающие образ, — пресловутая нежность к лабрадору Кони или, что все-таки вылезает вовне, цепкая памятьность сотрудника спецслужб, но и она не столько индивидуальна, сколько общепрофессиональна). Свойства Путина как человека публичного, ну, скажем, неотчетливы. Размыты. Что позволяет вспомнить сказанное как раз о романе Роберта Музиля, первоначально называвшегося “Шпион”: он “своего рода заменитель героя”.

В этом смысле Путин пришел вовремя. Наше время — его время. Он человек и политик эпохи постмодерна.

Вновь обернемся назад. Что за литература знаменовала собою сталинскую эпоху? Алек-

сей Толстой, Фадеев, впрочем, логично вырождавшиеся в Бабаевских-Бубенновых; однако и Пастернак, и Булгаков, до времени пригодные на роль позолоты имперского фасада.

Хрущев?.. Понятно, оттепель, Твардовский, которому сгоряча разрешили “Теркина на том свете” и публикацию Солженицына — в рассуждении пользы, которую должно принести разоблачение одного культа в предвосхищении очередного.

Горбачев, Ельцин... Тут современной литературы и не разглядеть сквозь вал наконец разрешенного: “Собачье сердце”, Гроссман, Набоков, Владимов с Войновичем...

Путин — деятель эпохи Сорокина, Пригова, Пелевина, Акунина, совершенно безотносительно к тому, как он к ним персонально относится. (Предполагаю, критически, кроме, может быть, последнего.) Эпохи “симулякра” — слово достаточно безобразное, но выразительное: в словесности происходит именно симуляция той духовной жизни, на непрерывность которой всегда уповала русская литература.

Эстетика развоплощения — эти слова применимы ведь далеко не только к Иосифу Джугашвили, преобразившемуся в почти бесплотное понятие “Сталин”. (Бывший зэк Алексей Дикий, сыгравший его в кино без грузинского акцента, чем весьма угодил, объяснил прототипу при встрече: я играю не вождя, а отношение народа к вождю.) Не хочу повторять того, о чем не единожды писал в “Новой”, лишь

сформулирую: на мой взгляд, поветрие современной словесности — это победа имиджа над сущностью, имитации — над первооткрытием, скепсиса — над страстью, прагматики — над идеализмом... И т.п.

Опять-таки культ вычитания. Развоплощение или отсутствие воплощенности — характера, индивидуальности, личностности.

Что касается самой персоны “национального лидера”, подобное по-своему и по-новому (тут уж не сталинское присвоение сверхкачеств) чрезвычайно умно. И надежно: любить того, кто “без свойств”, то бишь их не выпячивает, значит не иметь возможности разочароваться.

Еще и еще раз: Путин пришел в свое время. Пришелся ко времени. Ко времени без идей — кроме тех, что нам навязывают, тем самым подчеркивая отсутствие идей органических. Где главенствует партия, партией не являющаяся. Лидер — “без свойств”. Что ж, поглядим, чем это кончится для несчастной России, — впрочем, надо признать, ухитряющейся быть несчастной при всех обстоятельствах...

[2007, 20 декабря]

Сатана по имени Запад

Синтересом узнал из сочувственного комментария одного из каналов ТВ: нынешние историки обнаружили, что Иван Грозный оболган.

Тут особо отмечу: историки. В прежние, позднесталинские времена, даже тогда было несколько иначе. То есть послушных холопов от науки хватало всегда, однако все же великий автор “Исследований по истории опричнины” Степан Борисович Веселовский имел основание писать в посмертно изданной книге с печальной иронией: “...Реабилитация личности и государственной деятельности Ивана IV есть новость, последнее слово и большое достижение советской исторической науки”. Впрочем, “новостью является только то, что наставлять историков на путь истины... взялись литераторы, драматурги, театральные критики и кино-режиссеры”.

Добавить ли: прежде всего наставляющий их всех Сталин?

Это так, к слову. Хотя, возможно, не лишнему в нынешней атмосфере скандала вокруг школьных учебников истории...

В общем, у неких сегодняшних историков (пароли! явки! имена!) выходит, как сообщило ТВ, что Грозный был не так уж и страшен. И его репутация тирана-садиста объясняется тем, что сведения о нем западного происхождения. Из мемуаров чужеземных пришельцев на Русь.

А и впрямь! Быть может, до сей поры злокозненно замалчивались свидетельства русских летописцев, “мемуаристов”, объективно писавших о пороках и добродетелях государя? Не важно, что даже при Петре I, деспоте все же не такой маниакальной упертости, был издан указ, карающий смертью всякого пишущего взаперти, наедине. Недоносителю — равная казнь.

Надо было бежать, как Курбский, “от царского гнева”, укрыться в Литве, чтобы отчаянно дерзко выложить правду-матку: “Царю, прославляему древле от всех, / Но тонущу в сквернах обильных! / Ответствуй, безумный, каких ради грех / Побил еси добрых и сильных?”. И т.п. Цитирую, естественно, переложение, сделанное А.К. Толстым.

“Правильный”, политически актуальный образ Грозного, более последовательного в репрессиях, чем другой сталинский любимец (ибо “Петруха недорубил”, по слову вождя, как,

правда, и сам царь Иван, случалось, грешил “правым уклоном”, вроде Бухарина, что ли: слишком уж каялся после очередного злодеяствия), не зря оказался нужен Сталину, когда он, ужесточая режим, одновременно начал борьбу с “низкопоклонством”, с “космополитизмом”. Борьбу за исключительно отечественные приоритеты.

Причем по отечественному же обычаю дело мгновенно дошло до поиска не столько внешних врагов, — а чего их было искать, они у нас традиционно наглядны, — сколько, по Куприну, “унутренних”. “Так что: студенты, жида и поляки”. С особым упором, разумеется, на “жидов”. С расстрелом еврейских поэтов. С погромом “критиков-антипатриотов”. С делом “врачей-убийц”. С планами выселения в Сибирь всех поголовно “лиц еврейской национальности”...

Почему?! Зачем это было нужно “рябому черту”? А — больно много стали о себе понимать после выигранной войны, всяк по-своему: интеллигенты — надеяться на послабление относительно свободы слова, крестьяне — аж на житье без колхозов. Вот и понадобились для примера “унутренние” — с конкретным национальным адресом.

“Когда мы вернулись с войны, / я понял, что мы не нужны. / Захлебываясь от ностальгии, / от несовершенной вины, / я понял: иные, другие, / совсем не такие нужны”. Так написал Борис Слуцкий, правоверный до времени коммунист, и не обойтись без аналогии, пусть сколь-

ко угодно условной: офицеры 1812-го разве не ощутили себя неуютно среди “других”, “совсем не таких”, на ком и будет строить свою бюрократическую вертикаль власти будущий император? Результатом чего и стало восстание декабристов...

Народ, общество, к сожалению, не извлекают уроков из прошлого; власти куда памятливей. Злопамятнее. Следовательно, пугливее.

Но сегодня... В мирное, так сказать, время... (Или “лихие девяностые” для нынешних стабилизаторов стоят десятка войн и революций?) Сегодня — откуда такая истерика с “русским патриотизмом”, как при позднем Сталине с “советским”? Откуда такая неприязнь к Западу?

Вообще — в русской истории это напоминает какое-то мистическое наваждение. То мы преклоняемся перед Европой, не ученически, это бы ладно, а подобострастно глядя ей в рот, то, напротив, начинаем перед нею кичиться собственной “самостью”. Умнейший Петр Андреевич Вяземский говорил, что как русский (Петр I) превратил нас в немцев, так немка (Екатерина II) сделала нас русскими. Сказано замечательно метко, но характерно само шатание из одной стороны в другую, обратную. Стороны — разные, а причина шатания, в общем, одна: отечественный комплекс неполноценности.

Я помню, как Михаил Сергеевич Горбачев в пору его первых президентских контактов с западными коллегами заметно и по-своему тро-

гательно робел, но и агрессивность Путина — не дань ли тому же вековечному комплексу? Да что они, политики! Великий Тютчев, европеист, в чьем доме совсем не звучала русская речь, пишет знаменитое: “Умом Россию не понять” (что до забавности характерно, недавно вразумляюще процитированное Путиным в беседе с кем-то из иностранцев), и какая странная гордость! Чем тут гордиться?

(Не хочешь, а вспомнишь губермановский “гарик”: “Давно пора, такая мать, / Умом Россию понимать”.)

Страшно — и не хочется — предположить, что именно на сей раз подстегивает эту гордость, которой решительно никто не угрожает. И что нам это сулит. Неужто предчувствие грядущих бед, не дай Бог, катастрофических, и, стало быть, заранее приуготовляемый образ врага и виновника? Дабы найти себе оправдание в опоре на вышеупомянутую не лучшую из традиций — поистине мистический, то есть, что бы там ни было, с трудом объяснимый страх-преклонение перед “ними”. Неотделимый, порой и неотличимый от зависти-ненависти.

Кстати, в этой национальной мистике проглядывают и корни всечеловеческие. Как и то, что она, бывает, смахивает на лукавство, и это дает возможность предполагать близко лежащие, отнюдь не мистические, грубо прагматические цели. К примеру, сравним настроения средневековых монахов-католиков, решайте

сами, насколько искренние, — что любопытно, аккурат накануне самой буквальной “охоты на ведьм”, торжества инквизиции.

“Изобретательность дьявола не знала границ (цитата из книги специалиста. — Ст. Р.): когда монахи садились за стол, он побуждал их наедаться до того, что их тошнило, а по большим праздникам, когда за столом подавали вино, они напивались до бесчувствия”.

А дьявол, кратко поясняет словарь (С.С. Аверинцев), — “существо, воля и действие которого есть центр и источник мирового зла”. Прошу прощения у покойного Сергея Сергеевича, но ведь — словно из монологов Дугина, Кургиняна, Проханова, Нарочницкой, только, понятно, не на тему религии.

У Дьявола, у Сатаны много имен — Люцифер, Вельзевул и т.д., включая наиболее нам знакомое, Воланд. Ныне самое актуальное — Запад. Ежели нас тошнит (лихорадит, бросает в холод и жар, отбивает память, внушает манию величия или преследования), виною, конечно же, он. “Центр и источник”.

[2008, 17 января]

Подарок от Онассиса

Заранее прошу прощения за некоторую пахучесть метафоры.

В книге Ромена Гари “Ночь будет спокойной” (своего рода роман-интервью) автор вспоминает, как однажды купался в море в Монте-Карло, а рядом “находилась группа местных мальчишек лет пятнадцати-семнадцати. Тебе, обращается он к другу-интервьюеру, знакома грязь Средиземного моря... Тогда в порту стояла большая яхта Онассиса “Кристина”. Один мальчуган ныряет и всплывает посреди прекрасного собрания экскрементов отличной лепки. Он вопит, закрывает рот, ругается, протестует. И один из его приятелей замечает ему голосом, преисполненным уважения: “Да ты только подумай, может, это от Онассиса!”.

Конечно, Гари и сам превращает увиденное в метафору, добавляя, что такое же впечатление на него производят поклонники “релик-

вий великих людей”. Конкретно имея в виду своего кумира и патрона — де Голля.

Ну что касается нас с вами, мы идем дальше французского пацанья. Те, и то исключая вляпавшегося, всего лишь с почтением отнеслись к, простите, говну одного из сильных мира сего; мы же — да именно это самое выглядываем и выбираем из произведенного как великими, так невеликими. Полагаю, рекорд в этом роде — жадно переиздаваемые “Тайные записки” якобы Пушкина, выброшенные в свет, за рубежом и у нас, кажется, раз пять. Плюс напечатанные в переводах аж в двадцати четырех странах; словом, успешнейшая в смысле одурачивания публики — а та рада быть одураченной, в том-то и дело! — фальсификация.

Что, по правде, меня слегка озадачивает.

Не говорю об очевидной аляповатости подделки, превращающей страстно женолюбивого Пушкина (“...Я нравлюсь юной красоте / Бесстыдным бешенством желаний”) в подобие старичка, впавшего в половую слабость и бесильно фантазирующего на, увы, физически недоступную тему. Но откуда такое — а знаете, для нас, пожалуй, по-своему лестное — увлечение именем, далеко не самым популярным в иноязычном мире? (Так что тут и знаменитое, пушкинское же, “он мал, как мы, он мерзок, как мы!”, сознание, утешающее толпу, вроде бы не должно срабатывать.)

Тогда что же — полустыдливая и неодолимая тяга к порнографии? О да, но то ли еще

выходило в подобном роде, заставляя любителей хихикать и потирать потеющие ладони?

В общем, не имею уверенного ответа, однако вот что меня вдруг почти рассмешило. Почти — потому что веселого, в сущности, мало.

В свежем — и вряд ли последнем — издании “Тайных записок” (оглашаю гордое имя: “Санкт-Петербург. Издательский дом “Ретро”) данная похабель призвана решить, вообразите, просветительскую задачу. Не вру: “Первое русско-английское издание “Тайных записок” предназначено для широкого круга читателей, изучающих русский язык и литературу, а также для русскоязычных читателей, изучающих английский язык. Для удобства чтения в русском тексте на словах проставлены ударения”.

(И в самом деле. Пример: “Рáньше я и по пя-тí жéнщин имел на дню. Я привы́к к разнообра́зию...” — на следующем слове, простите, уже отсекаюсь.)

Словом, вот вам ворота в русскую литературу и в русский язык, гостеприимно распахнутые нашей “культурной столицей”. Поистине — через задний проход.

Случай крайний? Пожалуй, но тут сама крайность не исключительна, а закономерна. Выражая известный всем читателям желтой прессы культ нечистоты, нечистот, исторгаемых сколько-нибудь примечательной для нас особью; культ настолько тотальный, что сама особь оказывается приложением к грязи. Даже — не совсем обязательным, первой не она,

а грязь, и тут возникает еще одна проблема, от первой, впрочем, неотделимая.

Никто, как мы, неофиты рынка, не умеет лепить кумиров из ничего, из пустоты (примеры — нужны ли читателю “Новой”?). Даже предпочитая именно пустоту и ничто и этим (третья проблема, едва ль не важнейшая) уродуя тех из определенных на роли идолов, кто все-таки представляет собой не ничто, а нечто. Сама психология подобного культа (культа не личности, но, напротив, безличности, тривиальности, пошлости, что ищем — и ведь находим — и в том, кто изначально являлся личностью, индивидуальностью) подвергает эту самую индивидуальность таким испытаниям-искажениям, которым мало кто может противостоять.

Искажение совершается самим нашим заказом, наказом, чтоб был не выше нашего усредненного уровня, не выпирал из привычных для нас границ, и как часто приходится слышать самооправдания ведущих ТВ или радио, поп-звезд и т.п.: дескать, мы “в жизни” сложнее, умнее, тоньше, обожаем классическую музыку, но что делать, таков формат (ненавистное для меня слово). Ну, прямо король из “Обыкновенного чуда”: “Я по натуре добряк, умница, люблю музыку... И вдруг такого натворю, что хоть плачь”.

Да, “таков формат”. Таков заказ, и если он утвержден начальниками над ТВ и эстрадой, то с неременной ссылкой на требования “пипла”.

Итак, неизбежная деградация? Но попробуй ее отличить от пути к звездности. Я — не всегда могу.

Чутьочку покощунствую — можно?

Понятно, мое сугубо личное дело — сожалеть, что дерзкая молодая певица, начинавшая с “Арлекино”, не стала вровень с... Если и не с гениальной Эдит Пиаф, то, скажем, с Жюльетт Греко или Эвой Демарчик (“черным ангелом польской песни” — она дважды приезжала в Союз, оба раза став для меня потрясением и выступая почти подпольно, ибо пела песни Варшавского восстания, Армии Крайовой). Притом сознаю, что само помещение Аллы Пугачевой в этот ряд — комплимент ее драматическому таланту, а если она его мало реализовала, что ж...

В конце концов кто посмеет сказать, будто Пугачева не выиграла свою судьбу, такую, какую сама выбрала, если уж каждый ее день рождения празднуем всенародно, словно мы в Корее, а она — Ким Чен Ир? Если ее одну имеем по имени-отчеству, без фамилии, — правда, есть еще президент. Но и многие ли станут отрицать, что этого признания замечательная женщина добилась на пути, который от нее потребовала та публика, чьим искусством стал в результате, к примеру, “Аншлаг”?

Так же, как прекрасная джазовая певица Лариса Долина, — слава Богу, этот дар не утратившая и порою его являющая, — ушла в поп-музыку, естественно, за массовой популярностью и, не станем кривить душой, за совершенно

иными деньгами. Как Клара Новикова с ее когда-то изящным юмором неразличимо слилась с тем же “Аншлагом”. Как Геннадий Хазанов... Стоп. Он-то, к чести его, попросту бросил свой жанр, сделавший его сверхпопулярным, не захотев угождать “новой” публике.

(С ужасом думаю, каково бы пришлось сегодня Аркадию Райкину.)

Такая трансформация — дело, конечно, обычное. Исключения — на вес золота.

Странно подумать: я уже один из немногих (в самом деле, все меньше остается людей, помнящих того, о ком сейчас говорю, Булата Окуджаву, молодым), кто способен проследить путь от поэта, никому практически не известного, покуда не написавшего прославивших его песен, к известности, без преувеличения, мировой. То есть понять феномен Окуджавы. Он, в буквальном смысле выходявший на эстраду, ею, что сам отчетливо понимал, так широко и прославленный, самоиронически подписывавший друзьям свои поздние книги: “От бывшего гитариста”, он на удивление оставался таким же — ну, почти, почти, — каким я узнал его пятьдесят лет назад. Правда, его публика и была другой.

Понимаю: сравнение некорректно. Да я и не сравниваю. Окуджава — сама поэзия, литература, а эстрада есть эстрада, с ее непосредственной, почти рабской зависимостью от зала. Но я и речь-то завел о ней ради наглядности, потому что закономерность — общая.

Демократия так же опасна для художника, как тоталитаризм. Только по-иному.

Раньше фальсифицировали так называемый “литературный процесс”, изымая из него Булгакова и Мандельштама, урезая и умаляя Ахматову и Пастернака. Ставя на их место еще не в худшем случае Серафимовича и Островского, в наихудшем, до пародийности, — сартаковых и марковых. Теперь же...

“В литературу попер читатель”, — сказал когда-то в узком кругу Андрей Платонов; имелось в виду бедственное явление для искусства слова, “призыв ударников в литературу”. Мы можем переиначить: “Попер на литературу”.

Прежде это означало бы контроль со стороны “советской общественности”, чьим мнением манипулировали (пресловутое: “Пастернака не читал, но скажу...”). Сегодня это все тот же массовый заказ.

Прежде уровень литературы искусственно понижался, в частности, за счет того же “призыва”, фальшиво-демократического по-советски; особым извращением был придуманный Горьким “бригадный метод” написания книг. Сегодня уровень понижается естественным образом, за счет — да-да! — демократии, вновь (!!!) превращаемой в уравниловку. И как в отошедшие годы триумфом советской литературы и подтверждением высочайшего уровня “самого читающего народа” объявлялись запредельные тиражи Иванова-Проскурина, так в наши дни...

Хотя опять же — стоит ли перечислять “звездные” имена? Скучно.

Речь всего лишь о том, что настоящая литература, остающаяся во времени, всегда была литературой сопротивления. Не в воинственном смысле, хотя что-то партизанское в денисдавыдовском духе, в противостоянии регулярному войску, присягнувшему рынку (и ради него готовому на все), здесь проглядывается.

Вздохну напоследок. Повторившись (отчасти) в последний раз и подытожив.

Когда-то литература формировала — или хотя бы пыталась формировать — общество. Быть может, создавая его идеализированный образ: мы привыкли считать, что являемся народом Толстого и Достоевского, на деле создававших, конечно, свою страну, свой мир. Однако и этот самообман был, по Пушкину, “нас возвышающим”. (Отдельная тема: при Советах метод был схож, а обман — совершенно иного рода.)

Сейчас наше общество — если так можно назвать то, что гражданским обществом далеко не является, как трудно считать народом тех, кого превращают в нужный при случае электорат и кто с превращением соглашается, — сейчас, говорю, оно в массе своей формирует, заказывает и потребляет свое искусство. Иногда (см. начало статьи) “отличной лепки”, а то и весьма примитивной, небрезгливо заглатывая, к примеру, помянутые “Тайные записки”. И что прикажете делать? Ведь, как обычно, люди

совсем не плохи, просто, столпившись, они всегда хуже, пошлее, примитивнее, чем всякий из них по отдельности.

Главное — беспомощнее, и это иллюзия, будто при демократии, тем паче такой, как наша, их заказ на искусство свободен, неуправляем. Важно — кто управляет и направляет, зачем и во что хочет нас превратить: тут своя иерархия “правителей”, своя, сверху и донизу, “вертикаль”.

Что до искусства, особенно горевать не стоит. Ужо! Незачем сетовать, что оно, подлинное, не сможет преодолевать диктат массового заказа, раз уж нечто значительное прорастало, случалось, сквозь тоталитарный гнет. Зато есть серьезные сомнения, что оно, пробившись-таки, — как порой пробивается, — будет востребовано былой нашей гордостью, “широким читателем”. Не останется чем-то вроде курьеза и раритета — для гурманов и авгуров.

[2008, 4 февраля]

СТАНИСЛАВ РАССАДИН

Дневник Стародума

Руководитель проекта
БЕРА КОНЕВА

Редактор
ОЛЕГ ХЛЕБНИКОВ

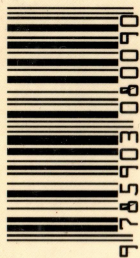
Корректор
ЕЛЕНА ФРУНЗЕ

Компьютерная верстка
КОНСТАНТИН МОСКАЛЕВ

Подписано в печать 20.03.2008.
Формат 84×100/32.
Гарнитура CharterOSC.
Печать офсетная. Бумага писчая.
Усл. печ. л. 15,5. Тираж 1 000 экз.
Заказ № 9486.

“Новая газета”
101990, Москва, Потаповский пер., 3
<http://www.novayagazeta.ru>

Отпечатано в ОАО ордена “Знак Почета”
“Смоленская областная типография им. В.И. Смирнова”
Представительство в г.Москва: +7 (495) 918-02-71



Станислав Рассадин во всех справочниках и энциклопедиях именуется критиком и литературоведом.

На самом деле это не совсем точно:

Рассадин – писатель о литературе. В нашем сознании наряду с реальными людьми живут и литературные герои.

Причем, кто из них оказывает на нас большее влияние – это еще надо разобраться. И в прозе Рассадина литературные герои получают те же права на существование, что и сами писатели, вызвавшие их к жизни.

Пожалуй, в русской литературе такое получилось еще только в «Книгах отражений»
Иннокентия Анненского.

